Ф. Ницше

ВЕСЕЛАЯ НАУКА

Фридрих Ницше

Веселая наука

«ОМІКО»

1882

Ницше Ф. В.

Веселая наука / Ф. В. Ницше — «OMIKO», 1882

«Веселая наука» (1882) была одной из самых любимых книг Фридриха Ницше. Она не только несла определенный полемический заряд, но и имела целью предложить позитивную программу по преобразованию науки, философии и, в конце концов, мировоззрения. Хочется надеяться, что этот оригинальный проект будет интересен современному читателю.

© Ницше Ф. В., 1882
© OMIKO, 1882

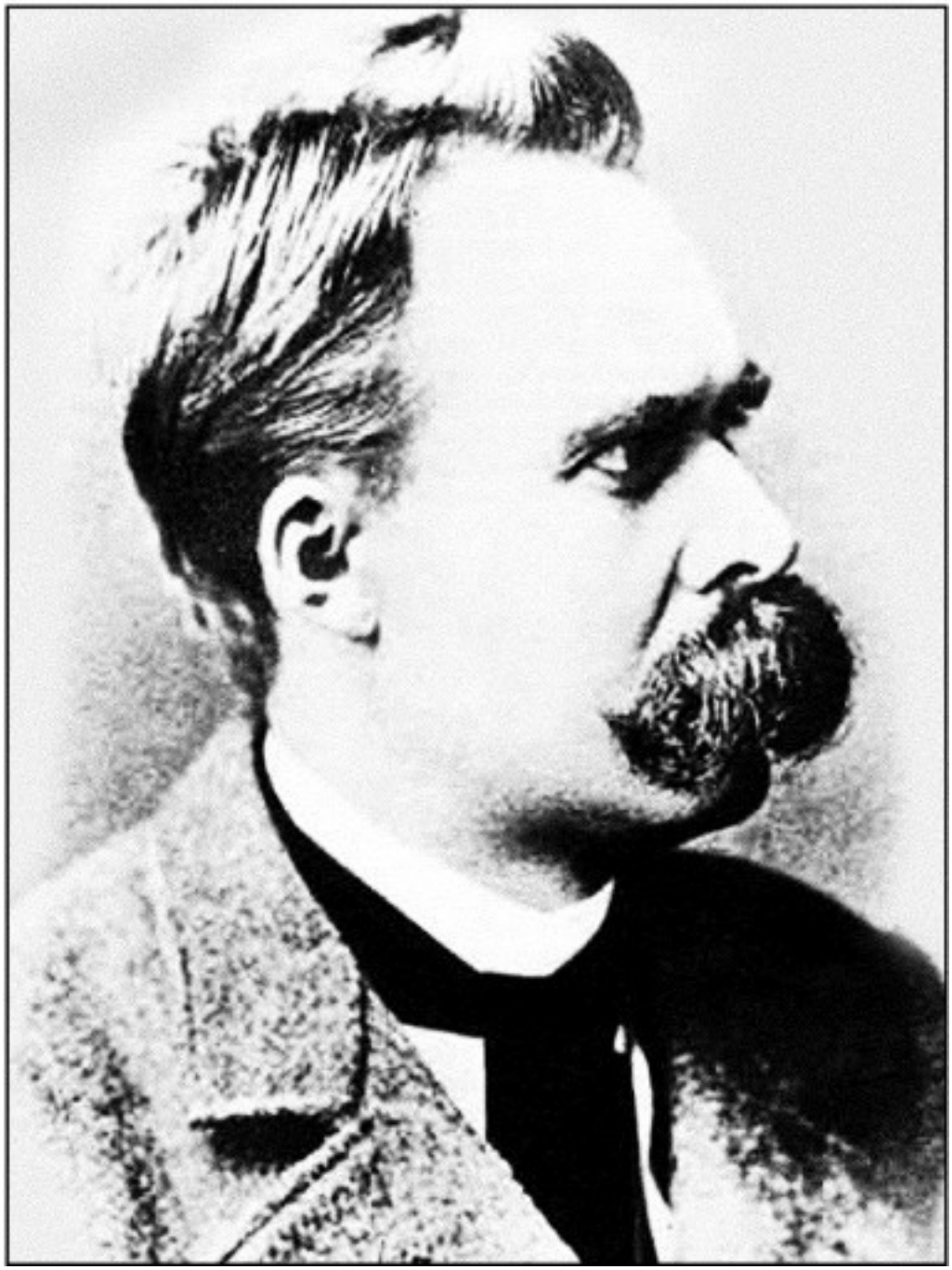
Содержание

Предисловие ко второму немецкому изданию 6
1 6
2 8
3 10
4 11
Шутка, лукавство и месть 13
Книга первая 23
Книга вторая 48
Книга третья 69
Книга четвертая 84
Книга пятая 107
Приложение 137
Свободные песни Птицы-Принца 137
Философ 146
1. Описание философа 146
2. Варваризирующее влияние науки 148
3. Против портретной истории 149
4. Конец метафизики 150
5. К теории морали 151
6. Кант и Шопенгауэр 152
7. Апология искусства 154
Эдип 157
Философия в затруднении 158
Часть первая 158
Часть вторая 160
Третья часть 160
А) бессилие современной философии 160
Б) Ученость современной философии 161

Фридрих Ницше
Веселая наука (La gay a Scienza)

Я у себя живу
И никого себе примером не беру.
И если вы, решась учить других,
Бессильны осмеять себя самих,
То сами вы достойны смеха.
Надпись над моею дверью.

Предисловие ко второму немецкому изданию



1

Можно было бы дать здесь не одно, а несколько предисловий; но я сомневаюсь, чтобы путем предисловий мы достигли чего-нибудь существенного. В самом деле, мы ведь все-таки будем не в силах при помощи их приблизить к пережитому над вопросами, выдвинутыми в этой книге того, кто никогда не переживал ничего подобного. Она вся как бы написана на языке теплого ветерка: что-то задорное, беспокойное, противоречивое, непостоянное слышится в ней; каждому здесь одинаково чуется и близость зимы, и победа над этой зимой, которая идет,

должна прийти и, быть может, уже наступила… Благодарность вырывается беспрерывно, как будто бы случилось что-то крайне неожиданное, и это – благодарность человека выздоравливающего, ибо неожиданностью-то и было выздоровление. «Веселая наука», название это указывает на сатурналии духа, который долгое время терпеливо выдерживал на себе страшный гнет – терпеливо, сурово и холодно, не покоряясь ему, но и не питая надежды от него освободиться; и вот сразу осенила его надежда на выздоровление, да и самое упоение здоровьем. И тут-то вот – к нашему удивлению – в надлежащем освещении выступает много такого, что было неразумного и прямо-таки глупого, умышленно расточается много нежности на вопросы колючие, которые обыкновенно не вызывают к себе теплого, внимательного отношения. Вся книга эта сплошь представляет собою праздник после продолжительного периода всякого рода лишений и бессилия; является ликованием возвращающейся силы, вновь пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близкой удачи, моря, вновь очистившего свою поверхность ото льда, целей, которые было позволено поставить снова и которые снова возбудили к себе доверие. А что осталось сзади меня! Пустота, изнурение, неверие в юности; старость не вовремя; тирания физического страдания, которое уступило место тирании гордости, отрицавшей все выводы, сделанные под влиянием страдания – а ведь выводы эти были утешением; – полное одиночество, как личная оборона против человеконенавистничества, ставшего до болезненности ясновидящим; принципиальное ограничение себя в области знания тем, что есть в нем горького, тяжкого, болезненного, как это предписывало отвращение, которое разрослось постепенно под влиянием неразумной духовной диеты и потворства, – известных под именем романтизма, – о, кто бы мог, подобно мне, прочувствовать все это! Да, тот простил бы мне не только мою безумную, распущенную «веселую науку», он простил бы мне и ту горстку песен, которую я прибавил на этот раз к своей книге – песен, в которых поэт почти непростительным образом издевается над всеми поэтами. Но увы! не на одних поэтов и их прекрасные «лирические настроения», должен излить свою злобу этот вновь воскресший человек: кто знает, какой жертвы он ищет, какое чудовище пародии прельстит его в ближайшем будущем? *«Incipit tragoedia»* – вот то заключение, которое звучит в конце этой рискованной, но неопровержимой книги: берегись! Возвещается что-то изумительно скверное и злое, и нет сомнения, что *incipit parodia.*

2

– Но оставим г. Ницше в покое: что нам за дело, что он, г. Ницше, снова стал здоровым?.. У психолога немного еще столь интересных вопросов, как вопрос о соотношении между здоровьем и философией; вот почему даже к своей собственной болезни он присматривается с чисто научным любопытством. Личность и философию ее связывают обыкновенно неразрывно, но не надо забывать тех различий, которые обыкновенно здесь наблюдаются. У одного философия слагается под давлением его нужды, у другого – под влиянием его богатства и силы. Первый чувствует известную потребность иметь свою собственную философию, как точку опоры, как средство, которое даст ему возможность успокоиться, излечиться, освободиться, возвыситься, уйти от самого себя; у второго она является роскошью, в лучшем случае сладострастьем торжествующей признательности, которая в конце концов должна быть начертана громадными космическими буквами на небесах идеи. Но каково же будет творчество той мысли, которая находится под гнетом болезни? – а ведь именно чаще и бывает так, что та или другая философская система определяется состоянием крайней необходимости. Именно это мы и наблюдаем у больных мыслителей, каковые в истории философии представляют из себя, быть может, подавляющее большинство. Психологам приходится сталкиваться с этим вопросом, и он, надо заметить, не выходит из сферы экспериментальной психологии.

Представьте себе путника, который, внушив себе проснуться к определенному часу, спокойно отдается сну: так же и мы, философы, отдаемся на время душою и телом болезни, как только допустим, что мы начинаем заболевать, – и равнодушно закрываем глаза на все, что находится перед нами. И как путник знает, что нечто не спит, а отсчитывает часы и разбудит его, так и мы уверены, что решительный момент найдет нас бодрствующими, что нечто тогда выдвинется вперед и застанет наш дух на работе, будет ли то слабость, регресс, покорность, ожесточение, помрачение или как еще там иначе называются все те болезненные состояния духа, против которых в моменты здоровья выступает гордость (ведь и в старинных немецких стихах певали: «самыми гордыми существами на земле будут гордый дух, павлин да конь»). И после такого самовопрошания, самоиспытания человек глубже проникает во все, что до сих пор входило в область его философского мышления: он лучше, чем это было раньше, угадывает все непроизвольные отклонения, закоулки, остановки и солнечные места мысли, куда страдающий мыслитель попадал просто, как страдающая личность; он теперь уже знает, куда больное тело и его потребности гонят, толкают, заманивают его дух, – на солнце, к покою, кротости, терпению, излечению, утехе в каком бы то ни было смысле этого слова. Всякая философия, которая мир ставит выше войны; всякая этика со своими отрицательными определениями понятия о счастье; всякая метафизика и физика, которым известны финал, конечное состояние чего бы то ни было; всякое сильное эстетическое или религиозное стремление к чему-то постороннему, лежащему по ту сторону, вне, свыше – дает нам право задать вопрос, не было ли болезненным состоянием все то, что вдохновляло философа? Бессознательное замаскирование физиологических потребностей, которые у нас прячутся под покровом Объективного, Идеального, Чисто духовного, доходит до крайних пределов, – и я часто задавал себе вопрос, не представляла ли, говоря вообще, вся философия до настоящего времени просто изъяснение и непонимание потребностей тела. За самыми ценными из тех суждений, которые намечают ход истории мысли, кроется непонимание физических свойств нашего тела, по отношению ли к индивиду, сословию или даже целой расе. И все эти смелые, безумные выходки метафизики, а в особенности все ее ответы на вопрос о ценности бытия, следовало бы считать симптомом известных телесных состояний; и если все эти положительные и отрицательные суждения о мире с научной точки зрения и не имеют никакого значения, то во всяком случае для историка и психолога они являются весьма ценными намеками, как сказано, в качестве

симптома, указывающего на удачи и неудачи нашего тела, на те избытки, силу, самовластие, которые ему в истории выпадают на долю, или же на те препятствия, утомление и оскудение, которые гнетут его, на предчувствие близкого конца и истощение воли.

Я всегда ждал, что тот истинный врачеватель – философ, который найдет радикальное средство для всех народов, времен, рас, для всего человечества, – будет иметь достаточно мужества, чтобы выставить мое подозрение всем на вид и отважиться провозгласить такое положение: во всех философских системах в настоящее время речь идет не об «истине», а о чем-то совершенно ином, напр., о здоровье, будущности, росте, силе, жизни…

3

Вы уже догадываетесь, что я не мог быть неблагодарным к тому тяжелому периоду хилости, все преимущества которого и поныне еще не вполне мною исчерпаны; я не мог чувствовать к нему неблагодарности, когда достаточно ясно осознал, какое преимущество представляет мое обильное всякими переменами здоровье перед людьми, обладающими дюжим духом. Философ, который был много раз здоровым и выздоравливает все снова и снова, прошел в то же время столько же и философских систем; он только придает каждый раз своему состоянию известную духовную форму и отдаляется от него на известное духовное расстояние. Вот искусство такой трансфигурации и есть именно философия. И мы, философы, далеко не так свободно отделяем душу от тела, как делает это толпа, но еще меньше остается нам свободы, когда нам приходится отделять душу от духа. Ведь мы не лягушек размышляющих представляем собою; ведь мы являемся не каким-нибудь аппаратом с холодными внутренностями, который объективно регистрирует окружающие его явления. Ведь мы навсегда обречены из глубины страдания производить на свет свои мысли и с материнской заботливостью отдавать им всю свою кровь, сердце, огонь, страсть, страдание, совесть, судьбу. Жить для нас значит превращать в свет и пламя все, чем мы обладаем; такой же участи мы подвергаем и то, что нам встречается на пути. И вот относительно болезни мне сильно хочется задать вопрос: да разве, говоря вообще, она будет излишней? Ведь только сильная боль является последней освободительницей духа, ибо только она одна умеет дать то великое истолкование, которое из каждого U делает X, настоящий, правильный X, предпоследнюю букву алфавита.

…Только великая боль, та затяжная боль, во время которой мы сгораем, как на костре, заставляет нас, философов, спуститься на самую глубину и отстранить от себя всякое доверие, всякое добродушие, снять всякое покрывало, отказаться от всякой снисходительности, от всего серединного, – одним словом, ото всего, в чем раньше мы, быть может, полагали все наше человеческое достоинство. Я сомневаюсь, чтобы такая боль делала человека лучшим, чем он был прежде; – но я знаю, что она делает его более глубоким. Научимся ли мы противопоставлять ей нашу гордость, наше издевательство, всю силу нашей воли и будем похожи на индейца, который при самых страшных мучениях отвечает своему мучителю злобными выходками; или же перед лицом этого страдания обратимся к тому небытию Востока – нирване, – к той немой, неподвижной глухой покорности, самозабвению, саморастворению: – все равно из такого продолжительного и опасного господства над самим собою выходишь совершенно новым человеком, у которого несколько лишних вопросительных знаков, который стремится глубже, строже, упорнее, злее и спокойнее ставить вопросы, чем это делалось раньше. В том и заключается доверие к жизни, что сама жизнь стала проблемой. – И нельзя поверить, чтобы человек при этом неизбежно становился унылым и мрачным! Ведь возможна еще даже любовь к жизни, но только любите вы эту жизнь теперь по-иному. Вы любите ее так, как любите женщину, возбуждающую у вас к себе подозрение… Но та прелесть, которую представляют все эти проблемы, та радость, которую открывают все эти X, слишком велика у таких одухотворенных и воодушевленных людей, и это радостное настроение ярким пламенем поднимается постоянно над всеми требованиями, которые поставлены проблемами, над всеми опасностями, которые выдвигаются необеспеченностью положения, даже над тою ревностью, которую ощущает в себе любовник. Мы познаем тогда новое счастье.

4

Не забудем однако указать на самое существенное: из этого омута, из этого тяжкого состояния хилости и дряблости, из этого тяжкого и болезненного подозрения человек выходит перерожденным: с него теперь как бы снята кожа, он становится восприимчивее ко всякому соприкосновению и злее, к чувству радости он проявляет более тонкий вкус, язык его сделался нежнее для всего хорошего, в своей радости он приобретает вторую, еще более опасную невинность, – одним словом, он стал в одно и то же время и наивнее, и в сто раз хитрее, чем был когда бы то ни было раньше. И как противны становятся ему те грубые, бездушные, серенькие наслаждения наших ликующих «образованных», богатых и правящих классов. С какою злостью прислушиваемся мы теперь к той громадной ярмарочной суете, среди которой «образованный человек» и крупные городские центры настоящего времени позволяют принуждать себя к «духовным наслаждениям» при помощи произведений искусства, книг и музыки и при благосклонном содействии спиртных напитков! Как болезненно действуют на наш слух эти театральные выкрики страдания; сколь чуждой становится нашему чувству вся эта романтическая суматоха и путаница чувств, которую так любит образованная чернь, когда втягивает в себя возвышенное, приподнятое, напыщенное! Нет, если нам и в здоровом состоянии нужно какое-нибудь искусство, то это будет уже совершенно иное искусство – это будет насмешливое, легкое, подвижное, божественно спокойное, божественно изящное искусство, которое ярким пламенем запылает на прояснившемся небе! Искусство прежде всего для служителей его и только для его служителей! А затем мы даже лучше художников знаем, что для этого необходимо радостное чувство, радостное чувство во всем. И, как художник, я хотел бы доказать это. Есть вещи, которые мы, люди разумеющие, слишком хорошо знаем: о, если бы мы научились теперь, подобно служителям искусства, забывать и ничего не ведать! И в будущем вы едва ли снова встретите нас на пути тех египетских юношей, которые ночью нарушают в храме его торжественную и таинственную обстановку: обнимают статуи, раскрывают, обнажают и выставляют на свет все, что с полным основанием было скрыто. Нет, у нас отбило охоту к таким приемам, мы знаем, что это дурной вкус, мы не хотим гнаться во что бы то ни стало за истиной, у нас уж нет такого юношеского легкомыслия в любви к истине: для этого мы уже слишком опытны, слишком серьезны, слишком радостны, слишком глубоки и слишком часто для этого мы обжигались… Мы уже более не верим, чтобы истина все-таки оставалась истиной даже после того, как мы снимем с нее покрывало; мы достаточно пожили, чтобы верить в это. Теперь уже в силу приличия мы не стремимся видеть все обнаженным, непременно всюду присутствовать, все понимать и «знать». Иногда лучше с уважением относиться к той стыдливости, с которой природа прячется за загадками и пестрой неизвестностью. Быть может, истина и есть та женщина, которая не без причины не показывает своих оснований.

Уже не Baubo ли имя ее по-гречески?.. О, греки эти! Они умели жить: для этого надо было храбро оставаться на поверхности, в изгибах, на самом верху, боготворить мир, призраков, верить в формы, тоны, в слова, в целый Олимп призраков! Греки эти, несмотря на всю свою глубину, были людьми поверхностными. А разве не к тому же приходим мы, смельчаки, которые отважно взобрались на самые высокие и на самые опасные вершины современной мысли и, оглянувшись вокруг себя, посмотрели вниз? Разве мы в этом отношении не те же греки? Не те же поклонники формы, тонов и слова? а потому и не те же служители искусства?

Рута возле Генуи, осень 1886 г.

Шутка, лукавство и месть (пролог в немецких рифмах)

Приглашение

Рискните вы, вкушающие, отведать моей пищи!
И уже на следущий день вы найдете ее более
приятной.
А через день еще будете считать ее вкусным блюдом!
И если вы тогда пожелаете еще и еще,
То ведь старые мои произведенья
Вдохновляют меня на новый труд.

МОЕ СЧАСТЬЕ

С тех пор, как в поисках блуждать я утомился,
Конец всему, приискивать я научился.
С тех пор, как ветр противный я встречаю,
По всем ветрам свой парус распускаю.

НЕУСТРАШИМЫЙ

Глубоко рой там, где пришлось тебе стоять!
Ведь в недрах клад!
И темным людям предоставь кричать:
Внутри земли повсюду ад!

РАЗГОВОР

А. Был я болен? а теперь здоров?
Кто ж лечил тогда меня!
Как забыл все это я!

Б. Верю я, что ныне, друг, ты излечился:
Ведь здоров лишь тот, кто забыть все научился!

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМ

Доблестям нашим должно двигаться так же легко,
Как Гомера стихи совершают движенья свои.

БЛАГОРАЗУМИЕ

Средь поля ровного не стой
И ввысь далеко не стремись!
Ведь с половинной высоты
Прекрасней выглядит наш мир.

VADEMECUM – VADETECUM

Мой нрав и речь моя влекут тебя ко мне,
И ты уже готов идти, и ты уже идешь за мной?
Но нет! останься верен сам себе и следуй
только за самим собой;
Тогда, хотя и медленно, но все же ты пойдешь
за мной.

ПРИ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЕ КОЖИ

Уж кожа у меня коробится и рвется,
И снова требует желудок пищи.
Земли так много потребляет он.
И вот между камней и трав зигзагами
Ползу я, голодом томимая,
Чтобы ту же пищу – землю пожирать,
Которую всегда я раньше ела.

МОИ РОЗЫ

Да! в счастье своем мне хочется
Сделать счастливым каждого!
Хотите и вы сорвать мои розы?
Стан свой нагнуть вам придется и скрыться
Между скалой и стеною терновника дикого,
В сердце своем затаивши желание жадное!
Ведь счастье мое любит злую насмешку!
Ведь счастье мое любит всякие козни!
Хотите ли вы сорвать мои розы?

ПРЕЗИРАЮЩИЙ

Мое презрение к миру и людям вы видите
Лишь в том, что ко многому всегда я равнодушен был.
Но равнодушием таким ведь также обладает тот,
Кто полным кубком пьет, —
Так будьте вы и о вине того же мненья.

СЛОВАМИ ПОСЛОВИЦЫ

Кроткий и резкий, грубый и нежный,
Друг и чужак, грязный и чистый – вот я каков.
Мудрый и глупый ко мне на свиданье спешат. —
Я же хотел бы быть сразу
Голубем, змеем и кабаном.

ЛЮБИТЕЛЮ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Если ты не хочешь глаз и чувство утомить,
То за ярким солнцем должен ты в тени следить.

ТАНЦОРУ

Рай – гладкий лед лишь для того,
Кто танцует хорошо.

МУЖЕСТВЕННЫЙ

Лучше выточить из целого куска вражду,
Чем по частичкам склеить дружбу.

РЖАВЧИНА

Нужна и ржавчина бывает иногда:
Ведь мало острым быть еще всегда,
«Он слишком юн», гласит молва тогда.

ВВЕРХ

Если хочешь до верха горы ты пробраться,
То, не думая, должен лишь этою целью задаться.

ИЗРЕЧЕНИЕ ВЛАСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Плач и слезы ты оставь!
Брать себе все предоставь!

СКУДНЫЕ ДУХОМ

Мне ненавистны убогие духом:
Ведь нет в них ни добра, ни худа.

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ ОБОЛЬСТИТЕЛЬ

Слово пустое в пространстве он бросил себе на забаву,
Но в женское сердце влило оно тогда же отраву.

К СВЕДЕНИЮ

Ведь легче боль двойную перенесть, чем раз страдать?
Так не решишься ль ты ее принять?

ПРОТИВ ТЩЕСЛАВИЯ

Не будь надменным: ничтожная насмешка
– Поставит тебя на место.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

«Ту женщину, которая тебе пришлась по сердцу,
себе похить».
Так думает мужчина, а женщина не грабит, а крадет.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Чтоб объяснить себе, мне надо внутрь уйти,
А потому я не в силах быть комментатором своим.
Но всякий, кто стоит на собственном своем пути,
Выносит и меня с собой на Божий свет.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПЕССИМИСТОВ

Увы, плачешь, друг, что к жизни вкус потерян?
Не старые ль капризы это?
Я слышу: ты клевещешь, поднимаешь шум,
плюешься? —
Терпение истощилось у меня!
Последуй же совету моему. Решись скорее
И проглоти ты жабу пожирнее.
От диспепсии вылечишь тогда себя.

ПРОСЬБА

Знакомо чувство мне иных людей,
А самого себя не знаю я.
Хоть очень близок глаз ко мне,
Но я не то, что вижу или видел.
А если бы захотел я оказать себе услугу лучшую,
То должен был бы сесть, как можно дальше от себя.
Хотя не так далеко, как враг мой,
Но все же далеко сидит ближайший друг! —
А между ним и мною середина!
Ну, догадайтесь же, о чем прошу я вас?

МОЯ ТВЕРДОСТЬ

Я должен прочь уйти за сто ступеней,
Я должен громко звать вперед:
«Ты тверд, а разве ты из камня?»
Я должен прочь уйти за сто ступеней,
И в то же время никто ступенью для меня
не мог бы быть.

ПУТНИК

Нет больше тропы! Вкруг бездны зияют!
И звуки жизни мертвой тишины теперь
уж не смущают!
Ведь ты ж того хотел! Ведь доброй волей
с проторенной тропы ушел ты в горы!
Ну, что же, путник? Пусть будет ясно на душе,
и холодно бросай вокруг ты взоры!
Потерян верный путь!
И веришь сам, опасности не избегнуть!

УТЕШЕНИЕ НАЧИНАЮЩЕМУ

Посмотрите на беспомощное дитя,
Когда оно попадет со своими искривленными
ножками в стадо хрюкающих свиней!
Ему остается плакать и только плакать, —
И думается вам: неужели оно научится
когда-нибудь стоять и ходить?
Не бойся, вскоре увидишь ты его танцующим!
Сначала оно научится стоять на двух ногах,
А потом будет ходить и на голове.

ЭГОИЗМ ЗВЕЗД

Если б я не вращалась беспрерывно
По замкнутой орбите вокруг себя,
То как бы следовать могла я
За жарким солнцем и не сгореть?

БЛИЖНИЙ

Я не люблю, чтобы возле меня находился
мои ближний:
Пусть он уходит себе в высь и даль!
Иначе как мог бы он стать моей путеводной звездой?

ЗАМАСКИРОВАННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

Чтобы не угнетать нас своим счастьем,
Ты облекся в бесовское одеяние
И отпускаешь адские остроты.
Но все напрасно:
Во взоре твоем так и светится благочестие.

РАБ

А. Зачем в смущении он стал?
Что слух его теперь смутило?
Что ухо чуткое там уловило?

Зачем так духом он упал?

Б. Кто раз носил ярмо оков,
Тот всюду слышит лязг цепей!

ОДИНОКИЙ

Мне ненавистно одинаково вести людей
и следовать за кем-нибудь.
Повиноваться? – Нет. Но также и не править!
Кто не внушает ужаса себе, тот и другим не страшен:
Ведь только страхом можно стать вожатаем толпы.
Но даже и собой руководить противно мне!
Хотелось бы, подобно диким зверям или вольным
детям моря,
Забыться хоть на миг один,
Мечтам своим отдаться на свободе,
И прихорашиваться лишь только для себя.

SENECA ET HOC GENUS OMNE

Пишет и пишет свой невыносимый мудрый
вздор (Larifari),
Как будто бы и надо было *primum scribere,*
deinde philosophari.

ЛЕД

Да! иногда приготовляю лед я:
Пищеваренью помогает он.
И если бы нужно было вам усвоить много,
То как бы полюбили вы мой лед!

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Не безопасно путнику теперь быть в той стране,
И если дух есть у тебя, пусть он удвоит осторожность.
Тебя привлекают и любят до тех пор, пока
не растерзают.
Здесь рой духов, а духа нет!

ЛЕТОМ

Будем ли в поте лица вкушать мы свой хлеб?
Но по мнению мудрых врачей от того он
не будет вкуснее.
Вот переливает своими огнями Сириус,
куда он манит?
В поте лица своего будем пить мы вино!

БЕЗ ЗАВИСТИ

Вы почитаете его за то, что он ни к кому
не питает чувства зависти?
Но он ведь не обращает ни малейшего внимания
на все ваши почести.

ОСНОВАНИЕ ВСЕГО ТОНЧАЙШЕГО

Лучше на цыпочках, чем на четырех!
Лучше в замочную скважину, чем в открытые двери!

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Мечтою ты прикован к славе?
Тогда с почтением прими такое ты ученье,
Которое дает тебе возможность принесть
от чести отреченье.

ИЩУЩЕМУ ОСНОВ

Так я исследователь? О, пощади ты это слово!
Я просто тяжестью известной обладаю
И вот все опускаюсь ниже, ниже
И, наконец, иду на дно.

НАВЕКИ

«Я потому иду сегодня, что так мне лучше», —
Вот то, что думает идущий в вечность.
А если люди говорят: «идет он слишком рано,
слишком поздно»,
То толки эти не трогают его нисколько.

РАССУЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ УТОМЛЕННЫХ

Все слабые, вялые люди обращаются к солнцу
со своими упреками.
Тень – вот что ценят они в деревьях!

ВНИЗ

«Смотрите: вниз скользит он, падает теперь»,
злорадствуете вы:
А он на самом деле лишь с высоты своей
нисходит к вам!
Ведь счастье свое считает он безмерным
и тяжелым,

И яркий свет его идет за вашей тьмой.

ПРОТИВ ЗАКОНОВ

Я стал носить часы,
И вот теперь не нужно мне
Следить за бегом звезд,
Движеньем солнца, теней и криком петуха.
И то, что возвещает время мне,
Само отныне глухо, слепо, немо.
И механизм его с своим тик-так
Заставил замолчать природу.

ИЗРЕЧЕНИЕ МУДРЕЦА

Я чужд толпе, но в то же время я полезен ей:
То солнце ясное я вызываю, то тучу навожу —
Но все над этою ж толпой!

ПОТЕРЯННУЮ ГОЛОВУ

У ней и дух теперь, но как она его нашла?
Из-за нее муж в юности свой разум потерял.
А голова его до той поры богата мыслями была:
Нечистому она теперь досталась… О! нет! нет!
женщине!

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

«О, если бы вдруг все ключи потерялись,
И ко всем замкам подошла одна отмычка!»
Думает так постоянно
Тот, кто сам является отмычкой.

ПИСАТЬ НОГОЙ

Не рукой только пишу я,
И нога постоянно хочет быть вместе с писателем.
Твердо, свободно и мужественно бежит она у меня
То по полю, то по бумаге.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. КНИГА

Уныл и робок ты, пока твой взор направлен вспять,
А сердце верует в грядущее, где ищешь ты себе
опоры:
О, птица! причислить ли тебя к орлам?
Иль ты любимица Минервы – филин?

ЧИТАТЕЛЮ

Желудка и зубов здоровых я тебе желаю!
И, если сладишь только ты с моею книгой,
То и со мной, мой друг, поладишь!

ХУДОЖНИК-РЕАЛИСТ

«Природе верен будь – вот цель твоя».
Но как задачу эту выполнить ему?
В картину ведь природа не уйдет! —
Ведь беспределен самый маленький кусочек мира!
В конце концов, под кисть его лишь то ложится,
что *нравится* ему,
А нравится ему лишь то, что *может* он изобразить!

РАЗБОРЧИВЫЙ ВКУС

Если бы мне предоставили свободный выбор,
То я с удовольствием устроился бы в раю,
Но еще с большим удовольствием – у себя
перед дверями!

ГОРБАТЫЙ НОС

Твой нос глядит задорно
Вокруг себя и ноздри раздувает.
Вот чем ты, носорог без рога,
Мой гордый человечек, и привлекаешь взгляды
всех к себе!
И вечно встретите вы вместе
Горбатый нос и гордость откровенную.

СКРИПИТ ПЕРО

Скрипит перо: ах, черт возьми!
Так неужели ж навеки осужден я скрипеть пером?
Тогда схватил чернильницу отважно я
И начал мазать толстыми потоками чернил,
И как же полно, широко идет работа у меня!
Как удается замысел мне всякий!
Да, правда, ясностью не отличается теперь
письмо мое.
Так что же? Ведь кто читает то, что я пишу?

ВЫСШИЕ ЛЮДИ

Кто вверх идет, – тому и рукоплещут!
Но кто внимает похвалам, тот вниз идет!

Чтобы остаться там, вверху,
Ты должен даже к похвале быть равнодушным.

ИЗРЕЧЕНИЕ СКЕПТИКА

Почти полжизни прожил ты,
А стрелка движется вперед, и трепет чувствует
твой дух!
Довольно по свету ты побродил;
Искал и не нашел – так что же медлить?
Почти полжизни прожил ты,
Страдал и заблуждался час за часом!
Чего же ищешь ты еще? Зачем?
Я к одному стремлюсь – уйти все глубже, глубже!

ЕССЕ НОМО

Откуда родом я, – я знаю!
Ненасытимым пламенем всегда пылаю,
И пожираю сам себя!
Все, к чему я прикасаюсь, загорится светом ярким,
Все ж, покинутое мною, остается пеплом жарким.

МОРАЛЬ ЗВЕЗД

Указан путь тебе, звезда.
И дела нет тебе до мрака!
Спокойно путь свой совершай
И горя их не замечай!
Миров далеких достигает твое сиянье,
За грех сочтем тебе мы чувство состраданья,
И «чистоту храни» – вот заповедь тебе.

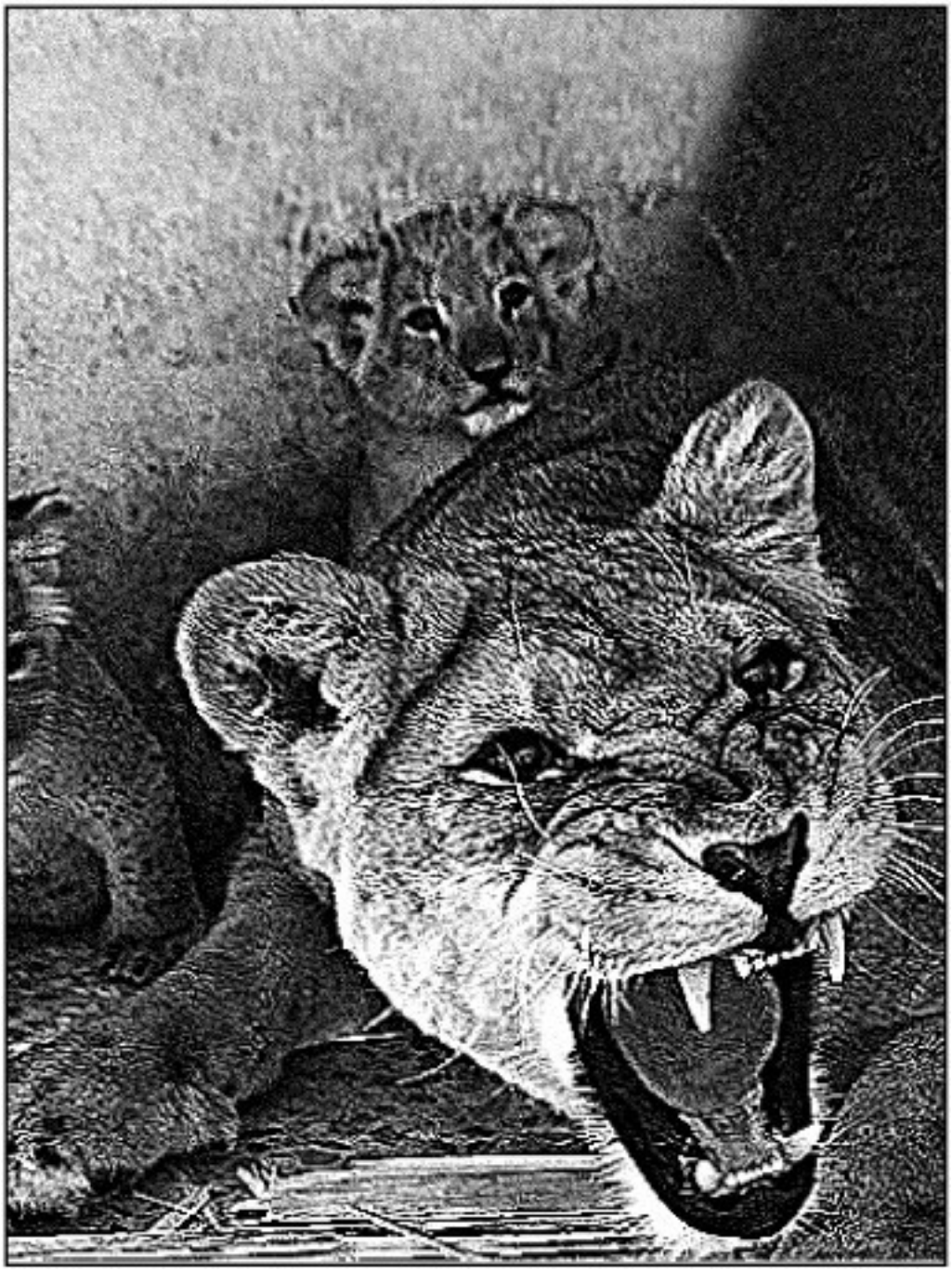
Книга первая

Учение о цели бытия. – Бросаю ли я на людей взоры благосклонные или злобные, – мой глаз неизбежно застает их всех и каждого в отдельности за выполнением одной и той же задачи: сделать как можно больше для сохранения рода человеческого. Но берутся они за эту задачу не из чувства любви к этому роду, а лишь потому, что нет у них более древнего, более неумолимого и более непреодолимого инстинкта, как этот инстинкт, – даже более того: самый-то этот инстинкт и представляет сущность нашего вида и содержание жизни нашей толпы. Если мы, следуя обычным близоруким мыслителям, которые не видят перед собой дальше пяти шагов, будем пытаться разделить людей на субъектов вредных и полезных, на добрых и злых, то, напротив, прилагая больший масштаб, глубже вдумываясь в жизнь целого, мы в конце концов начнем относиться с недоверием и к своей осторожности, и к своей классификации. В самом деле, ведь зловреднейший человек, с точки зрения сохранения рода, приносит, быть может, громадную пользу, ибо поддерживает у других, самим фактом своего существования или своими действиями, такие стремления, без которых человечество надолго заснуло бы или совсем обленилось. Ненависть, злорадство, страсть к грабежу и господству и все остальное, что обыкновенно называется злом, служит для той удивительной экономии, – конечно, экономии очень дорогой, расточительной и в общем в высшей степени неразумной, – которая, как это несомненно доказано, до сих пор сохраняла наш род. Да я, признаться, и не знаю, можешь ли ты, мой ближний, проявлять в своей жизни недоброжелательство к роду и таким образом вести себя «неразумно» и «дурно»; ведь все, что так или иначе могло бы нанести вред нашему роду, устранено из жизни, быть может, уже несколько тысячелетий тому назад. Будешь ли ты следовать самым лучшим или самым дурным из своих побуждений, – ты все равно в сущности так или иначе будешь споспешествовать и благодетельствовать человечеству, и только за это люди будут тебя хвалить и над тобой издеваться! Но ты не найдешь такого человека, который сумел бы вполне, как следует насмеяться над твоими лучшими поступками, который дал бы тебе почувствовать безграничную твою скудость так, как того требует действительное положение вещей! Насмеяться над самим собой так, как следовало бы это сделать, посмеяться так, чтобы смех выходил из глубины самой истины, – не умеют и лучшие из нас, ибо не обладают достаточно сильным чувством правды, а наиболее одаренные из нас недостаточно для этого гениальны! Быть может, и для смеха придет еще свое время! Тогда человечество воплотит положение: «род – всё, индивид – ничто», и каждому будет во всякое время открыт доступ к этой последней свободе, к этой полной безответности. Быть может, только тогда смех вступит в союз с мудростью; быть может, только тогда придет время для «веселой науки». Пока же дело обстоит иначе, пока комедия бытия еще не «осознала» себя, пока еще остается полный простор для трагедии, морали и религии. Что же обозначает все новое и новое появление основателей моральных и религиозных систем, вожаков в борьбе за разные нравственные сокровища, руководителей в деле угрызения совести и религиозных войн? Что значат эти герои на этой сцене? Ведь до сих пор были только герои ее, а все остальное, – иной раз явно и непосредственно, служило им то в качестве машин и кулис, то в роли поверенных и лакеев. (Так напр., поэты всегда были лакеями какой-нибудь морали.) – Само собою понятно, что трагики эти работают в интересах рода, хотя сами они могут считать себя посланниками Божиими, а на свой труд смотреть, как на дело Божие. Они также способствуют успеху жизни человеческого рода, *ибо укрепляют веру б эту жизнь.* «Жить стоит, – так взывает каждый из них, – жизнь сама по себе представляет нечто ценное, жизнь скрывает нечто и за собою, и под собой, внимайте!» И вот то самое стремление, которое с одинаковым напряжением существует и у высших людей, и у людей самых заурядных, – стремление к сохранению рода, прорывается время от времени, как что-то разумное или под видом какого-нибудь страдания духа; ему подыскивают тогда бле-

стящие обоснования и совершенно забывают, что в сущности-то здесь приходится иметь дело со стремлением, инстинктом, безумием, отсутствием всякого основания. *Ведь* человек *должен* любить жизнь. *Ведь* человек *должен* содействовать и своему преуспеянию, и преуспеянию своих ближних, как бы вы там ни называли все эти обязанности, и какие бы ни выдумали им еще названия в будущем! И вот процессы, совершающиеся в силу известной необходимости и без всякого отношения к какой бы то ни было цели, отныне являются как бы приуроченными к той или другой цели, и человек готов считать их даже последним требованием разума; – тогда-то выступает проповедник этических начал в роли учителя, трактующего о цели всего сущего; тогда-то он измышляет второе – уже иное – бытие, и, при помощи нового своего приспособления, выуживает это старое, обычное бытие. Да, он отнюдь не хочет заставить нас смеяться над бытием или над нами самими, или хотя бы только над ним; для него существует единица и только единица: она для него является альфой и омегой; в ней кроется какая-то тайна; рода же, суммы, нулей он не признает. Как бы глупы и фантастичны ни были его измышления и оценки, как бы далеко он ни сбился с истинного пути природы и как бы ни ошибался относительно ее условий, – ведь все, существовавшие до настоящего времени, этические учения были настолько неразумными и противоестественными, что человечество с любым из них пошло бы ко дну, если бы дано ему овладеть собой – но всегда, когда на сцену выступал «герой», создавалось нечто новое, какое-то страшное подобие смеха, то глубокое содрогание, которое испытывают многие единицы при мысли: «да, стоит жить; да, я не напрасно живу!» – и вот и самая жизнь, и я, и ты, и мы все оказываемся заинтересованными снова на некоторое время. И нельзя отрицать, что над каждым из этих великих учений о цели бытия царили до сих пор смех, разум и природа: коротенькая трагедия всегда в конце концов переходила в вечную комедию, и «волны безграничного смеха, – говоря языком Эсхила, – бьют, наконец, через величайшего из этих трагиков». Но, несмотря на все благодетельное действие такого смеха, эти вновь и вновь появляющиеся учения о цели бытия кладут свою печать на человеческую природу: у человечества появляется неотступная потребность в подобных учителях и подобных учениях. Человек мало-помалу становится фантастическим животным, которое способно выполнить условия существования лучше, чем всякое другое животное: человек *должен* время от времени верить, что ему известен ответ на вопрос, *зачем* он существует; род его не может возрастать, если в нем не будет проявляться периодически доверия к жизни, уверенности, что *в жизни* существует *разум!* И время от времени человеческий род снова делает торжественное заявление: «да, не все доступно смеху!» И самый осторожный друг человечества согласится: «не только смех и веселая мудрость, но и все трагическое со всем его возвышенным безумием служит необходимым средством для сохранения человеческого рода!» – И так далее! О! понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива и отлива? Да и нам ведь дано в удел свое лишь время! *Интеллектуальная совесть.* – Я постоянно повторяю один и тот же опыт и все снова и снова чувствую к нему известное предубеждение. Мне не хочется поверить, чтобы можно было ясно доказать, что *у большинства людей интеллектуальная совесть отсутствует;* и часто казалось мне, что человек с притязаниями на нее в самом населенном городе будет чувствовать себя таким же одиноким, как в пустыне. Чуждыми глазами взглянет на тебя всякий и будет продолжать по-прежнему прикидывать встречные явления на своих весах, одно называя добром, другое злом. И ни у кого ведь лицо не покроется краской от стыда, когда обратишь ты внимание на то, что разновесы их не полновесные; никто против тебя не почувствует негодования: разве только посмеются над твоими сомнениями. Я хочу сказать: большинство не находит ничего предосудительного в том, что люди, не отдав себе предварительно ясного отчета относительно последних и самых надежных основ жизни и не позаботившись посмотреть, что кроется за этими основами, – верят в известные положения и, сообразно вере своей, устраивают жизнь, и к такому-то «большинству» принадлежат самые даровитые мужчины и самые благородные женщины. Что значит для меня все добросердечие, чистота

и гений, когда люди, одаренные этими добродетелями, оказываются слабыми в области веры и суждений, когда они не стремятся *всем своим существом к достоверности* и не чувствуют в ней большой нужды, – когда в подобном требовании они не видят признака, отличающего высших людей от низших! У благочестивых лиц я встречал иногда ненависть к разумному и глубоко был им благодарен за это: таким путем, по крайней мере, выходила наружу злая интеллектуальная совесть! Но стоять среди этого *rerum concordia discors,* среди этой изумительной неизвестности и многозначительности бытия, стоять и *не вопрошать,* не дрожать от страстного желания задать вопрос, ни разу не почувствовать ненависти к вопрошающему, а, быть может, даже вяло потешаться над ним, – вот к чему я питаю искреннее презрение и прежде всего ищу этого чувства и у других. В силу какого-то неразумия, я стараюсь убедить себя, что у каждого человека, как человека, должно быть это чувство. И в этом-то проявляется своеобразно моя несправедливость.

Благородный и заурядный. Людям заурядным все благородные и великодушные чувства кажутся нецелесообразными, а потому и невероятными; такие люди только глазами хлопают, когда слышат о подобных чувствах, и вам так и кажется, что вот-вот они скажут: «и тут кроется какая-нибудь выгода, всего ведь не углядишь», – они недоверчиво относятся к каждому благородному человеку, как будто бы тот ищет себе выгод на каком-нибудь запретном пути. Если же вам удастся вполне их убедить, что лицу этому чужды какие бы то ни было эгоистические побуждения и преследования каких-либо выгод, то благородство они сочтут одним из видов глупости: они презирают благородного человека в его радостях и издеваются над блеском глаз его. «Как может он радоваться, когда ему грозит убыток, как можно с открытыми глазами искать себе вреда?! Право, благородные аффекты неизменно связываются с какою-то болезнью разума!» Так думают заурядные натуры и с презрением оглядываются вокруг: о, какое ничтожное значение придают они тем радостям, которые извлекает человек заблуждающийся из идеи, постоянно его преследующей. Заурядные натуры тем именно и отмечены, что в глазах у них неподвижно стоит забота о личной выгоде, и забота эта заглушает у них все, даже самые сильные побуждения. Удержаться от нецелесообразного поступка, на который толкает какой-нибудь аффект – вот в чем выражается их мудрость и чувство собственного достоинства. По сравнению с ними, высшие натуры являются в то же время и натурами *наиболее неразумными.* На самом деле человек благородный, великодушный, приносящий себя в жертву, находится действительно под властью своих порывов, и в самые лучшие моменты его жизни разум его *молчит.* Когда животное с опасностью для своей жизни защищает детенышей или, во время прилива страсти, идет на смерть из-за самки, то оно ведь не думает ни об опасности, ни о смерти и всецело находится под влиянием страстной любви к своему потомству или к самке и страха потерять предмет своей страсти: оно становится глупее, чем оно в действительности, точно так же, как это бывает с людьми великодушными и благородными. Симпатии и антипатии у них проявляют такую силу, что интеллекту приходится или молчать или подчиняться страстям. Сердце у них вступает в голову, и тогда-то заходит речь о страсти (кое-где мы встречаем также обратное положение и как бы «страдание навыворот»; так, напр., у Фонтенеля одно из действующих лиц кладет руку на сердце со словами: «и там, мой дорогой, тоже мозг»).



Заурядная натура за то и ненавидит человека благородного, что у него в страсти чувствуется отсутствие разума или какой-то извращенный ум; презрение это особенно усиливается в тех случаях, когда страсть связывается с такими предметами, ценность которых обыкновенному человеку кажется совершенно фантастической и произвольной. Он гневается на всякого, кто делает себя слугою своего брюха, но понимает прелесть той жизни, которая обращает человека в тирана; зато он совершенно не понимает, как можно, напр., рисковать своим здоровьем и честью из-за страсти к познанию. Вкус высших натур направляется на исключения, на предметы, которые обыкновенно никого не волнуют и считаются лишенными всякой привлекательности; высшие натуры обладают особым масштабом ценностей. При этом они не замечают, что масштаб их, благодаря идиосинкразии их вкуса, представляет собою нечто особенное, а считают свою оценку явлений такою же, как и оценка у других людей; благодаря этому, они проявляют постоянно непонимание, непрактичность. Очень редко случается, чтобы высшая натура

сумела сохранить у себя настолько рассудка, чтобы понять обычного человека, как такового, и, сообразно с этим, регулировать свои отношения к нему; в большинстве случаев люди высшего пошиба думают, что их страсти – это те самые страсти, которые в скрытом состоянии можно встретить у каждого, и вера эта является непосредственным источником их горячности и красноречия. И вот, когда такие исключительные люди не чувствуют своего исключительного положения, то как могут быть поняты ими натуры обыкновенные, как могут быть оценены ими их правила поведения?! – Все это заставляет их говорить о глупости, о нецелесообразности и сумасбродстве человечества; они изумляются, как глупо течет жизнь мира и не могут понять, почему она не хочет сознать «нужд своих». – Вот в чем заключается вечная несправедливость со стороны людей благородных.

Сохранение рода человеческого. – Своим движением вперед человечество обязано людям, обладающим наиболее сильным и наиболее злым духом: они все снова и снова зажигали потухающие страсти – ведь всякое благоустроенное общество усыпляет страсти, – они пробуждали постоянно чувство сравнения, противоречия, желания чего-нибудь нового, рискованного, неиспробованного, они принуждали людей одни мнения противопоставлять другим мнениям, одни образцы – другим образцам. Чаще всего они действуют с оружием в руках, ниспровергают межевые знаки, нарушают чувство благочестия, но прибегают также и к религии, и к морали! У каждого учителя, у каждого проповедника нового учения вы найдете ту самую «злобу», – которая несет завоевателю бесславие, как только получит более деликатное выражение, а не будет немедленно приводить мускулы в движение! Но новое всегда и при всяких обстоятельствах является и *злым,* как нечто такое, что стремится проявить насилие, ниспровергнуть пограничные знаки и древнее благочестие; ведь добрым считается только старое! Добрыми людьми в каждое время называют тех, которые глубоко закапывают древние мысли и взращивают от них плоды. Это – землепашцы духа. Но земля понемногу истощается и вот снова чувствуется потребность в плуге зла. – В настоящее время существует одно основное заблуждение, которое особенным уважением пользовалось в Англии: оно учит, что наши суждения о «добре» и «зле» определяются нашим опытом о «целесообразном» и «нецелесообразном», что добром называют все, служащее для сохранения рода, а злом – все, для него вредное. В действительности же дурные стремления столь же целесообразны, столь же служат для сохранения рода и столь же необходимы, как и стремления добрые: – только функции их различны.

Безусловные обязанности. – Все люди, которые не могут в своей деятельности обходиться без сильных слов и возгласов, красноречивых жестов и положений, все эти революционеры-политики, социалисты, проповедники различных покаянных христианских и нехристианских учений, которые в действительности не заслужили и половины своих успехов; – все они говорят об обязанностях, и именно обязанностях с характером безусловности. Они прекрасно знают, что без обращения к таким обязанностям весь их пафос потерял бы всякое право на существование! И вот тут-то они или набрасываются на философию морали, которая выставляет те или другие категорические императивы, или воспринимают значительную часть религиозных убеждений, как это сделал Мадзини. Желая приобрести от других безусловное доверие, они и сами прежде всего должны безусловно поверить самим себе на основании какой-нибудь последней, неоспоримой и самой по себе достаточно возвышенной заповеди, служителями и орудиями которой они могли бы себя чувствовать и выдавать. Здесь мы встречаем также самых естественных и, по большей части, влиятельных противников всякого морального разъяснения и сомнения: но таковых немного. Напротив, повсюду, где выгода заставляет нас подчиняться, – хотя бы наше доброе имя и чувство чести, по-видимому, предписывали нам обратное, – существует обширный класс таких противников. Кто в качестве потомка напр., какой-нибудь старинной гордой фамилии, считает для себя унизительным даже подумать о том, что он является орудием какого-нибудь князя или партии и секты, или хотя бы какой-нибудь денежной силы, но тем не менее хочет или должен быть таким орудием, тот, чтобы

оправдаться перед собой и другими, должен всегда иметь на устах разные патетические принципы: принципы безусловного долженствования, которым люди без стыда могли бы подчиниться и признать свое подчинение. Всякая более тонкая форма раболепства, связанная с категорическим императивом, является смертным врагом для тех, кто хочет придать обязанности характер безусловности, как этого требует от них внешняя благопристойность, да и не одна только благопристойность.

Потеря достоинства. – Наш мыслительный процесс в настоящее время совершенно потерял всю ту важность, которой он обладал раньше; над всяким церемониалом и торжественными жестами у человека, обдумывающего что-нибудь, в настоящее время смеются, и мудреца старинного образца сочли бы человеком невыносимым. Мы думаем быстро и походя и отдаемся часто самым серьезным мыслям и во время ходьбы, и между делами всякого рода; мы мало подготовляемся, даже мало отдыхаем, – точно мы носим у себя в голове безостановочно катящуюся машину, которая, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, все еще продолжает работать. Бывало, чуть показалось кому, что у него навертывается мысль, – тогда это было редким исключением! – что захотелось ему быть мудрее и отдать себя во власть какой-нибудь думе, – тотчас же лицу придавалось такое выражение, как будто человек собирался на молитву, всякое движение прекращалось, и наш мыслитель простаивал неподвижно, хотя бы даже на улице, в течение целых часов, пока мысль «приходила к нему»… на одной или на двух ногах. Вот то была обстановка, «достойная положения вещей»!

Несколько слов к трудолюбивым людям. – Кто пожелал бы теперь заняться изучением моральных вопросов, для того открылось бы необозримое поле работы. Такому исследователю пришлось бы остановиться мыслью над каждой из страстей в отдельности, проследить за изменениями ее во времени и у различных народов, а также у крупных и мелких индивидуумов; он должен был бы показать, насколько разумными и ценными люди считают эти страсти и какое освещение им придают. До сих пор все, от чего бытие заимствует свою окраску, не имело еще своей истории: в самом деле, разве есть у нас история любви, стяжания, нужды, совести, благочестия, жестокости? У нас нет даже полной сравнительной истории права или хотя бы только одного наказания. Разве исследовал кто-нибудь различные подразделения дня, последовательную смену отдыха, празднеств и покоя? Разве знает кто, какое моральное воздействие оказывают на нас наши средства пропитания? Разве располагаем мы философией питания? Неутихающий шум, поднятый в споре за и против вегетарианства, доказывает, что подобной философии у нас не существует!

Пытался ли кто-нибудь проследить за историей общежитий, напр., монастырей? Существует ли у нас диалектика брака и дружбы? Есть ли мыслители, которые занимались бы вопросами нравственности ученых, торговцев, художников, ремесленников? Обо всем этом следует подумать и подумать много. Разве до конца исчерпано, путем исследования, все то, что люди считают «условиями своего существования» и все разумное, все страсти и суеверия, которые, по их мнению, связаны с этими условиями? Если бы кто задумал проследить только то различие в росте, которое проявляется и может проявляться у человеческих стремлений в различных моральных климатах, то и в таком случае самый прилежный из нас нашел бы себе достаточно работы: потребовались бы поколения планомерно и согласно работающих ученых для того, чтобы установить в этой области надлежащую точку зрения и собрать материал. То же самое останется в силе и для того, кто пожелал бы обосновать различия, которые представляют моральные климаты *(почему* в одном месте блистает одно солнце моральных суждений и оценки, – в другом – другое?). Совершенно особая работа выпадает на долю тому, кто будет устанавливать ошибочность всех подобных оснований и сущность тех моральных суждений, которые высказывались до настоящего времени. Если мы допустим, что все эти работы уже выполнены, то на первый план тогда выступит священнейший из всех вопросов: в состоянии ли будет наука *определить* цели нашего поведения, после того, как она докажет нам свою способ-

ность отнимать у нас эти цели и уничтожать их, – и тогда человечеству откроется такой широкий простор для всякого рода экспериментирования, тогда будут перепробованы все виды героизма, тогда наступит век опытов, которые могут затмить все подвиги самопожертвования, известные нашей истории. До сих пор наука еще не возвела своих циклопических построек, но и для этого наступит свое время.

Бессознательные добродетели. – Все свойства человека, наличие которых он признает у себя, и которые он считает очевидными для окружающих, подчиняются совершенно иным законам развития, чем те свойства, о которых ему самому неизвестно, которых он почти не подозревает в себе и которые, благодаря своей нежности, скрываются от взоров даже наиболее тонких наблюдателей и умеют прятаться как бы за пустым пространством. Совершенно так же дело обстоит с тонкой скульптурой на чешуях у рептилий: ошибочно было бы подозревать, что эта скульптура служит украшением для этих животных или каким-нибудь орудием; – в самом деле, ведь открыть их можно только при помощи микроскопа или такого острого зрения, каким не обладают животные, для которых могли бы быть предназначены эти наряды или это оружие! Наши видимые моральные качества, а именно те качества, в которые мы явно уверовали, идут своим путем, – а наши невидимые, хотя бы и одноименные качества, которые, с точки зрения других людей, не служат ни украшением, ни оружием, идут также своим путем, и обладают такими линиями, таким изяществом и таким строением, которое могло бы, пожалуй, доставить удовольствие лишь какому-нибудь божеству, одаренному необычайным микроскопом. Мы, напр., обладаем прилежанием, честолюбием и проницательностью: всем известны эти наши качества, но, кроме того, у нас, по всей вероятности, имеется еще прилежание, еще честолюбие, еще проницательность, но для этих чешуек наших не найдено еще микроскопа! – И тут-то вот сторонники инстинктивной морали скажут: «браво! он считает, по крайней мере, бессознательную добродетель возможной, – с нас и этого довольно!» – Ох вы, невзыскательные люди!

Наши взрывы. – Еще на ранних ступенях своего развития человечество усвоило бесчисленное множество различных свойств и способностей, но усвоило оно их так слабо, в таком эмбриональном состоянии, что о них никто даже и не подозревает. И вот эти-то слабо усвоенные способности, спустя много времени, – быть может, несколько столетий, вдруг прорываются на свет Божий, и тогда проявляют силу и зрелость. Иногда может показаться, что некоторые века совершенно лишены того или другого таланта, той или другой добродетели: но подождите только внуков или детей внуков, – если только время позволяет ждать, – и они вынесут на свет внутреннее содержание своих дедов, то внутреннее содержание, о котором сами деды ничего не знали. Часто уже сын является предателем своего отца, который и сам начинает понимать себя лучше с тех пор, как стал отцом. Внутри у нас скрыты целые плантации и сады; или, прибегая к другому сравнению, все мы – растущие вулканы, для которых наступит вдруг час взрыва, – но как близок или насколько отдален час такого извержения, об этом, конечно, никто не знает.

Род атавизма. – На людей выдающихся я охотно смотрю, как на отпрыски и силы культуры прошлых веков, которые внезапно дали себя почувствовать в нашей жизни, иначе говоря, как проявление атавизма какого-нибудь народа или какой-нибудь цивилизации. В каждый данный момент такие люди кажутся чуждыми, редкими, необычайными: и всякому, кто чует в себе подобную силу, приходится ее беречь, оборонять, взращивать, несмотря на враждебное воздействие остального мира; и обладатель этих качеств становится то великим человеком, то безумным и страшным субъектом, смотря по тому, насколько он вообще находится в соответствии со своим временем. Прежде все эти редкие свойства были обычным явлением, а потому таковыми и считались: они не выделялись ровно ничем. Если даже допустить, что они еще и поощрялись, то все же при помощи их человек не мог стать великим, а если обладание ими не было сопряжено ни с какою опасностью, то они не могли сделать человека ни безумным, ни одиноким. – Вот именно подобные подделки под древние наклонности и встречаются по пре-

имуществу в обособленных родах и кастах, тогда как там, где расы, обычаи, ценности меняются быстро, проявление атавизма в такой форме – маловероятно. Для развития народов темп, которым действуют его силы, играет такую же роль, как темп в музыке; для нашего случая – необходимо andante развития, как темп страдающего, малоподвижного духа – духа консервативных родов.

Сознание. – Сознательность является самой последней и самой позднейшей стадией развития организма, а потому и самым неприспособленным и самым бессильным его свойством. Из сознания нашего происходят бесчисленные ошибки, которые приводят к тому, что человек или животное идут ко дну раньше, чем в этом предстояла бы какая необходимость, раньше, чем «этого потребует судьба», как говорит Гомер. Если бы охраняющая сила инстинкта не проявляла неизмеримо большего могущества, чем наша сознательная жизнь: если бы он не был общим регулятором, то человечество, при всех своих превратных толкованиях, при своей способности фантазировать с открытыми глазами, при своей неосновательности и легковерии, короче говоря, при всей своей сознательности, – должно было бы пойти ко дну, не могло бы дольше существовать. Всякая функция, которая еще недостаточно сложилась и созрела, представляет известную опасность для организма; хорошо еще, если она надолго подпадет под власть какой-нибудь могучей тиранической силы! Именно в таком-то положении и находится наша сознательная жизнь, и немалую роль тут приходится отвести нашей гордости. Обыкновенно думают, что сознательная жизнь составляет ядро человека: нечто остающееся, вечное, последнее и самое основное! Сознание наше считают точно установленной величиной! Ну, хорошо, отрицайте свой рост! Принимайте свое сознание «за единицу организма!» – Но эта забавная переоценка и непонимание роли сознания оказывают великую пользу в том отношении, что, благодаря им, задерживается чрезмерно быстрое развитие вашей сознательности. В самом деле, ведь люди уже считают себя обладателями сознания, а потому и не прилагают особых усилий приобретать его еще в большей степени – и в настоящее время дело именно так и обстоит! Задача *воплотить в себя науку, сделать ее инстинктивной* — все еще является задачей совершенно новой, едва-едва заметной для человеческого глаза и еще неясно им сознаваемой. Задачу эту видят только те, кто понял, что до сих пор мы воплощали в себя только свои ошибки и что все наше сознание покоится на ошибках.

О цели науки. – Как? Неужели последнею целью наука намечает себе доставлять человечеству как можно больше удовольствий и возможно меньше неприятностей? Как? Если бы теперь приятное и неприятное было нанизано на одну веревку, и всякий *желающий* получить возможно большее количество одного, *должен* будет иметь возможно больше другого, – всякий, желающий научиться ликованию неба, должен приготовить себя к «тоске смертной?» Может, оно и действительно так! Стоики, по крайней мере, были уверены в этом и потому были последовательны, когда желали получить как можно меньше удовольствий, для того, чтобы иметь от жизни и как можно меньше неприятностей (изречение: «добродетельный – вместе с тем и самый счастливый человек» – служило не только вывеской, предназначенной для масс, но являлось также и казуистической тонкостью для натур тонких). И теперь перед вами опять выбор: или, *как можно меньше неприятного,* короче говоря, освобождение от страдания – что в сущности только и должны были бы обещать социалисты и политики других партий, если бы хотели действовать добросовестно, – или *как можно больше неприятного,* ибо только такою ценой можно окупить рост многих таких и до сих пор малооцененных удовольствий и наслаждений! Выбирайте первое, если хотите только приглушить и приуменьшить способность человечества к страданию, но при этом вы неизбежно приглушите и приуменьшите у него и *способность воспринимать приятное.* В действительности, при помощи науки можно преследовать и ту, и другую цель. Быть может, уже и теперь больше, чем прежде, знают ее способность лишать человечество его радостей и делать людей более холодными, неподвижными, стоическими. Но науку еще предстоит открыть, как *великую носительницу страданий!* – И

тогда-то, быть может, будет признана и обратная ее сила – ее чудесная способность освещать радостью новые звездные миры.

К учению о чувстве силы. – Силу свою мы проявляем в добре или зле. Страдание мы причиняем тем, кто впервые должен почувствовать нашу силу, ибо боль в области наших ощущений является более могучим средством, чем наслаждение: она заставляет нас искать причину, а наслаждение предрасполагает нас оставаться в одном и том же положении и не обращать своих взоров назад. Свои благодеяния, свое благорасположение мы оказываем лишь тому, кто от нас уже зависит (т. е. привык нас считать своею причиной); мы желаем увеличить силу этих лиц, ибо таким путем мы увеличиваем свою собственную силу, или хотим показать им, насколько выгодно состоять в зависимости от нашей силы, чтобы таким образом они находили большее удовлетворение в своем положении, были враждебнее настроены к противникам нашей мощи и с большей охотой вступали с ними в борьбу. Итак, будем ли мы делать добро или причинять кому страдание, наши деяния в конце концов будут представлять одну и ту же ценность; если бы даже мы, подобно мученикам за веру, рисковали жизнью своей, то и тогда мы принесли бы себя в жертву только ради того, чтобы добиться *своего* могущества, чтобы сохранить ощущение своей мощи. Какими богатствами не пожертвует всякий, кто таит в себе мысль: «я обладаю истиной», чтобы спасти это ощущение! Чего не выбросит он за борт, чтобы удержаться «наверху», – т. е. *выше* других, которым недостает истины! Правда, то состояние, при котором мы причиняем другим страдание, редко бывает настолько приятным, настолько несомненно приятным, как то, когда мы оказываем благодеяние, – но этот факт доказывает только, что нам еще недостает силы, или обнаруживает нашу досаду на свое убожество; здесь кроются новые опасности и неуверенность в том, что мы несомненно обладаем силой, и закрывает наш горизонт призраками мести, насмешки, кары. Только у самых раздражительных людей, – людей, ненасытно ищущих чувства силы, может явиться страстное желание наложить клеймо своей силы на каждого оказывающего сопротивление; у тех, на кого вид поверженного противника (как объекта для всяческого благоволения) наводит тоску и скуку. Затем, как обыкновенно бывает, выступает потребность так или иначе усладить свою жизнь. Дело, конечно, вкуса, будет ли человек стараться увеличивать свою силу медленно или натиском, уверенными шагами или поступками опасными и смелыми; – одним словом, сообразно со своим темпераментом каждый и выбирает себе ту или другую приправу. К каждой легкой добыче гордые натуры относятся до известной степени с презрением; они чувствуют себя хорошо, при виде людей еще несокрушенных, людей, которые могли бы еще быть врагами их, и вообще при виде всего, что достигается с трудом; к страдающему они относятся часто с жестокостью, так как он не представляет ни малейшего интереса ни для стремлений их, ни для гордости, – но тем сердечнее обращаются они с *равными,* бой с которыми был бы почетным даже в том случае, если бы для этого пришлось выискивать какой-нибудь повод. Вот под давлением приятного предчувствия таких перспектив, лица, принадлежавшие к рыцарским кастам, относились друг к другу с самой изысканной вежливостью. Сострадание является приятным чувством для тех, у кого мало гордости и нет желания достигнуть высокого, властного положения; для них легкая добыча – каждый страждущий – представляет собой нечто привлекательное, и сострадание недаром превозносится, как добродетель публичных женщин.

О том, что называется любовью. – Алчность и любовь: какие различные чувства возбуждает в нас каждое из этих слов! – но в сущности они под двумя различными названиями выражают одно и то же стремление. Первым из них клеймится это стремление с точки зрения лиц, уже достигших обладания, лиц, у которых стремление до известной степени успокоилось и которые теперь боятся только за свое «достояние»; второе стремление определяется с точки зрения неудовлетворенных, жаждущих и потому прославляющих известное явление, как некоторое «благо». Разве не является стремлением к новому *приобретению* наша любовь к ближнему? Разве нельзя то же самое сказать про нашу любовь к истине, к знанию и вообще

про всякое стремление к новизне? Мы мало-помалу пресыщаемся всем старым, всем, что нам прочно принадлежит, и все снова и снова протягиваем свои руки вперед; даже самый прелестный ландшафт, если мы проживем в его обстановке месяца три, уже не будет больше пользоваться нашей неизменной любовью, и снова нашу алчность будут привлекать далекие берега: всякое имущество в процессе обладания теряет свое значение для нас. Мы хотим сохранить в себе то удовольствие, которое мы испытываем от собственной своей личности, так чтобы оно вызывало в нас постоянно нечто новое, – в этом-то и заключается обладание. И раз мы пресыщаемся предметом своего обладания, это значит, что мы пресыщаемся самими собой. (Страсти наши могут быть весьма разнообразны, и почетный титул «любовь» можно приложить и к желанию устранить что-нибудь, раздать.) Если мы видим чьи-нибудь страдания, мы охотно стараемся воспользоваться случаем овладеть этой личностью; вот что вызывает человека, напр, к благодеянию, к состраданию; а он «любовью» называет это проснувшееся в нем стремление к новому обладанию и испытывает при этом известное чувство удовольствия ввиду того, что впереди его ожидает возможность расширить сферу своей власти. Весьма ясно проглядывает это стремление к собственности в чувстве половой любви: влюбленный хочет быть безусловным и единственным обладателем избранного им лица, он хочет так же иметь безусловную власть над его душой и над его телом: он хочет, чтобы любили только его одного и чтобы он один жил и властвовал в чужой душе, как нечто высшее, как нечто особенно желательное. Если обратить внимание, что человек при этом стремится весь мир устранить от ценного блага, от счастья и наслаждения; если принять в расчет, что влюбленный домогается того, чтобы причинить известное лишение всем остальным своим соперникам и стать драконом своего сокровища, подобно самому беспощадному и самому эгоистичному из всех «завоевателей» и предпринимателей; если, наконец, иметь в виду, что для влюбленного весь остальной мир не имеет никакой цены, кажется бледным, неинтересным, и он готов принести любую жертву, разрушить всякий установившийся порядок, подавить любой интерес, – то эти соображения заставят нас только удивляться, каким образом подобная дикая жадность, подобная страшная несправедливость, как половая любовь, могла считаться всегда чем-то величественным, чем-то божественным; каким образом из этой любви люди могли заимствовать вообще понятие любви и противопоставить ее эгоизм в то время, как она-то, быть может, и является самым наивным выражением эгоизма. Здесь очевидно на употребление слова оказали свое влияние неимущие и алчущие, – а их всегда было слишком много. Те же, кто в этой области получили большое удовлетворение, как Софокл, один из самых достойных любви и один из самых любимых афинян, – они-то и выдумали «неистовствующего демона», но Амур всегда подсмеивался над такими клеветниками, ибо они просто были его величайшими любимцами. – Но, то тут, то там на земле попадается один род любви, при которой ненасытное стремление двух лиц друг к другу смягчается новым желанием и новой алчностью, *общею* высшею жаждой стоящего над ними идеала: но кто знает такую любовь? Кто пережил ее? Истинное имя ее – *дружба.*

Издалека. – Гора эта делает всю окрестность, над которой она возвышается, привлекательной и важной: повторив себе эту мысль в сотый раз, мы становимся настолько неразумными по отношению к этой горе и проникаемся к ней такой благодарностью, что начинаем и в ней подозревать, как в источнике этой красоты, нечто, в высшей степени привлекательное, и вот поднимаемся на нее и разочаровываемся. Внезапно и сама она, и весь ландшафт, который развертывается вокруг нас и под нами, теряет всю свою прелесть: мы просто забыли, что некоторые величины, как и некоторые блага, необходимо рассматривать с известного расстояния и исключительно снизу вверх, а не сверху вниз, ибо только при этом условии они производят на нас впечатление. Быть может, и ты, читатель, близко знаешь людей, на которых следовало бы смотреть только с известного удаления; только тогда их можно считать вообще людьми порядочными или даже привлекательными и сильными, и подобному человеку надо отсоветовать всякую попытку познать самого себя.

Через тропинку. – Когда приходится иметь дело с людьми застенчивыми, то необходимо уметь притворяться; в самом деле, они внезапно проникаются ненавистью ко всякому, кто застанет их на нежном, сумасбродном или возвышенном чувстве, как будто бы при этом вскрывается какая-нибудь их тайна. Если бы ты захотел сделать такому человеку в подобный момент какое-нибудь доброе дело, то он стал бы над тобою смеяться или холодно сказал бы в ответ какое-нибудь, за сердце хватающее, злое слово; – чувства их при этом замерзают, и они снова вполне овладевают собой. Однако нравоучение у меня вышло раньше басни. – Только раз в жизни мы были друг к другу так близки, что дружбе нашей и нашему братанию, казалось, ничто не могло помешать, и разделяла нас лишь маленькая тропа. И вот, в то самое время, когда ты хотел перейти ее, я спросил тебя: «не перейдешь ли ты ко мне через тропу эту?» – Но ты уже не захотел сделать этого; а на вторичную мою просьбу ты промолчал. И залегли с тех пор между нами горы и бурные потоки и все, что разделяет и отчуждает, и если бы мы теперь даже захотели прийти друг к другу, то уже не могли бы сделать этого! И когда ты задумываешься теперь о той небольшой тропе, слов недостает у тебя, – и ты рыдаешь и стоишь в изумлении.

Мотивировка своего убожества. – Мы могли бы, конечно, при известном умении превратить какую-нибудь убогую добродетель в добродетель могущественную и влиятельную, но мы могли бы с таким же успехом объяснить ее убожество известной необходимостью и не обращаться тогда из-за нее с упреками к судьбе. Так поступает мудрый садовник, влагая скудный ручеек своего сада в руку какой-нибудь нимфы и тем мотивируя его убожество: – и кто, подобно садовнику этому, не чувствует нужды в нимфах!

Античная гордость. – Нашему представлению о знатном человеке недостает античных красок, так как мы не в состоянии вполне прочувствовать античное рабство. Грек благородного происхождения между своим высоким положением и тем униженным состоянием, в котором находился тогда раб, имел такое множество промежуточных ступеней и был так далеко от него, что едва ли мог различать ясно фигуру раба: даже и с Платоном дело обстояло не лучше. Иное дело – мы, которые привыкли если не к самой мысли о равенстве людей, то, по крайней мере, к учению о их равенстве. И мы уже не чувствуем чего-то, похожего на презрение, к лицу, которое не может распоряжаться само собой и не имеет досуга; в каждом из нас, может быть, много такого рабства, в силу тех условий нашего общественного строя и деятельности, которые коренным образом отличаются от условий жизни древнего мира. – Древний философ совершал свой жизненный путь с тайным чувством, что рабов существует гораздо больше, чем это полагают: ему казалось, что всякий, кто не принадлежит к числу философов, должен быть рабом; и чувство чрезмерной гордости охватывало его, когда он задумывался о том, что могущественнейшие здесь, на земле, должны состоять в числе подобных рабов его. И этот род гордости чужд нам, и его мы не в состоянии пережить; и таким образом, даже в переносном значении, слово «раб» потеряло для нас свою силу.

Злое. – Присмотритесь к жизни лучших и плодотворных деятелей и народов и спросите себя: могло ли бы избежать бурь и непогоды дерево, которое гордо должно вырастать в высоту, и не следует ли считать благоприятными условиями все эти неудачи и внешние препятствия, всю эту ненависть, ревность, упорство, недоверие, жестокость, алчность и насилие, ибо без них, быть может, немыслим сколько-нибудь значительный рост в области добродетели? Крепкие натуры черпают силу в том яде, который смертельно действует на натуры слабые, и он для них уже не носит названия яда.

Достоинство глупости. – Еще несколько тысячелетий по пути последней тысячи лет – и во всех действиях человечества явно будет проступать высшее благоразумие; но в то же время благоразумие наше потеряло все свое достоинство. Быть благоразумным становится необходимым, а потому и благоразумие оказывается явлением настолько обычным, что даже человек с плохим вкусом будет ощущать эту необходимость, как нечто шаблонное. И подобно тому, как тирания истины и науки оказалась в состоянии высоко поднять ложь, так и тирания благора-

зумия может выдвинуть на первый план новый вид благородного чувства. Благородство, быть может, будет заключаться тогда в том, чтобы носить на плечах глупую голову.

К учению о самоотречении. – Когда восхваляют добродетели какого-нибудь человека, то оценивают их не с точки зрения интересов самого лица, а лишь с точки зрения наших интересов и интересов всего человеческого рода: так сыздавна установилось, что в похвалу добродетели мы вкладываем очень мало самоотречения, очень мало «неэгоистического» чувства. Ведь надо же было видеть, что добродетели (как прилежание, послушание, целомудрие, благочестие, справедливость) в большинстве случаев оказывались вредными для их носителей, как такие стремления, которые слишком властно господствовали над ними и не поддавались разуму, который должен был привести их в равновесие с другими стремлениями. Если ты обладаешь добродетелью, действительной, полной добродетелью (а не одним только стремленьицем к добродетели!), – то ты становишься ее жертвой! Но ближний твой именно потому и восхваляет твою добродетель! Одобряют человека прилежного, хотя работой своей он испортил свое зрение, повредил самобытности и свежести своего духа; с уважением относятся к юноше, который «работал до того, что погубил свое здоровье», ибо полагают, что «для всего рода человеческого потеря даже лучших индивидуумов является лишь незначительной жертвой! Худо, что такая жертва необходима! Но, конечно, хуже было бы, если бы индивиды иначе думали, и свое благоденствие и развитие ставили бы выше работы, назначенной на службу всего человечества!» И таким образом юношу этого жалеют не ради его самого, а лишь потому, что это преданное и самоотверженное орудие – называемое «мужественным человеком» – вырывается у человеческого рода смертью. Быть может, следовало бы задать себе вопрос, не выиграл ли бы сам этот род человеческий, если бы данный субъект не работал с таким самоотвержением и на более долгий срок сохранил бы свою жизнь и здоровье. Преимущество это охотно признается, но оно очень быстро стушевывается перед другим преимуществом: принесена известная жертва, и идея жертвенного животного была наглядно для всех засвидетельствована, как нечто особенно возвышенное, насущное. Таким образом, когда восхваляется какая-нибудь добродетель, то восхваляется именно служебная роль человека и то слепое стремление, которое с силой проявляется в каждой добродетели и которое не позволяет индивиду сохранить вполне все свои выгоды, короче говоря: восхваляется в добродетели то неразумное, благодаря чему самостоятельное, отдельное существование превращается в функцию целого. Похвала добродетели является восхвалением чего-нибудь такого, что приносит вред частному лицу, – восхвалением таких стремлений, которые отнимают у человека его благороднейший эгоизм и способность его к самозащите. – Конечно, для того, чтобы развить и воплотить разные добродетельные обычаи, выставляют на вид ряд таких результатов, которые заставляют думать, что добродетель и личная выгода тесно связаны друг с другом, – да и в действительности существует такое родство. Безграничное прилежание, напр., эта типичная добродетель всякого, кто является каким-нибудь орудием, говорят, ведет к богатству и почестям и оказывается самым действительным противоядием от скуки и страстей; но при этом замалчивают те опасности, те страшнейшие опасности, которые представляет это самое прилежание.

Воспитание всегда так и поступает: оно стремится при помощи целого ряда приманок и преимуществ приучить индивид к такому образу мыслей и действий, который становится у него обычным, превращается в потребность и даже в страсть и властно ведет вопреки его ближайшим интересам к «общему благу». Как часто приходилось мне видеть, что безрассудное прилежание действительно приносит с собой богатство и почести, но отнимает у организма всю тонкость его ощущений, при наличии которых только и возможно наслаждаться этими богатствами и почестями; как часто приходилось мне также наблюдать, что оно, действительно, являлось главным противоядием от скуки и страстей, но оно в то же время притупляет наши чувства и закрывает нашему духу доступ к целому ряду новых приятных ощущений. (Прилежнейший из всех веков – наш век – не сумел из своих огромных богатств и великого при-

лежания извлечь ничего, кроме все возрастающих богатств и прилежания: таким образом для того, чтобы растратить приобретенное, нужно больше гения, чем для того, чтобы сделать приобретения! – Но и у нас ведь будут свои внуки!) Если такое воспитание достигает успеха, то всякая добродетель индивида оказывается с общественной точки зрения известной полезностью, с точки же зрения высших частных интересов, явлением вредным: оно ведет к известным дефектам в области нашего духа и чувства или обусловливает нашу преждевременную гибель. Все это вы заметите на целом ряде добродетелей: послушание, целомудрие, благочестие, справедливость, если только будете рассматривать их с этой точки зрения. Во всяком случае, не из духа самоотречения проистекает восхваление человека полного самоотречения, готового на всякие жертвы, добродетельного, – одним словом, такого человека, который не всю свою силу и ум, свое развитие, свое возвышение, свои успехи, свое могущество направляет на сохранение своей особы, но относится к себе сдержанно и не задумываясь о себе, быть может, даже равнодушно и с некоторой долей иронии. Наш ближний восхваляет самоотверженность, ибо он извлекает из нее выгоды! Если бы наш «ближний» сам был «самоотверженным», то он не допустил бы, чтобы личность так растрачивала свои силы, чтобы она так вредила себе, он стал бы противиться возникновению таких наклонность и доказал бы перед всеми свою самоотвержение тем, что назвал бы ее *нехорошим* качеством! – Вместе с тем выступает и основное противоречие морали господствующей в настоящее время: ведь *мотивы,* которыми обосновывается эта мораль, стоят в противоречии с ее *принципов* То самое положение, которое она выдвигает в свою пользу, противоречит ей с точки зрения критерия, установленного ею для моральных явлений! Требование: «ты должен отречься от себя и принести себя в жертву» должно быть декретировано только тем существом, которое само отрекалось от своих выгод и нашло свою гибель в жертве, предъявленной индивиду. Так должно бы быть, если бы мы не захотели идти вразрез с данной моралью. Но как только наш ближний (или общество) рекомендует альтруизм *в видах известной пользы,* то мы можем поставить требование прямо противоположное: «ты должен стремиться к выгоде на счет всего остального» и таким образом в один прием проповедуется: «ты должен» и «ты не должен!»

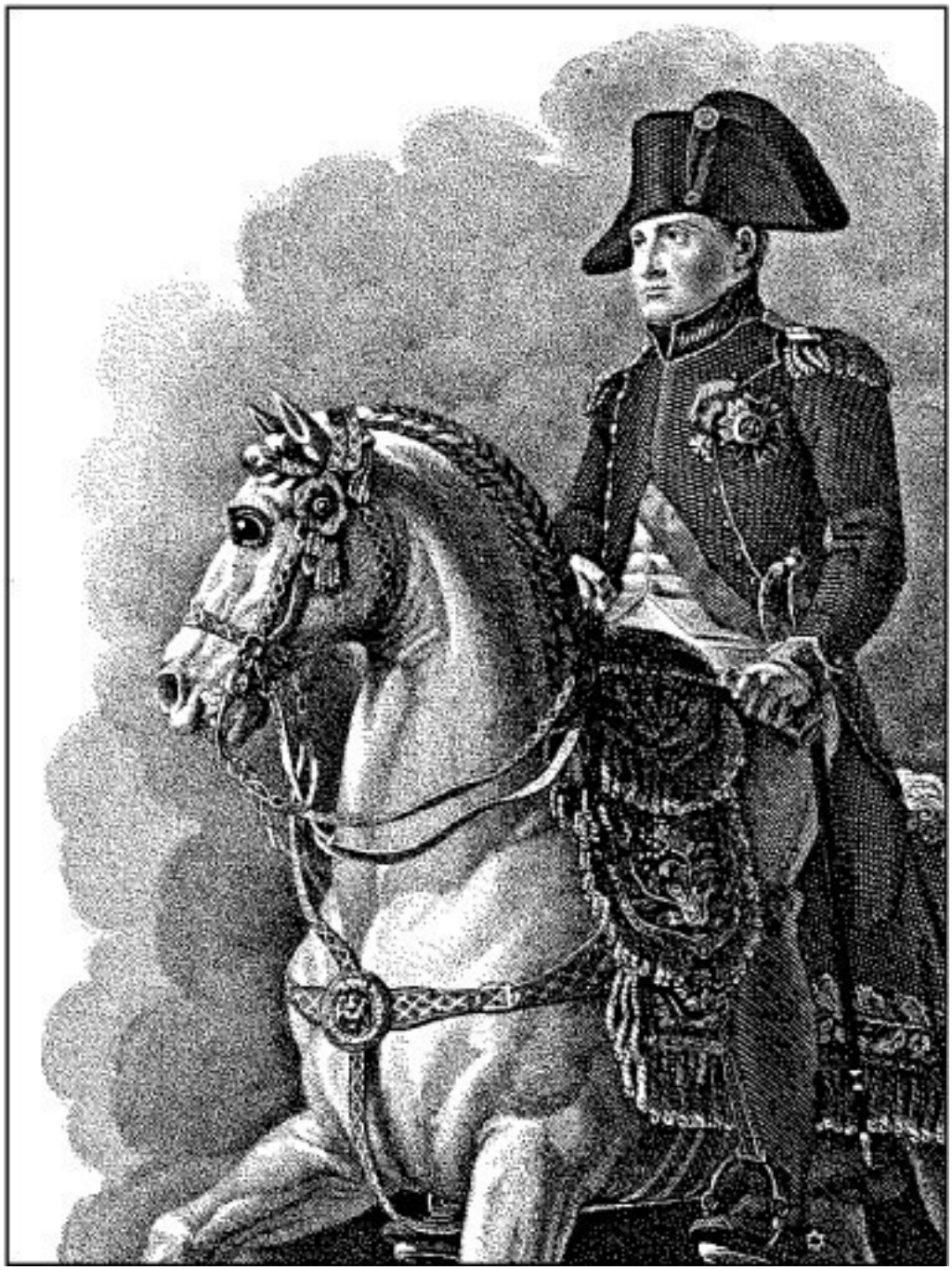
L'ordre du jour pour le roi. – Начинается день, начинаем и мы распределять на этот день торжества и празднества нашего всемилостивейшего господина, который в настоящий момент изволит еще почивать. Его превосходительство настроено сегодня плохо; но мы остережемся говорить об этом и не будем упоминать о его настроении, – мы приготовим сегодня какое-нибудь торжество повеселее и праздник поторжественнее, чем раньше. Его превосходительству, быть может, даже нездоровится, и мы запасем к завтраку последнюю приятную новость, – приезд г-на Монтеня, который умеет так приятно пошутить над своею немощью, – он страдает каменной болезнью. Мы примем нескольких лиц (лиц! – что сказала бы та старая надутая лягушка, которая также будет среди них, если бы услышала это слово! «я не лицо, но сама вещь»), – и прием затянется дольше, чем это кому-нибудь будет приятно: вот прекрасный повод рассказать о том поэте, который сделал над своими дверями такую надпись: «кто войдет сюда, тот окажет мне честь; кто же не сделает этого, – удовольствие». – Вот это, поистине, называется сказать грубость вежливым манером! И, быть может, поэт этот не без основания был невежливым. Он, возможно, хотел написать еще много стихов и для того оградить себя от внешнего мира, – вот чем и объясняется его утонченная грубость! Напротив, князь всегда представляет собой нечто более ценное, чем его стихи, даже в том случае, когда… однако, что же это мы делаем? Мы болтаем, а весь двор думает, что мы работали и ломали над работой свою голову: ведь света только и есть, что в нашем окошке. – Послушайте! Кажется, часы бьют! Ах, черт возьми! Начинается день и открываются танцы, а мы еще не разучили своего тура! Нам придется импровизировать, но ведь весь мир импровизирует свой день. Будем же сегодня поступать, как и все! – И вот вдруг исчезло мое удивительное сновидение, разогнанное, вероятно,

резкими ударами башенных часов, которые, со свойственной им важностью, отбили пять ударов. И мне казалось, что на этот раз бог сновидений хотел пошутить над моими привычками – ведь я начинаю обыкновенно день после того, как подготовлю его и сделаю для себя сносным, и, быть может, относился к этой привычке слишком старательно, по-княжески.

Признаки испорченности. Общество в силу известной необходимости время от времени переживает состояние, которое характеризуется словом «испорченность» и признаки которого заключаются в следующем. Испорченное общество прежде всего находится под властью пестрого *суеверия,* а народная вера, напротив, бледнеет, теряет силу: суеверие именно и представляет собой вольнодумство второй степени, – всякий, кто поддается ему, избирает известные, подходящие для себя формы и формулы и представляет себе право такого выбора. Человек суеверный, по сравнению с человеком религиозным, является всегда в большей степени «личностью», и суеверным обществом будет такое, в котором уже существует много индивидуумов и проявилась известная любовь к индивидуальности. С этой точки зрения суеверие представляет собою *шаг вперед по* сравнению с установившимися взглядами и служит признаком того, что интеллект становится независимее и хочет отстоять свое право. Сторонники старых убеждений начинают тогда оплакивать испорченность нравов, – они приучили нас к известным терминам и окружили суеверие клеветой в глазах даже самых свободных людей. Будем же знать, что оно является симптомом *прояснения.* – Во-вторых, общество, в котором имеет место развращенность нравов, обвиняют в *ослаблении:* оно явно начинает не так высоко ценить войну и не проявляет к ней прежнего стремления, и люди ищут теперь покой с такою же страстностью, как прежде желали военных и гимнастических почестей. Но обыкновенно при этом не замечается того, что прежняя энергия народа, прежняя его страстность, которая находила себе такое блестящее выражение в войне и военных упражнениях, вкладываются теперь в бесчисленные индивидуальные страсти и стали потому менее заметными; да, вероятно, в тех общественных состояниях, которые считают «развращенностью» нравов, мощь затрачиваемой народом энергии увеличилась против прежнего, и индивидуум по отношению к ней проявляет такую расточительность, какая раньше была недоступна: – он не был тогда еще достаточно богат! И в эту эпоху «расслабления» трагедии совершаются и в частных домах, и на улицах, зарождается великая любовь и великая ненависть, и пламя познания ярко вспыхивает до самого неба. В-третьих, как бы в противовес упрекам в суеверии и ослаблении, приписывают эпохе порчи нравов более мягкие взгляды, считают, что жестокость, которая сильно давала себя чувствовать раньше, в период большей веры и большей силы, теперь значительно смягчается. Но как не мог я согласиться с приведенными выше упреками, так не согласен и с только что высказанной похвалой; даже больше: я уверен, что жестокость теперь становится более утонченной и более древние формы ее приходятся уже не по вкусу; но пытка путем слова и взглядов достигает в эпоху развращения нравов высшего своего выражения, – теперь только появилась злость и любовь к злобе. Люди эпохи развращения нравов отличаются своим остроумием и злоречивостью: они знают, что не одним только кинжалом можно убить человека, – они знают также, что люди верят во все, что *хорошо сказано.* – В-четвертых, в эпоху падения нравов на поверхность выплывают существа, которых называют тиранами: это предтечи и рано созревшие *первенцы индивидуализма.* Погодите немного: и вот уже эти плоды из плодов висят спелыми и желтыми на древе народа – и только ради плодов этих и существовало ведь это дерево! Если падение нравов и борьба всевозможных тиранов достигли своей кульминационной точки, то выступает всегда Цезарь, этот последний из тиранов, который заканчивает утомительную борьбу за единовластие, заставляя и само утомление работать на себя. Индивидуальность обычно своевременно достигает полной своей зрелости, а «культура», следовательно, высшего своего развития и высшей плодовитости, но делается все это не ради тирана и не через посредство его: хотя высококультурные люди любят льстить своему цезарю и выдавать себя делом его рук. Истина, однако, заключается в том, что они нуждаются в покое от внешнего мира, ибо свое

беспокойство и свою работу они носят внутри себя. В это время подкуп и измена достигают наивысшего своего развития, ибо любовь к только что открытому своему ego становится теперь гораздо могущественнее любви к старому, изношенному, обреченному на смерть «отечеству»; и стремление обеспечить себя от страшных колебаний счастья открывает даже более благородные руки, когда богатый или могучий человек выказывает готовность насыпать в них золота. Теперь нет прочного будущего, и люди живут только сегодняшним днем: вот то состояние души, при котором обольстители всякого рода пожинают легкую жатву – и, действительно, люди дают обольстить и подкупить себя только на сегодня и отбрасывают всякую мысль о будущем и о добродетели! Индивиды думают только о себе и, как известно, данным моментом интересуются больше, чем толпа, которая представляет им полную противоположность, ибо считает себя такой же непонятной, как и будущее: подобным же образом они охотно связывают свою судьбу с людьми сильными, доверяя таким делам и средствам, которые не могут быть поняты толпой и не могут рассчитывать на благосклонный прием с ее стороны. Но зато и тиран или цезарь понимает права индивидуальности и заинтересован в том, чтобы обратиться с ободрящей речью и протянуть руку помощи даже наиболее смелой индивидуальной морали. Ибо он думает о себе или хочет подумать о себе то же, что Наполеон однажды классически выразил в следующей фразе: «На все упреки, обращенные ко мне, я имею право давать вечно один и тот же ответ: “ведь это я”». Я стою в стороне от всего мира, никто не может ставить мне каких-либо условий. Я хочу, чтобы подчинялись моим фантазиям, и нахожу это естественным даже в том случае, когда позволяю себе то или другое развлечение». Так отвечал Наполеон своей супруге, когда та не без основания высказала подозрение в его супружеской верности. Эпоха развращения нравов является временем, когда яблоки падают с дерева: я подразумеваю здесь индивидуальности, этих сеятелей будущего, этих инициаторов духовной колонизации и пионеров в деле образования государственных и общественных союзов. Порча нравов – это только бранное слово для обозначения того факта, что для данного народа наступил осенний сезон.

Различные виды недовольства. – Недовольные люди типа слабого, как бы женского, способствуют украшению и углублению жизни; недовольство же со стороны людей сильных, – чтобы сохранить нашу аналогию, скажем: людей, отличающихся мужским характером, – служит для улучшения и упрочнения жизни. Слабость и женственность у первых сказывается в том, что они время от времени охотно поддаются обману и уже небольшое упоение и сумасбродство удовлетворяет их, хотя в общем они никогда не достигают полного удовлетворения; эта-то неизлечимость недовольства их причиняет им страдание, и они идут охотно за теми, кто умеет находить себе утешение в опиуме и других наркотиках, и ненавидят всех, кто врача ставит выше священнослужителя; – вот чем они поддерживают жизнь в состоянии напряженной борьбы!



Если бы в Европе с эпохи Средних веков не было излишка людей этого типа, то, быть может, европейцы не проявили бы своей знаменитой способности к постоянной изменчивости, ибо требования людей, обладающих сильным недовольством, настолько грубы, а люди эти в сущности настолько податливы, что в конце концов всегда достигают известного удовлетворения. Китай представляет пример страны, где недовольство в массах, как и способность их к изменениям, убита уже в течение многих веков и социалисты со своими планами улучшения и обеспечения жизни могли бы легко привести Европу к китайщине и китайскому «счастью», если только допустить, что им удалось бы с корнем вырвать ее слишком болезненное, нежное, женственное, а подчас излишнее недовольство и романтизм. Европа представляет собою больного, который должен относиться с высшей благодарностью к своей неизлечимой болезни и вечным переменам своего страдания; эти постоянно новые положения, постоянно новые опасности, боли и средства – все это в конце концов приводило наш интеллект в возбуждение, которое, если и не было самой гениальностью, то во всяком случае было матерью гениальности.

Не предусмотрено для познания. – Нередко встречается чувство робкого принижения, которое не позволяет человеку стать в число познающих. Именно: как только такой человек увидит что-нибудь необычайное, – он тотчас же отворачивается и говорит себе: «ты ошибся! Где были твои чувства? Это не может быть истиной!» – и, вместо того, чтобы зорче прислушиваться и приглядываться, он, как испуганный, бежит от поразившего его предмета и старается как можно скорее, выбросить его из головы. Он именно во внутренней жизни держится следующего правила: «я не хочу ничего видеть, что находится в противоречии с установившимися взглядами на вещи! Разве я для того создан, чтобы открывать новые истины?»

Что называется жизнью? – Жить – значит отталкивать все, что обрекает себя на смерть: жить – значит быть свирепым, неумолимым ко всему, что является дряхлым и слабым на наш взгляд и не только на наш взгляд. Так неужели же жить – значит не иметь сострадания к умирающему, нищему и старику? Беспрерывно быть убийцей? – А ведь еще Моисей принес в древности заповедь: «не убий!»

Отрицающий. – В чем состоит отрицание? Тот, кто отрицает, – стремится в высший мир, хочет улететь дальше и выше, чем люди, держащиеся каких-нибудь положительных правил; – *он отбрасывает многое* из того, что могло бы задержать его полет, и в выброшенном им балласте не все и для него не имеет цены, не все и ему недорого: он приносит это в жертву своему порыву ввысь. И мы только видим в нем эту жертву, это отбрасывание в сторону, а потому и называем его отрицающим. Но он доволен тем впечатлением, которое он на нас оставляет: он хочет скрыть от нас свое желание, свою гордость, свой умысел, чтобы подняться над нами. – Да! а ведь тот, кто поддакивает, кажется нам умнее, чем мы думали, и так почтителен по отношению к нам! Он – ровня нам даже в отрицании.

Вред, проистекающий от лучших сторон человеческой природы. – Наши силы иногда заводят нас так далеко, что мы уже больше не можем сдерживать своих слабостей и идем ко дну: мы даже предвидим подобный исход и тем не менее все же стремимся к нему. Тогда становимся мы жестокими ко всему, нуждающемуся в пощаде, и наше величие будет в то же время и проявлением нашей безжалостности. – Переживая подобное состояние, за которое мы готовы расплатиться жизнью, мы по своему воздействию будем напоминать великих людей с их влиянием на других и их время: лучшими сторонами своего существа они топят много слабых, неуверенных, несложившихся, желающих и приносят таким образом вред. Да, может и так случиться, что в общем тот или другой из них принесет только вред, ибо лучшие стороны его бытия могут быть усвоены только такими индивидами, которых оно, как сильный хмельной напиток, заставит потерять и ум и чувство самосохранения, и они, хмельные, переломают себе руки и ноги на той неверной дороге, куда загонит их хмель.

Привравшие. – Когда во Франции явились противники, а, следовательно, и защитники единиц Аристотеля, то можно было наблюдать явление, которое обыкновенно приходится видеть довольно часто, но на которое люди неохотно обращают свое внимание: – *основания,* на которых должен был покоиться закон, выдумывались исключительно лишь для того, чтобы не выдать своей привычки к нему и своего нежелания признать что-либо иное. То же самое повторяется по отношению ко всякой господствующей морали и ведется издавна: основания и цели, которые якобы кроются за известной привычкой, выдумываются только тогда, когда появляются противники данной привычки и спрашивают, какую цель она преследует и на каких основаниях покоится. В том и беда консерваторов всех времен, что они бывают вынуждены лгать по разным поводам.

Комедия, разыгрываемая знаменитостями. – Знаменитые мужи, ищущие славы, как, напр., все политики, не без задней мысли выбирают себе союзников и друзей. От одного они хотят заимствовать блеск и отблеск его добродетели, от другого – способность внушать к себе страх какими-нибудь сомнительными добродетелями, которые всеми признаются за ним; у третьего захватывают тайком славу человека праздного, живущего в свое удовольствие, ибо им

самим иногда выгодно прослыть людьми беспечными и ленивыми, чтобы таким путем скрыть свое выжидательное положение; они приближают к себе то фантазера, то человека сведущего, то мечтателя, то педанта, но только как часть своего настоящего «я» и – не более! И атмосфера, окружающая их, становится мертвой, неподвижной, хотя в то же время кажется, что всё ищет их близости и стремится стать «характерным выразителем» их; в этом отношении они напоминают нам большие города. Слава их, как и их характер, постоянно находится в движении, и достигают они этого постоянной переменой средств, выдвигая на сцену то одно, то другое из действительных или вымышленных своих свойств: для этого, как сказано, они пользуются своими друзьями и союзниками. Сами же они стремятся занять прочное положение и имеют вид медных, блестящих статуй, ради чего и разыгрывают свою комедию.

Торговец и знатный. – Продажа и покупка являются в настоящее время такими же распространенными операциями, как искусство читать и писать: теперь в них приходится принимать участие и тем, кто совсем не принадлежит к торговому классу, и ежедневно упражняться в их технике: так в глубокой древности, когда человек был еще диким, каждый непременно был охотником и изо дня в день упражнялся в технике этого дела. Тогда охота была занятием всеобщим, но теперь, наконец, она сделалась привилегией людей могущественных и знатных и потеряла характер повседневности и всеобщности, – а с тех пор, как в ней перестали чувствовать необходимость, она является предметом прихоти и роскоши. Та же самая судьба, быть может, когда-нибудь постигнет и процессы купли-продажи. Можно представить себе такое состояние общества, где нет места этим процессам и где совершенно утеряна необходимость упражняться в их технике ежедневно: и весьма возможно, что отдельные единицы, которые нелегко поддаются законам общего состояния, будут позволять себе в виде роскоши заниматься куплей-продажей. И тогда торговля станет признаком знатности, и благородные классы, быть может, с таким же рвением будут заниматься торговлей, с каким до сих пор они занимались войной и политикой; возможно, что к тому времени и политика получит совершенно обратную оценку. Ею уже и теперь занимаются не одни привилегированные классы, и со временем, пожалуй, она сделается таким обыденным занятием, что, подобно всей партийной и ежедневной прессе, будет помещаться под рубрикой «Проституция духа».

Неприятные ученики. – «Что делать мне с двумя этими учениками» – восклицал с негодованием философ, который так же портил юношество, как портил его когда-то Сократ, – это для меня неприятные ученики. Один никому не может ответить отрицанием, а другой – всякому говорит и так и сяк. Если даже предположить, что они воспримут мое учение, то первому пришлось бы много выстрадать, ибо мой образ мысли требует воинственной души, злой воли, страсти к отрицанию, толстой кожи, – он страдал бы тогда и от наружных, и от внутренних ран. Второй из каждой вещи, которую он берется защищать, делает посредственность, что отражается и на затронутом им вопросе, – такого ученика я желаю только своему врагу».

По выходе из аудитории. – «Чтобы доказать вам, что человек в сущности принадлежит к добрым животным, я напомню о том, как долго он остается легкомысленным. И только теперь, когда уже слишком поздно и после страшного насилия над собой, он сделался *недоверчивым* животным; – да! человек теперь – злее, чем прежде». – Я не понимаю, почему бы человеку быть теперь злее и недоверчивее? – «Да потому, что у него есть теперь наука, – потому что он в ней теперь нуждается!»

Historia abscondita. – Всякий великий человек имеет и обратную силу: снова взбудораживается вся история, и тысячи тайн прошлого выползают из своих ущелий к нему, на солнце. И отнюдь не следует с пренебрежением относиться к той мысли, что всё когда-нибудь снова будет еще раз уделом истории. И прошлое теперь все еще, быть может, в своих существенных чертах, остается неоткрытым! Да! потребуется еще много людей, обладающих обратною силой!

Ересь и чародейство. – Не признаки высшего интеллекта, а действие сильных и злых наклонностей, – изолирующих, упрямых, злорадных, злобных наклонностей проявляет всякий,

кто не хочет держаться общепринятого образа мыслей. Ересь является двойником чародейства: в ней так же мало добродушия, и она так же мало заслуживает почтения. Еретик и колдун представляют собою два рода злых людей: общее у них то, что оба они чувствуют себя людьми злыми и оба ощущают в себе непреодолимое желание становиться поперек дороги всему, что обладает властью (над людьми и людскими мнениями). И тех, и других в громадном количестве выдвинула Реформация, которая является своего рода усилением средневекового духа в ту пору, когда он уже потерял всю свою добрую совесть.

Последние слова. – Вспомним, что император Август, этот страшный человек, который обладал таким же самообладанием и таким же умением молчать, как какой-нибудь мудрый Сократ, выказал, в последних своих словах нескромность по отношению к себе: он позволил в первый раз упасть маске с своего лица в тот самый миг, когда дал понять другим, что он носил маску и разыгрывал комедию, – и он действительно так искусно исполнял на троне роль отца отечества и мудрого человека, что доводил зрителей до настоящей иллюзии! *Plaudite, amici, comoedia finita estl* — Мысль умирающего Нерона: *qualis artifex pereol* была в то же время и мыслью умирающего Августа: клоунская суета! клоунская болтливость! Какой контраст с умирающим Сократом! – Но Тиберий, этот самый ужасный мучитель из всех людей, предававших себя мучениям, умер молча, – он был человеком искренним, он не был актером! Что могло прийти ему в голову в последнюю минуту? Быть может, следующее: «Жизнь представляет из себя продолжительную смерть. И я, безумец, укоротил эту жизнь у стольких людей! Разве для благодеяний я создан был? – Я должен был бы дать им вечную жизнь: тогда я мог бы *видеть* их вечно *умирающими.* Для этого у меня были достаточно хорошие глаза: *qualis spectatorpereol»* Когда после продолжительной предсмертной агонии к нему снова возвратились силы, окружающие нашли для себя полезным придушить его подушками, – и так он умер двойною смертью.

Три ошибки. – За последние столетия наука двигалась вперед или потому, что люди надеялись при помощи ее лучше понять мудрость и благость Божию, – главный мотив, руководивший в исследованиях великими англичанами (как Ньютон), – или потому, что верили в абсолютную полезность знания, а именно в самую интимную связь между моралью, наукой и счастьем, – что являлось главным мотивом для великих французов (как Вольтер), – или потому, что в науке думали получить нечто, полное самоотречения, благодушия, самодовлеющее и действительно безгрешное и совершенно чуждое дурным стремлениям человека, – это был главный мотив в душе Спинозы, который чувствовал в своем познании что-то божественное. Так тремя заблуждениями обусловливалось движение науки вперед.

Взрывчатый материал. – Если принять во внимание, что силы молодых людей постоянно стремятся проявить себя каким-нибудь бурным образом, то неудивительно, что молодежь так грубо и так неразборчиво бросается на тот или на другой предмет. Ее привлекает к вещи лишь вид той жадности, с которой люди бросаются на нее, как образ пылающего фитиля, – но не самая вещь. Наиболее искусные из обольстителей поэтому понимают, что на вид необходимо выставлять взрыв – бурное проявление, а не обращаться к каким-либо доказательствам: при помощи одних основ с этими пороховыми бочками ничего не поделаешь.

Перемена вкуса. – Перемена общего вкуса имеет больше значения, чем перемены в области мнений; мнения, вместе со всеми доказательствами, противоречиями и со всем их интеллектуальным маскарадом являются только симптомами перемен в области вкуса и никогда не бывают причинами таких перемен, каковая роль им часто приписывается. Как же изменяется общий вкус? Процесс состоит в следующем: отдельные могучие и влиятельные личности без всякого стеснения высказывают *hoc est ridiculum, hoc est absurdum;* таким образом они решают, что им нравится и что внушает отвращение, и тиранически настаивают на своем решении. Таким путем они накладывают на многих людей известное принуждение, из которого постепенно образуется привычка для еще большего числа людей и, наконец, *потребность для всех.* То же обстоятельство, что эти единицы иначе чувствуют, имеют иной вкус, объясня-

ется обыкновенно особенностями их образа жизни, пищи, пищеварения, быть может, большим или меньшим количеством неорганических солей – в крови и мозге, короче говоря, их физическими особенностями. Единицы эти имеют только мужество открыто исповедовать свою физику и прислушиваться к самым тончайшим ее требованиям: вот такими-то тончайшими тонами физики являются эстетические и моральные суждения этих индивидов.

О недостатке благородных форм. – Солдаты и вожди их всегда находились в более благородных отношениях друг к Другу, чем работники и работодатели. По крайней мере, всякая культура, опирающаяся на военную организацию общества, и теперь еще стоит высоко над так называемой индустриальной культурой. Последняя в настоящем своем виде является вообще самой низкой формой общежития, из всех когда-либо существовавших. В ней явно выступает действие закона нужды: человеку хочется жить, и он продает себя, но в то же время презирает того, кто старается использовать для себя эту нужду и *купить* себе работника. Подчинение людям могучим и возбуждающим к себе страх, тиранам и предводителям, никогда не кажется столь тягостным, как подчинение неизвестным и неинтересным личностям, каковыми оказываются все крупные величины индустриального мира. В работодателе работник видит лишь хитрого, сосущего, спекулирующего на всякую нужду пса, который ничем не отличается от него ни по имени, ни по виду, ни по привычкам, ни по славе. Фабрикантам и крупным предпринимателям в области торговли недоставало, вероятно, до сих пор всех тех форм и отметок высшей расы, которые и делают только личность интересной; если бы у них во взоре и манерах было то благородство, какое мы наблюдаем у людей знатных по происхождению, то, быть может, среди масс никогда не было бы никакого социализма. Ведь эти массы собственно готовы подчиниться какому угодно рабству, если они только будут думать, что лицо, стоящее над ними, обладает высшею формой и тем самым доказывает свое превосходство и свое прирожденное право повелевать другими! Самый обыкновенный человек чувствует, что благородство нельзя импровизовать и почитает в нем плод многих веков. Но отсутствие высших форм и всем известная вульгарность наших фабрикантов, которые отличаются своими красными, жирными руками, наводят на мысль, что только случай да счастье вознесли здесь одного над другим. «Хорошо же! – думает каждый про себя, – попытаем и мы своего счастья! Бросим же кость». – И вот выступает на сцену социализм.

Против раскаяния. – Мыслитель видит в своих собственных трудах лишь вопрос и пробу, к какому бы заключению он ни пришел: удача и неудача служат для него одинаково *ответом.* Жалеть о неудавшемся, чувствовать какое-нибудь раскаяние он предоставляет тем, кто работает по принуждению и кто ждет удара дубиной всякий раз, как господин его остался недовольным полученными результатами.

Работа и скука. – Искать работу ради заработка – вот стремление, которое охватывает теперь всех людей во всех цивилизованных странах: работа для них является только средством, а не целью; они малоразборчивы по отношению к занятиям, особенно, если при этом можно получить хорошую выгоду. Теперь все реже и реже встречаются люди, готовые скорее погибнуть, чем приняться за работу, к которой они не чувствуют никакого расположения: трудно удовлетворить тех разборчивых индивидов, которые отвертываются от богатых выгод, если только сама работа не является лучшей из всех остальных выгод. К таким изредка встречающимся людям принадлежат художники и созерцатели всякого рода, а также те лентяи, которые проводят свою жизнь среди охоты, путешествий, различных приключений и любовных интрижек. Все они с удовольствием подчиняются работе, – и в случае необходимости самой тяжелой, самой трудной работе, – до тех пор, пока она не противоречит их желаниям. В противном же случае они проявляют свою лень самым решительным образом, если даже она угрожает им нищетой, бесчестьем, опасностью здоровью и жизни. Им не так страшна скука, как работа, к которой они не чувствуют никакого расположения: да, им нужен продолжительный период безделья для того, чтобы им удалась их работа. Для мыслителя и людей, одаренных изобретатель-

ным духом, безделье является неприятным «затишьем» души, которое предшествует счастливой поездке при благоприятном ветре; надо только перетерпеть этот период, выждать его действие, – а это удается лишь немногим натурам. Изгонять досуг и отдаваться работе без всякого расположения к ней – это общераспространенное явление. И азиаты, пожалуй, имеют перед европейцами преимущество в своей способности предаваться более продолжительному и глубокому покою; даже наркотики их действуют медленно и требуют известного терпения, служа в этом отношении контрастом чисто европейскому яду-алкоголю с его неприятной способностью вызывать опьянение внезапно.

Что обнаруживают законы. – Безусловно ошибается тот, кто, при изучении уголовных законов какого-нибудь народа, – ищет в них выражения его характера; законы не обнаруживают внутреннего содержания народа, – они показывают лишь то, что этому народу было чуждо, что у него встречалось редко, казалось неслыханным и чужеземным. Уголовные законы относятся к таким фактам, которые являются исключениями в области обычной нравственности. И самые жестокие законы поражают такие деяния, которые были общепринятым явлением у соседнего народа. Так вагабиты считают только два смертных греха: поклоняться не вагабитскому богу, а какому-нибудь другому божеству и предаваться курению (которое у них вызывается «постыдным пьянством»). «А как же убийство, нарушение супружеской верности?» – спрашивал в изумлении англичанин, которому впервые пришлось ознакомиться с этими взглядами. «Господь ваш ведь милостив и милосерден», – отвечал на это старик-старейшина. – Так и древние римляне считали, что женщина могла совершить только два смертных греха: изменить мужу и напиться пьяной. Катон Старший полагал, что обычай обмениваться родственникам поцелуями именно для того был установлен, чтобы следить за женщиной, не пахнет ли от нее вином. И, действительно, женщины, уличенные в пьянстве, наказывались смертью: и не за то только, что в опьянении они не знали предела своей распущенности. Римляне боялись прежде всего того оргиастического и дионисовского начала, которого так искали периодически женщины европейского юга в то время, когда вино в Европе было еще мало известно. Они видели в этом стремлении чудовищное предпочтение иностранных обычаев, – предпочтение, благодаря которому римское чувство лишалось почвы, а в плоть и кровь входили чужие обычаи, и совершалась, таким образом, на их взгляд, измена Риму.

Вера в мотивы. – Важно знать мотивы, которыми человечество до настоящего времени руководствовалось в своих действиях. Быть может, *вера* в тот или другой мотив – та вера, которую само человечество искренне выдавало рычагом своей активной жизни, – представляет для исследователя нечто особенно существенное. Вера в тот или другой мотив, а не самый мотив, который является собственно второстепенным фактом, дает людям внутреннее счастье или несчастье.

Эпикур. – Да, я горжусь тем, что понимаю характер Эпикура иначе, чем понимают его, пожалуй, все остальные, и чувствую себя в силах пережить то чувство счастья, которое охватывало древнего грека в часы послеполуденного отдыха, – пережить, несмотря на все, что мне приходилось слышать и читать о нашем философе. Я вижу, как взор его покоится на обширной поверхности беловатого моря, на прибрежных скалах, облитых лучами солнца, а большие и мелкие животные играют в его свете так же спокойно и уверенно, как спокойны и уверены самый этот свет и этот взор. Такое счастье может обрести только тот, кто постоянно страдал; это – счастье взора, перед которым море бытия утихает и который никогда не устанет смотреть на его поверхность, на эту пеструю, нежную, дрожащую морскую пену: и никогда до него сладострастие не отливалось в такие умеренные формы.

Наше удивление. – Наше действительное и несомненное счастье заключается в том, что наука открывает такие предметы, которые стоят прочно и ведут постоянно все к новым и новым открытиям. Да, мы так подавлены всей непрочностью и фантастичностью наших суждений, вечным шатанием всех человеческих законов и понятий, что естественно начинаем изум-

ляться, когда видим, что научные данные действительно установлены очень прочно. Раньше люди ничего не знали об этой изменчивости всего человеческого, раньше обычные взгляды на нравственность заставляли прямо верить, что вся жизнь человеческая неизменными пробоями скреплена с медной необходимостью, – и если ощущали подобное изумление, то разве только, когда приходилось слушать сказки и похождения фей. И элемент удивления благодетельно действовал на людей, которые могли утомиться под бременем вечных и неизменных правил. Но потерять почву! висеть в пространстве! блуждать! быть безрассудным! – да это раньше считали райским счастьем, крайней роскошью.

Мы же со своим блаженством напоминаем человека, потерпевшего кораблекрушение, который, наконец, достиг берега и обеими ногами стал на старую, твердую землю, – изумляясь, что она не колеблется.

Об угнетении страстей. – Если постоянно сдерживать проявление страстей, как что-то «вульгарное», грубое, мещанское, – и таким образом стремиться покорять не самые страсти, а лишь их выражение, – их язык и жесты, – то попутно все-таки получается угнетение и самих страстей, по крайней мере, их ослабление и видоизменение. Поучительнейший пример нам в этом отношении дает двор Людовика XIV и все, что так или иначе было с ним связано. Век, воспитанный на том, чтобы подавлять свое чувство, не имел уже больше и самих страстей, место которых заняли приятные, плоские, заигрывающие манеры, – век, который был прямо одержим неспособностью проявлять что-нибудь грубое: даже оскорбления наносились и принимались в самых любезных выражениях. Напротив, наше время представляет, пожалуй, изумительнейший контраст с только что нарисованной картиной: я повсюду вижу и в жизни, и на сцене, и далеко нередко в литературных произведениях, удовольствие ко всяким грубым проявлениям страсти: страстность, а не самые страсти поставлены в настоящее время в известные условные рамки! Но люди ничего не добьются таким путем, и наши потомки будут настоящими дикарями, а не только носителями диких и грубых форм.

Сознание нужд своих. – Быть может, ничем так резко не отличаются друг от друга люди и эпохи, как различной степенью сознательного отношения к своим нуждам. Мы, люди настоящего столетия, несмотря на все обилие наших недостатков и разнообразие нашего увечья, мы не обладаем сколько-нибудь значительным личным опытом и являемся лишь жалкими фантазерами; особенно ярко проявляется это по сравнению с эпохой страха – самой продолжительной из всех эпох, – когда личность должна была защищать себя против организованной общественной силы и потому вырабатывать сильных людей. В то время человек проделывал богатую школу физических страданий и лишений, и в известной суровости к себе, в добровольном самоистязании видел для себя неизбежное средство самосохранения; тогда приучал он близких ему людей переносить боль, тогда он охотно сам прибегал к боли и других присуждал к самым страшным страданиям, руководясь исключительно чувством самосохранения. Что же касается духовных нужд, то относительно каждого человека я ставлю себе вопрос, известны ли ему эти нужды из личного опыта, или только по описанию; считает ли он необходимость такого познания ради только лицемерия и выдвигает ее, как признак более тонкого образования, или же в глубине своей души вообще не верит в великие духовные страдания и при одном напоминании о них реагирует, как при напоминании о великих физических мучениях, вспоминая о зубной боли и желудочных коликах. Так, по-моему, дело и обстоит у большинства людей. Непривычка к духовной и физической боли и условия, при которых вы только изредка можете встретить страдающего человека, создали то, что наши современники ненавидят боль гораздо сильнее, чем люди прошлых веков и с большей ненавистью говорят о ней: даже мысль о страдании они едва выносят и наличие ее в мире дает повод им обращаться с упреком ко всему бытию. Неожиданное появление пессимистической философии не служит признаком великой, страшной обороны; но она играет роль вопросительных знаков, которые всегда ставятся относительно ценности всей жизни в те периоды, когда бытие наше достигло таких утонченных

и легких форм, при которых даже ничтожная духовная и физическая боль, не превышающая боли от укуса комара, кажется слишком кровавой, когда за скудностью действительного личного опыта в страдании весьма охотно выдают за страдания высшего порядка лишь *общие представления о страдании.* – Я бы, пожалуй, дал рецепт против пессимистической философии и чрезмерной чувствительности, которая, как мне кажется, собственно и является «нуждой настоящего времени», но рецепт этот звучит слишком сурово и чего доброго его отнесут в число тех признаков, на основании которых и теперь приходят к мысли, что «бытие является чем-то недобрым». Ну, что же делать? Рецепт этот гласит: «клин клином вышибай».

Великодушие и родственные ему чувства. – Такие парадоксальные явления, как внезапное хладнокровие при решении какого-нибудь вопроса у сангвиника, как юмор у меланхолика и особенно как великодушие, которое является внезапным решением поступиться чувством мести или зависти, – наблюдаются у людей, обладающих могучей внутренней силой, действующей только внезапными толчками, у людей, которые очень быстро пресыщаются и очень быстро начинают чувствовать отвращение. Такие люди скорее удовлетворяются и доходят почти до пресыщения, отвращения и противоположного вкуса. Благодаря этому контрасту, разрешается спазма ощущения: у одного в виде внезапной холодности, у другого – в виде смеха, у третьего – в слезах и самопожертвовании. Великодушного – я говорю, по крайней мере, о тех великодушных людях, которые всегда производят особенно сильное впечатление, – я представляю себе человеком, питающим страшную жажду мести, который быстро мог бы достичь удовлетворения, но который так упивался им, так полно выпил его до последней капли *уже в представлении,* что за этим процессом быстро последовало страшное отвращение, – он поднимается тогда «выше самого себя», как говорят, и прощает своему врагу, даже благословляет его и оказывает ему всяческие почести. Вместе с тем насилием, которое он совершает над самим собой, вместе с тем поруганием все еще могучего своего чувства мести, он отдается только новому стремлению (отвращению) и делает это с таким же нетерпением, с такою же неумеренностью, с какою он незадолго перед этим упивался в своей фантазии картинами мести. Великодушие представляет из себя ту же степень эгоизма, как и месть, но только особый вид эгоизма.

Страх одиночества. – Даже у самых чутких людей упреки совести слабее, по сравнению с тем чувством, которое мы испытываем при мысли, что тот или другой из наших поступков будет направлен против добрых нравов *нашего* общества. Холодный взгляд, недовольная мина со стороны тех, среди кого и ради кого нас воспитывают, *страшны* даже для самых сильных людей. Но что собственно страшного во всем этом? Угроза оставить вас в одиночестве – вот аргумент, который ниспровергает даже самые лучшие аргументы, находящиеся в вашем распоряжении в пользу какого-нибудь лица или предмета. – Так говорит в нас стадный инстинкт.

Чувство истины. – Я хвалю у себя всякий скептицизм, на который мне позволяется ответить: «сделаем же относительно этого опыт!» Но я уже не могу больше ничего слышать о всех предметах и о всех вопросах, которые не допускают опыта. Тут лежит граница моего чувства истины, ибо дальше я уже не чувствую у себя смелости.

Что о нас знают другие. – То, что мы сами о себе знаем и думаем, к нашему счастью, далеко не отличается такой определенностью, как это обыкновенно полагают. И вдруг в один прекрасный день прорывается то, что знают (или воображают) о нас *другие,* – и мы убеждаемся, что приговор этот представляет нечто особенно могучее. Легче покончить со своей нечистой совестью, чем со своей дурной славой.

Где начинается благо. – Там, где обыкновенный глаз не различает дурных стремлений, как таковых, благодаря тем утонченным формам, в которые облекаются эти стремления, – там и определяет человек царство своего блага, и, чтобы переступить в царство блага, возбуждает к деятельности такие стремления, как чувство безопасности, удовольствия, благоволения, которым дурные стремления ставили известные границы. Таким образом, чем тупее глаз, тем обширнее для человека является царство блага! Вот почему так ясно на душе у простого народа

и у детей, а у великих мыслителей такой мрак и такая скорбь, которая граничит с непокойной совестью.

Сознание наших иллюзий. – Когда вместе со своим познанием я становлюсь лицом к лицу с остальным миром, то все мне кажется изумительным и новым, и в то же время ужасным и полным иронии! *Я открыл* для себя, что древний мир людей и животных, даже более того – вся первобытная жизнь и все прошлое каждого чувствующего существа – продолжает во мне мечтать, любить, ненавидеть. И вот я внезапно пробудился среди этих грез, но лишь для того, чтобы осознать, что я так же грежу и *должен* продолжать свои грезы, если не хочу пойти ко дну, подобно лунатику, который должен продолжать грезить для того, чтобы не упасть. Что же такое представляют теперь мои «иллюзии»? Конечно, иллюзия о каком-нибудь существе не будет его контрастом: – ведь о любом существе я могу высказать лишь предикат того, чем он мне кажется! Конечно, не мертвой маской, которую легко можно надеть и снять с неизвестного X! Иллюзия является для меня чем-то действующим, живым и это нечто в своем издевательстве надо мной заставляет меня почувствовать, что здесь все – иллюзия, блуждающие огоньки, танец духов и больше ничего, – что между всеми этими грезящими и я, «познающий», совершаю свой танец, что каждый из нас своим познанием затягивает только земной танец и только на время является распорядителем на празднике бытия и что установленная последовательность и связь всех познаний является и будет служить высшим средством для того, чтобы сохранить всеобщность этого бреда, дать возможность членам этого грезящего мира понимать друг друга и продолжать свой бред на будущее время.

Последняя форма благородства. – Что делает человека благородным? Конечно, не жертва с его стороны: ведь и безумный может принести жертву; а также и не всякая страсть, ибо бывают позорные страсти. Также и не отсутствие эгоизма, ибо эгоизм, быть может, особенно-то устойчиво и проявляется у людей наиболее благородных. – Но благородный человек должен обладать страстью, совершенно обособленной и вместе с тем не знать об ее обособленности; он должен употреблять редкую и исключительную меру ценностей, гранича в этом отношении почти с помешательством; чувствовать жар в таких предметах, которые другим кажутся холодными; угадывать такие ценности, для которых еще не изобретено весов; приносить жертвы на алтари, посвященные неизвестному богу; обладать храбростью, не ради почестей; доводить чувство самодовольства до излишества и заражать в этом отношении окружающую атмосферу. Таким образом до сих пор благородным можно было сделаться только при наличии двух условий: быть редким человеком и не знать об этой своей особенности. Но обратим при этом внимание на то, что, руководясь такой путеводной нитью, мы, в погоне за исключениями, считаем пошлым и даже позорным все обычное, ближайшее к нам и необходимое, – короче говоря, – все, что больше всего способствует сохранению рода человеческого, все, что вообще являлось для человечества правилами поведения. Быть прокурором этих правил – вот, пожалуй, – последняя и тончайшая форма, в которой проявляется благородство на земле.

В страстных поисках за страданием. – Когда я думаю о том страстном желании найти себе какое-нибудь дело, – желании, которое так раздражает и мучит миллионы молодых европейцев, изнывающих от тоски и чувствующих себя не в силах переносить бремя своей собственной персоны, то мне становятся непонятны страстные поиски страдания, чтобы найти себе хотя бы какое-нибудь проблематическое основание для своей деятельности! Это неотложная потребность! Вот чем объясняются все завывания политиков, все эти многочисленные, фальшивые, выдуманные, раздутые, «состояния крайней необходимости» всевозможных классов и слепая готовность уверовать в них. Для того, чтобы подействовать на душу нашей молодежи, надо им *извне* показать картину какого-нибудь несчастья; только таким путем можно возбудить к деятельности их фантазию, которая тотчас же создаст какое-нибудь чудовище и поведет их в бой с ним. Если бы они сами чувствовали в себе силу сделать какое-нибудь добро, пристроить себя к какому-нибудь делу, – они сумели бы создать сами собою свою собствен-

ную нужду. Изобретательность их отливалась бы тогда в более тонкие формы, и чувство удовлетворения звучало бы, как прекрасная музыка. Теперь же они наполняют мир только криками: «караул!» и потому слишком часто обращаются к чувству самообороны. Они не умеют никакого дела начать сами собой – и размалевывают на стене несчастья других; они не могут обойтись только собой, без других! И им постоянно нужна смена этих посторонних лиц! – Простите, друзья мои, за то, что и я отважился размалевать на стене свое счастье.

Книга вторая

Реалистам. – О, вы, рассудительные люди! Вы, которые чувствуете себя во всеоружии против всякой страсти и фантазии и кичитесь своей пустотой, как украшением; вы называете себя реалистами и тем самым намекаете, что мир должен быть таким, каким он вам является: перед вами одними действительность стоит без покрывала, и лучшею частью ее являетесь, пожалуй, вы сами. Но разве, сорвав с мира покрывало, вы не оказываетесь, по сравнению с рыбами, все-таки в высшей степени страстными и мрачными, разве вы не похожи на влюбленного художника? – и чем же является «действительность» для влюбленного художника? Ведь та оценка, которую вы даете окружающим вас предметам, коренится в страстях и влечениях предшествовавших столетий! Рассудительность ваша в сущности является непрекращающимся обвинением! Ваша любовь к действительности, напр., – ведь это старая, престарая «любовь». В каждом ощущении, в выражении каждого чувства заключается частица этой старой любви: и таким образом тут вдоволь проработала и фантазия, и предрассудок, и неразумие, и неведение, и страх, и что там еще есть! Возьмем хоть ту гору, то облако! Ну, что «действительного» есть в этих предметах? Ну, откиньте вы, рассудительные люди, все те фантазмы, которые в них вложены человечеством, и все, что им туда прибавлено. Сделайте это, если только можете, если вы в состоянии забыть свое происхождение, свое прошлое, ту предварительную школу, которую вам пришлось пройти, – одним словом, всю жизнь человечества и животного царства! Для нас не существует «действительности» – и для вас тоже, трезвые люди, – мы далеко не так чужды друг другу, как вы полагаете, и, быть может, наше искреннее стремление вырваться из состояния опьянения настолько же почтенно, как и ваша уверенность в том, что вы вообще неспособны поддаться опьянению.

Только как результат нашего творчества! – Мне всегда стоило, да и стоит величайшего труда понять, что язык встречает главное препятствие в том, чтобы дать *вещам такое название,* которое соответствовало бы их сущности. Кличка, название и наружный вид, оценка, обычная мера, прилагаемая к вещам, и их значение – все это является результатом заблуждения и произвола, представляет собой как бы одеяние, накинутое на вещи и чуждое не только их телу, но и коже, – в то же время, однако, благодаря вере, которую человечество питает к этим элементам, и тому росту, который они проявляют при переходе от одного поколения к другому, они постепенно становятся совершенно равнозначащими с самою вещью и даже как бы срастаются с ее телом: то, что сначала являлось лишь призраком, со временем становится самою сущностью и *действует,* как нечто действительно существующее. Каким же глупцом был бы всякий, кто воображал бы, что достаточно указать на это происхождение химеры, на то покрывало, под которым она скрывается, чтобы *уничтожить* мир, как нечто, действительно существующее, как так называемую «действительность». Если мы что и можем уничтожить, так это лишь результаты нашего же творчества! – Но не забудем также и следующего положения: достаточно создать новое название, новую ценность, что-нибудь вероятное, и мы, вместе с тем, создадим и новые «вещи», которые проявят себя со временем.

Мы – художники! – Любовь к женщине легко воспламеняет в нас ненависть к природе, когда мы вспоминаем о тех неприятных, хотя и естественных функциях и особенностях, которые мы встречаем в каждой женщине; мы, вообще говоря, охотно думаем об этих вопросах, но всякий раз, как душа наша прикасается к ним, она совершает нетерпеливые движения и, как сказано, бросает презрительные взгляды на природу: мы чувствуем себя обиженными; нам кажется, что природа вторгается в нашу область с немытыми руками. Тогда затыкаем мы себе уши, чтобы не слышать того, что говорит физиология, и тайно решаем для себя: «я не хочу и слышать, чтобы человек представлял собой еще что-нибудь иное, кроме *души и формы».* «Человек с кровью и плотью» является предметом отвращения, каким-то поношением боже-

ства и любви. – Те же чувства, которые волнуют по отношению к природе влюбленного, мы находим у каждого почитателя богов и их святого всемогущества». Во всем, что о природе было сказано астрономами, геологами, физиологами, врачами, они видят посягательство – и посягательство дерзкое – на их достояние, и возмущаются бесстыдством этих наглых людей. Самое слово «естественный закон» звучит для них клеветой на богов. В сущности они с удовольствием посмотрели бы, как все произвольные и волевые движения были бы подведены под какие-нибудь механические законы, но, так как никто им не мог оказать такой услуги, то они и *утаили,* насколько оказалось возможным, природу и механику для себя и оставались жить в области грез. О, эти люди уже с давних пор научились *грезить,* но не считали нужным заснуть! – и мы, люди настоящего момента, умеем еще слишком хорошо проделывать это, несмотря на все наше стремление бодрствовать и жить среди бела дня! Достаточно любить, ненавидеть, иметь какое-нибудь страстное желание и даже вообще переживать какие-нибудь ощущения, – и *тотчас* же на нас нисходит дух и сила грез, и вот, с открытыми глазами, холодно глядя в глаза всякой опасности, мы вступаем на самый страшный путь, взбираемся на крыши и вершины замков фантазии, и не чувствуем при этом даже головокружения, как будто лазить нам предопределено от рождения. Вот каковы мы – лунатики, бродящие днем! художники! утайщики всего естественного! сомнамбулы и изуверы! Спокойно и безустанно бродим мы по высотам, которые даже и не кажутся нам высотами, а простыми безопасными равнинами.

Женщины и их действие на расстоянии. Слышу ли я? Ведь я весь обратился в слух? Вот стою я среди моря огня, белые языки которого лижут мои ноги: – отовсюду раздается вой, угрозы, крик и визг, а в далекой глубине старый бог, потрясающий землю, напевает свою арию, глухую, как рев быка, и выбивает при этом так сильно такт, содрогающий землю, что у самого проклятого чудовища дрожит в груди сердце. И вот внезапно, всего в нескольких саженях от врат этого адского лабиринта, появляется громадное парусное судно, рожденное как бы из пустоты, и скользит бесшумно, как привидение. О, волшебная красота! Как очаровывает она меня! Как? Уже не там ли, на корабле этом, собраны весь покой, все молчание нашего мира? Не там ли среди покоя и тишины находится мое счастье, мое более счастливое «я», мое второе, упокоенное «я», – еще не мертвое, но уже и не живое, – в виде какого-то среднего бытия, одухотворенного, спокойного, созерцающего, скользящего, парящего, уподобляясь кораблю, который со своими белыми парусами пролетает над темным морем, как громадная бабочка. Да! Пролетать над бытием! – Кажется, шум здесь обратил меня в мечтателя? Вся эта великая суматоха заставляет нас искать своего счастья в покое и уединении. И вот, когда человек стоит среди *своего* шума, он видит вдруг, что мимо него скользят спокойные, волшебные существа, счастья и одиночества которых ему так хочется для себя, – и существа эти – никто иные, как женщины. И думает он: там, у женщин, находится мое лучшее «я»: в этой тихой гавани шум самого страшного прибоя превращается в мертвенную тишину, а жизнь сама – в мечты о жизни. Но увы, мой благородный мечтатель, и на самом прекрасном парусном судне так много *шума* и суетни и суетни такой мелочной, ничтожной! Могущество и чары женщин заключаются, говоря языком философов, в действии на расстоянии, *actio in distans:* и прежде всего необходимо *расстояние!*

В честь дружбы. – Из одного рассказа об известном македонском царе мы видим, что древние считали дружбу высшим чувством, ценили ее даже больше, чем прославленную гордость самодовольных и мудрых людей, и ставили ее в один ряд с еще более святым для них чувством кровного родства. Царь подарил одному из афинских философов, пользовавшихся всеобщим уважением, талант, но тот возвратил ему подарок обратно. Тогда царь сказал: «как, у него нет друзей?», выражая этими словами такую мысль: «я уважаю гордость этого мудрого и независимого человека, но я еще больше уважал бы его человечность, если бы чувство дружбы одержало в нем победу над его гордостью. В моих глазах убывает значение каждого философа,

который показывает, что ему незнакомо ни одно из высших чувств, – и тем более чувство самое возвышенное!»

Любовь. – Любовь прощает возлюбленному даже вожделение.

Женщина в музыке. – Почему теплые и дождливые ветры приносят всегда с собой музыкальное настроение и чрезвычайную изобретательность в области мелодий? Быть может, это те самые ветры, которые навевают на женщин влюбленные мысли.

Скептик. – Я боюсь, что пожилые женщины в самых отдаленных тайниках своего сердца хранят гораздо больше скептицизма, чем все мужчины: они верят, что все в нашем существовании поверхностно, и все глубокие добродетели являются для них только оболочкой, под которой скрывается именно эта «истина», – оболочкой, правда, чрезвычайно ценной, ибо ею прикрывается известного рода *pudendum,* и таким образом весь вопрос заключается в приличии.

Самопожертвование. – Встречаются благородные женщины, проявляющие известное убожество духа. Высшую форму своего самопожертвования они видят в отказе от своей добродетели, от своего стыда: это высший их дар. И подарок такой часто принимают, не догадываясь даже о том значении, которое вкладывает в него дарящая, – грустная история!

Сила слабых. – Все женщины умеют очень искусно преувеличивать свою слабость и проявляют чрезвычайную изобретательность в этом отношении. Они стремятся выказать себя хрупкими украшениями, повредить которым может всякая пылинка: самый факт их существования должен внушать мужчине мысль о его собственной неуклюжести и шевелить его совесть. Так защищаются они против силы и против всякого «кулачного права».

Лицемерить перед самим собой. – Она любит его, и с тех пор, как носит в себе это чувство, смотрит вперед с таким же спокойным упованием, как корова: но увы! Ведь все очарование ее и заключалось в ее чрезмерной изменчивости, в неуловимости! Он сам по себе обладает слишком большой устойчивостью! Не лучше ли будет для нее, если она будет лицемерить и поддерживать уверенность, что характер ее ни в чем не изменился. Притворяться свободной от всякого чувства любви? Не советовать любить? *Vivat comoedial.*

Воля и готовность исполнять чужую волю. – Однажды привели к мудрецу юношу и сказали: «вот его развратили женщины». Но мудрец покачал головой и засмеялся: «Мужчины, – воскликнул он, – вот кто портит женщин, и все недостатки женщин должны быть исправлены на мужчинах, ибо мужчина намечает типичные черты женщины, и она руководится этими указаниями». – «Ты слишком мягкосердечен по отношению к женщинам, – заметил кто-то из толпы, окружавшей его, – ты не знаешь их»! Мудрец ответил: «Воля – искусство мужчины, готовность исполнять чужую волю – искусство женщины; в этом и заключается закон для того и другого пола; правда, суровый закон для женщин! Все люди неповинны в своем существовании, женщина же дважды неповинна в этом: кто мог бы быть к ним достаточно снисходительным?» – «Зачем снисходительность, – воскликнул другой из толпы, – надо только женщин воспитывать лучше»! – «Надо мужчин воспитывать лучше», сказал мудрец и поманил за собою юношу. – Но юноша за ним не последовал.

Способность к мести. – Мы не чувствуем презрения к тому, кто не может, а потому и не хочет себя защищать, но зато мы невысоко ценим всякого, кто не имеет ни возможности, ни желания мстить, – все равно – будет ли то мужчина, или женщина. Могла ли бы привязать нас к себе женщина, относительно которой мы не были бы уверены, что при известных обстоятельствах она сумеет искусно направить против нас кинжал (или что-нибудь в этом роде), или поступить так же жестоко сама с собой, а ведь в некоторых случаях такая месть будет еще более чувствительной. (Китайская месть.)

Повелительницы повелителей. – Могучий древний голос, который и теперь иногда раздается на сцене, внезапно отдергивает перед нами занавес, за которым скрываются различного рода возможности; и мы верим тогда, что где-то на свете могут существовать женщины с высокой, мужественной, царственной душой, способные и готовые к грандиозным возражениям,

решениям и самопожертвованию, способные и готовые к господству над мужчинами, ибо в них олицетворяется тот лучший идеал, который мужчины были способны составить себе о женщинах. Однако эти речи, по мысли театра, не должны были непосредственно внушать нам таких представлений о женщине: назначение их дать нам тип идеального любовника-мужчины, напр., Ромео; но, судя по своему опыту, я могу сказать, что и театр, и музыка, ожидая от этих звуков подобного действия, безусловно, всегда ошибаются в своих расчетах. Как-то не верится в этих любовников: слишком много здесь материнского и хозяйственного, именно как раз в такие моменты, когда в этих звуках слышится любовь.

О женском целомудрии. – Изумительным и даже чудовищным является воспитание женщин, принадлежащих к благородным семьям, и едва ли мы можем встретить что-нибудь еще более парадоксальное. Женщину здесь стремятся воспитывать так, чтобы она отличалась полным неведением *in eroticis,* приучают ее глубоко стыдиться этих явлений и избегать всякого намека на них. Ведь вся «честь» женщины ставится тут на карту: есть из-за чего ее исковеркать! Но, даже в самых тайниках своего сердца она должна оставаться неведающей в этом отношении, ей не следует ни видеть, ни слышать, ни говорить, ни думать об этом «зле»: да, знание здесь уже является злом. И что же! С какою ужасной быстротой врывается это знание в действительность при вступлении в брак – и приносит его тот, к кому она питает высшую любовь, высшее уважение: любовь и стыд переплетаются в противоречии друг другу; восхищение, долг, сострадание и страх перед этой неожиданной близостью божества и животного и т. д., и т. д.! и все это необходимо пережить сразу! – И тогда-то в душе женщины завязывается такой узел, которому нет равного! Даже сострадательного любопытства, мудрейшего знатока человеческого сердца, недостаточно, чтобы решить, как сумеет та или другая женщина разобраться в этом решении загадки и в этой загадке решения, и какое ужасное, далеко захватывающее презрение должно царить в бедной душе, выпавшей из своих пазов; вот тут-то и надо искать корень всей женской философии и скептицизма! – Затем самое глубокое молчание и на будущее время: и часто приходится молчать перед самой собой, закрывать глаза на саму себя. – Вот почему молодые женщины стараются показать, что мысли их скользят по поверхности, что они живут, не задумываясь; и самые чистые из них прикидываются в этом отношении до бесстыдства. – Женщины легко смотрят на своих мужей, как на вопросительные знаки своей чести, а на детей, как на апологию и кару, – им нужны дети, и они желают себе их, но желают совершенно иначе, чем мужчина. – Одним словом, никакая снисходительность не будет достаточно большой по отношению к женщинам!

Матери. – Животные думают о женском поле иначе, чем люди; он имеет для них значение, как собрание производительниц. У них не существует отцовской любви, но что-то вроде любви к детям своей любовницы и привычка к ним. Самки же в детях находят удовлетворение своего властолюбия и чувства собственности; дети дают им возможность занять их время, представляют нечто понятное, с чем можно пустословить: все это вместе и составляет материнскую любовь, которую можно сравнить с любовью художника к своему произведению. Беременность сделала женщин более кроткими, более терпеливыми, более боязливыми и заставила их охотнее искать подчинения; подобным же образом и духовная беременность порождает созерцательные характеры, столь родственные женскому характеру; – так проявляется материнское чувство у мужчин. У животных мужской пол оказывается вместе с тем и лучшим полом.

Жестокость святого. – К одному святому пришел человек с новорожденным младенцем на руках и спросил: «Что делать мне с ребенком: он такой жалкий, так плохо сложен и даже не обладает на столько жизнью, чтобы умереть». «Убей его, – воскликнул святой страшным голосом, – убей его и продержи три дня и три ночи у себя на руках для того, чтобы навсегда запомнить о нем, – и тогда ты не произведешь на свет ни одного ребенка, если для этого еще не наступило времени». – И, услышав это, ушел человек от святого разочарованный; и многие порицали святого, зачем он дал такой жестокий совет – убить ребенка. «А разве не было бы еще более жестоким оставить его в живых?» – спросил святой.

Неудачницы. – Неудача преследует тех бедных женщин, которые, в присутствии любимого человека, становятся неуверенными и неспокойными и начинают слишком много говорить: на мужчин легче всего действовать при помощи скрытой и флегматичной нежности.

Третий род. – «Мужчина небольшего роста, хотя и парадоксален, но все-таки мужчина, – маленькая же женщина, когда я ее сравниваю с высокой женщиной, кажется мне существом другого рода», – говорил старый танцмейстер. «Низкорослая женщина не может быть прекрасной» – говорил старый Аристотель.

Величайшая опасность. – Если бы большинство людей не гордилось постоянно дисциплиной своей головы – своей «разумностью» – и не считало ее своей обязанностью, своей добродетелью, которые в роли друзей «здравого человеческого смысла» оскорбляются и смущаются всякой фантазией и всяким распутством мысли, то человечество уже давно бы пошло ко дну! Больше всего люди всегда боялись, да и теперь боятся, проявить в чем-нибудь признаки умопомешательства, – которое, по их мнению, сказывается в том, что человек дает волю своему слуху и зрению, находит удовольствие в распутстве мысли, испытывает радость по поводу всего, что противно здравому смыслу. Однако не ради истины и не под влиянием угрызений совести они отвергают мир такого безумца, но ради той веры, которая считается для всех обязательной, короче говоря, для того, чтобы не дать своей мысли полной свободы действия. И люди до сих пор работали главным образом над тем, чтобы согласовать друг с другом множество вещей и установить закон *такого сходства,* все равно, являются ли эти вещи истинными или ложными. В этом-то и состоит дисциплина головы, сохраняющая человечество от гибели; но враждебные ей стремления становятся настолько могущественными, что о будущности человечества приходится говорить с большим недоверием. Образы вещей постоянно находятся в движении и изменяются в настоящее время быстрее, чем раньше; мало-помалу против обязательств, налагаемых на человечество, начинают ерошиться люди избранного духа и, прежде всего, исследователи истины! Мало-помалу та вера, о которой мы только что упомянули, становится чем-то пошлым, затасканным, возбуждает у людей, обладающих более тонкой духовной организацией, отвращение к себе и создает у них новые страстные желания. И тогда тот медленный темп, который был усвоен для всех духовных процессов, то подражание движениям черепахи, которые были признаны здесь нормальными, заставляет дезертировать художников и поэтов – всех людей, обладающих нетерпеливым духом, у которых так ясно выступает страсть к безумию, ибо безумие ведь отличается таким веселым темпом! И только добродетельный интеллект, – говоря прямо, *добродетельное тупоумие,* непоколебимое умение отбивать такт медленно живущего духа не разъединяет последователей великой общей веры и заставляет их продолжать свой танец, и это свойство считается чрезвычайно важным. *Мы же, – все остальные, являемся исключением, представляем опасность* и должны находиться в состоянии вечной обороны! – Впрочем, позволяется кое-что сказать и в пользу исключения, *если предварительно допустить, что оно никогда не будет правилом.*

Животное, обладающее доброй совестью. – «Я невольно как-то обращаю внимание на все вульгарные вкусы, которые проявляются в Южной Европе – будет ли то итальянская опера (Россини или Беллини), или испанский роман с похождениями (доступный нам по преимуществу во французском переводе Жиль Блаза), но вульгарность эта меня так же мало задевает, как та вульгарность, которую можно встретить среди раскопок Помпеи или даже при чтении античной книги. Отчего? Дает ли себя чувствовать здесь бесстыдство и умение всякого вульгарного явления выступать с такой уверенностью, с таким сознанием собственного достоинства, как будто бы это было что-то благородное, миловидное, страстное? Животное ведь тоже обладает своими правами: ему предоставлено свободно бежать в любую сторону, и ты, мой любезный собрат, все еще не лучше животного!» – вот мораль и особенность гуманитарных идей южных народов. Дурной вкус имеет такие же права, как и хороший, и представляет перед ним даже преимущество, когда в нем чувствуется великая потребность, когда он доставляет полное удовлетворение, выражается в общераспространенных терминах, носит безусловно всем понятную маску и прибегает к столь же понятным жестам. Хороший, избранный вкус, напротив, вечно ищет чего-то, его постоянно только пробуют, относительно него

никогда нельзя быть уверенным, что его достаточно поймут, – он никогда не бывает и никогда не был национальным! Национальной бывает и остается только маска и всё, что скрывается под маской, в мелодиях и кадансах, в скачках и резвости ритма этих опер! Ведь это античная жизнь! Как может в ней понять что-нибудь тот, кто сам не испытывает страстного желания надеть на себя маску, не понимает той доброй совести, которой обладает все, что скрывается за маской! Именно так отдыхал и нежился античный дух, и, быть может, такой отдых в древности для натур возвышенных и редких был даже более необходим, чем для людей обыкновенных. – Напротив, мне всегда бывает больно, когда прокидывается что-нибудь вульгарное в произведениях северных народов, напр., в немецкой музыке. Становится стыдно, когда видишь, что художественная натура сознательно спускается вниз, и краска стыда невольно выступает у вас на лице. Мы догадываемся, что художник считает нужным опуститься со своей высоты ради нас, и это обстоятельство задевает нас.

За что мы должны быть благодарны. – Только артисты и писатели, работающие для сцены и на сцене, дали людям глаза и уши для того, чтобы каждый имел возможность увидеть, что он собой представляет, что он переживает, чего он хочет; только они дают нам возможность оценить того героя, который скрыт в каждом из этих повседневных людей, и учат искусству рассматривать самих себя издали героями в упрощенном и проясненном виде, – искусству «выставлять самих себя на сцену». Мы вынуждены бываем при этом отбрасывать кое-какие мелкие детали, касающиеся нас. Без этого нам пришлось бы жить вне перспективы, все время оставаться в области тех оптических явлений, которые заставляют нас ближайшим и обыкновенным предметам приписывать необычайные размеры и считать их самою действительностью.

Прелесть несовершенства. – Я вижу здесь поэта, который, как и многие другие люди, привлекает к себе своими несовершенствами больше, чем теми творениями, которые выходят из его рук в законченном и завершенном виде; успехом своим и славой он гораздо больше обязан своим недостаткам, чем своим талантам. Произведение его никогда не выражает всего того, что он хотел бы им выразить, что *он хотел бы увидеть* в нем, и, кажется, что он только предвкушает видение, но сам никогда его не видит. В душе его остается неслыханная жадность к этому видению, и от нее-то заимствует он свое, столь же неслыханное, красноречие, в защиту своего нетерпеливого желания, своей алчности. При помощи такого красноречия он поднимает своих слушателей над своим произведением и над всеми другими «произведениями» и дает ему крылья, при помощи которых они могут достичь таких высот, до которых никогда раньше не поднимались; они становятся поэтами и ясновидящими и испытывают чувство удивления к виновнику своего счастья, как будто бы он дал им возможность непосредственно созерцать тайники своей души, как будто он достиг своей цели и действительно видел и сообщил свое видение. Так, к счастью для своей славы, он никогда не достигает намеченных для себя целей.

Искусство и природа. – Греки (по крайней мере, афиняне) охотно слушали всякую красивую речь; пристрастие это у них было настолько сильным, что его можно считать характерным признаком, которым греческий мир отличался от всего негреческого. Таким образом и от сцены они требовали, чтобы страсть говорила красивым языком, и неестественность драматического стиха приводила их в восторг, хотя в природе страсть бывает такой молчаливой, такой немой, такой смущенной, а если и находит слова, то какие запутанные, неразумные! она сама их стыдится! Теперь мы все, благодаря грекам, привыкли к этой неестественности сцены, даже больше – мы, благодаря итальянцам, переносим теперь, и переносим охотно, другую неестественность сцены, – *поющую* страсть. – Слышать, как человек прекрасно и обстоятельно говорит в самых затруднительных положениях, стало нашей потребностью, удовлетворить которую действительность не может. Мы восхищаемся, что герой какой-нибудь трагедии находит у себя слова, мысли, красноречивые жесты и вообще сохраняет светлое состояние духа в такие моменты, когда жизни грозят страшные опасности, когда человек в действительности теряет не только способность к красивым оборотам, но и самую голову. И подобные уклонения от

природы доставляют, пожалуй, особенно много наслаждений для гордости человека; они-то заставляют его любить искусство, как выразителя героической, возвышенной неестественности. С полным правом поэтому кидают драматическому писателю упрек, когда он не все обращает в разум и слово, но постоянно удерживает у себя *молчаливый* остаток; подобным же образом высказывают неудовольствие по отношению к той музыке, которая для высшего аффекта не подберет мелодии, а даст страстный и естественный лепет и восклицания. Здесь *мы должны* стать в противоречие с природой! Здесь обычная прелесть иллюзии *должна* отступить перед более высокой привлекательностью! Греки уходят по этому пути далеко-далеко, – страшно далеко! Подобно тому, как сцену они обставляют лишь самыми необходимыми предметами и запрещают всякие действия в глубине ее; подобно тому, как они делают невозможными игру лица и легкие движения для актера и обращают его в торжественное, неподвижное, замаскированное пугало, так и у самой страсти они отняли ее основной фон и предписали ей закон красивой речи и вообще все сделали, чтобы помешать даже элементарному действию образов, возбуждающих страх или сострадание: *они не хотели знать ни страха, ни сострадания.* – Правда, к Аристотелю относятся с большим уважением, но он все-таки сильно промахнулся, когда говорил о последней цели греческой трагедии! Если вглядеться, к чему больше всего прилагали творцы греческой трагедии свое прилежание, свою изобретательность и свое соревнование, то мы увидим, что у них не было ни малейшего намерения покорить зрителя путем аффектов! Афинянин шел в театр *для того, чтобы услышать прекрасную речь,* и Софоклу только и приходилось заботиться о красотах своего языка, – да простит читатель мне эту ересь! – Совершенно иначе обстоит дело *с серьезной оперой:* каждый маэстро стремится к тому, чтобы его действующие лица остались непонятыми. Случайно подхваченное слово может прийти на помощь невнимательному слушателю: в общем же положение должно выясняться само собой – *на речь не* возлагается никаких задач! – так думали они все, а потому они и шутят над словами. Быть может, им не хватило только мужества, чтобы выразить к слову свое полнейшее пренебрежение: дайте немного еще свободы для Россини, и он запел бы: la – la – la – la – и имел бы на это разумные основания! Не «на слово», а на тон действующих лиц приходится полагаться в опере! В том и разница заключается, что в оперу ходят ради прекрасной *неестественности!* Даже в *recitativo secco* собственно не слушают слов и текста: этот род полумузыки должен особенно успокоительно действовать на музыкальное ухо (покой, доставляемый *мелодией,* как высшим, а потому и самым напряженным наслаждением в области этого искусства), но весьма легко получается нечто иное: мы начинаем ощущать в себе все возрастающее нетерпение, все усиливающееся недовольство, новый страстный порыв к *полной* музыке, к мелодии. – Каковым же является с этой точки зрения искусство Рихарда Вагнера? Быть может, про него придется сказать то же самое, или что-нибудь иное? Часто казалось мне, что каждый, кто идет в театр на его оперу, должен наизусть выучить и слова и музыку его произведений: иначе, думалось мне, не услышишь ни слов, ни музыки.

Греческий вкус. – «Ну, что тут хорошего? – спрашивал землемер, выходя из театра, где только что была дана “Ифигения”, – ведь в произведении этом ровно ничего не доказано!» Были ли подобные взгляды совершенно чужды грекам? У Софокла, по крайней мере, «все доказывается».

Негреческий esprit. – Греки всегда оказывались неописуемо логичными и ровными: по крайней мере, за весь продолжительный период их доброго времени, они никогда не чувствовали отвращения к этим особенностям своего ума, как это часто случается с французами, которые охотно делают небольшие скачки в противоположную сторону и собственно терпят дух логики только потому, что он обнаруживает подобными скачками свою учтивость, свое отречение ради того, чтобы остаться учтивым в обращении. Логика им кажется таким же необходимым элементом, как хлеб и вода, но если им приходится только одною ею питаться, то они относятся к ней, как к пище, на которую обречен заключенный. В хорошем обществе никто не

должен безусловно отстаивать правоту своих взглядов, как этого требует всякая чистая логика, и небольшая доля неразумного кроется во всяком французском *esprit.* – Чувство общительности было развито у греков гораздо меньше, чем у французов настоящего или прошлого времени: вот почему так мало было *esprit* даже у богато одаренных духовными качествами людей Греции, вот почему было так мало остроумия у людей, пользовавшихся среди них славой остроумных, вот почему… да ну! Все равно мне не поверят, а сколько еще таких положений лежит у меня на душе? – *Est res magna tacere,* говорит Марциал вместе со всеми болтунами.

Переводы. – Степень исторического чутья, которым обладает данное время, можно оценить по тем переводам, которые оно дает, и по тому стремлению, которое оно проявляет в усвоении жизни прошлых веков и старинных произведений. Французы времени Карлейля и революции так властно распоряжались римскими древностями, как мы себе никогда не позволили бы, благодаря тому, что обладаем более развитым историческим чутьем. А сами-то римские древности: как грубо и вместе с тем наивно накладывали они свою руку на все хорошее и высокое, что встречалось в еще более старинных греческих произведениях! Как умышленно и беззаботно сбивали всю пыль с крыльев бабочки в один момент! Так переводил Гораций отрывки из Алкея или Архилоха, а Проперц-Каллимаха и Филета (поэтов, которых, насколько мы можем судить, следует поставить в один ряд с Феокритом): они не обращали ни малейшего внимания на то, что творцы этих произведений пережили те или другие чувства и следы волновавших их мыслей оставили на своих произведениях! – Как поэты, они не выказывали ни малейшего расположения окунуться в ту обстановку антикварского сыска, который обыкновенно предшествует историческому чутью; как поэты, они не придавали никакого значения всем этим личным предметам и именам и всему, что было связано с каким-нибудь городом, с каким-нибудь берегом, с каким-нибудь столетием и служило одеждой и маской того или другого факта, вмиг заменяя предлагаемую обстановку обстановкой римской. Они как бы обращаются к нам с вопросом: «не должны ли мы подновить для себя все древнее и отыскивать в нем только родственные для себя черты? Не обязаны ли мы вдохнуть свою душу в это мертвое тело? Ведь оно уже мертво, а как отвратительно все мертвое!» – Они не знали того удовольствия, которое может дать историческое чутье; им было неприятно все прошлое и все чужеземное, и, как римлян, их тянуло к приемам римского завоевания. И действительно, в переводах они являлись подобными завоевателями, – они не только отбрасывали все историческое: они старались намекнуть, что данное произведение является современным, – прежде всего вычеркивали в нем самое имя поэта, а подписывали его своим собственным именем, – и делали все это не из страсти к грабежу, а во имя идеи *imperium Romanum.*

О происхождении поэзии. – Горячие сторонники всего фантастичного в жизни человечества, являющиеся в то же время защитниками инстинктивной морали, делают следующее заключение: «если пользу считали всегда высшим божеством, то чем объясняется появление поэзии? – эта рифмованная речь, которая скорее мешает, чем способствует ясности изложения, проявила, да и теперь еще проявляет быстрый рост повсюду на земле, как бы издеваясь над всякой целесообразностью, преследующей какие-либо полезные цели! Дикая прелесть поэзии, которая не представляет никаких разумных оснований для своего существования, опровергает вас, господа утилитаристы! Возвышало человека, влекло его к морали и искусству то, что всегда уклонялось от каких бы то ни было утилитарных целей»! Но я должен здесь заступиться за утилитаризм, – он так редко бывает прав, что при случае необходимо и его пожалеть! В то древнее время, когда поэзия достаточно созрела для того, чтобы выступить на сцену жизни, она явно преследовала утилитарные цели высокой важности, хотя они и были порождены суеверием. В самом деле, вводя в речь рифму, ее подчиняли такой силе, которая преобразовывает все атомы фразы, заставляет делать выбор между словами, окрашивает мысль в новый цвет и делает ее чем-то более мрачным, более чуждым, более далеким. Заметив тот факт, что стих запоминается лучше бессвязной речи, люди решили, что просьба в виде рифмованной речи

должна и на богов производить более глубокое впечатление; да притом же рифмованное движение речи, полагали, может быть услышано с большего расстояния и стихи скорее достигнут слуха богов. Но прежде всего люди хотели извлечь пользу из того элементарного чувства принуждения, которое человек испытывает на себе, когда слушает музыку: ритм является средством принуждения, он возбуждает непреодолимое стремление делать уступки, соглашаться; не только наш шаг повинуется ритму, но и сама душа, – вероятно, подобное же воздействие хотели оказать и на душу богов! Таким образом, при помощи ритма богов хотели принудить к чему-нибудь, сделать над ними известное насилие: поэзия играла по отношению к ним роль магического аркана. Существовало еще одно удивительное представление: и оно, быть может, особенно сильно содействовало возникновению поэзии. У пифагорейцев взгляд этот входил в их философскую систему и являлся известным приемом, который они применяли к делу воспитания, но, еще задолго до пифагорейцев, музыке – именно ритмичности ее – приписывали способность разряжать напряженные аффекты, очищать душу, успокаивать *ferocia animi.* Если потеряны равновесие и гармония души, то следовало танцевать в такт певцу, – такой был рецепт их врачебный науки. При помощи его Терпандер утишил восстание, Эмпедокл успокоил бешеного, Дамон очистил юношу, иссыхавшего от любви; при помощи его излечивали и богов, которые не знали пределов своей ярости, когда действовали под влиянием мести. Опьянение и живость аффектов достигали при этом высшего своего напряжения и бешенствующий обращался в безумного, а ищущий мести упивался этой местью: – все оргиастические культы стремятся сразу разрядить *ferocia* божества и обратить их в оргию, благодаря чему чувство становится непринужденнее и спокойнее, и божество оставляет человека в покое. *Melos,* судя по корню, от которого оно происходит, обозначает болеутоляющее средство, не потому, чтобы оно само было мягким, но лишь потому, что оно оказывает смягчающее действие. – И не только в культовых песнопениях, но и в светских песнях древнейшего периода имелась в виду магическая сила ритмичности. Так, напр., стихи, которые пелись работниками, черпавшими воду, или гребцами – предназначались для того, чтобы заколдовать тех демонов, содействие которых предполагалось в этих работах. Таким путем думали заслужить их снисходительность, отнять у них свободу и превратить в орудие человека. И как только человек приступал к какому-нибудь делу, он уже тем самым создавал для себя повод затянуть песню, ибо успех любого предприятия зависел от помощи духов: песни, которые распевались при ворожбе и заговорах, являются, по-видимому, прообразами поэзии. Если стихом пользовался и оракул, – греки говорили, что гекзаметр был изобретен в Дельфах, – то и здесь ритм должен был оказывать известное принудительное воздействие. Пророчествовать – значило первоначально что-нибудь предопределить (как можно судить об этом с большою вероятностью по корню, от которого происходит греческое слово): полагали, что на будущей можно оказать известное давление, если расположить в свою пользу Аполлона: ведь он, по древнейшему представлению, обладал не одной только способностью предвидеть грядущее. По мере того, как формула произносилась в своих буквальных и ритмических выражениях, она связывала известным образом будущее, ибо формула является изобретением Аполлона, который, в качестве бога рифм, может наложить известные обязательства на богиню судьбы. – Вообще же можно спросить: разве в распоряжении у древнего суеверного человека шло какое-нибудь еще более полезное искусство, чем искусство рифмованной речи? При помощи рифм можно было достичь всего: двинуть вперед магическими силами работу, вызвать божество, приблизить его к себе, сделать его себе послушным; направить будущее сообразно своему желанию; освободить свою собственную душу от какого-нибудь чрезмерного гнета (тоски, мании, сострадания, мстительности) и не только свою душу, но также и дух самого злобного демона: – без стиха человек был ничтожеством, при помощи же стиха он становится почти самим богом. И чувство это далеко еще не вполне и теперь искоренено, – и в настоящее время, после целых столетий упорной борьбы с подобным суеверием, мудрейшие из нас случайно чувствуют в себе неразумное пристрастие

к рифме, как будто истина, подхваченная мыслью, будет ощущаться сильнее, когда она будет выражена в метрической форме. Разве не потешно видеть, что самые серьезные из философов, поскольку они делают это искренне, обращаются к изречениям поэтов для того, чтобы придать своим мыслям силу и достоверность? – таким образом для каждой истины гораздо опаснее согласие со стороны поэта, чем противоречие! Ибо еще Гомер говорил: «Ведь много лжи в словах певцов!»

Хорошее и прекрасное. – Натуры художественные беспрерывно прославляют – они только этим и занимаются – все те состояния и предметы, которые находятся в покое, ибо только при них или в них человек может себя чувствовать добрым, великим, опьяненным, веселым, мудрым. Все подобным образом выделенные предметы и состояния, которые считаются для человеческого счастья важными и прочными, являются объектами вдохновения для натур художественных: они считают для себя особенно почетным открывать такие предметы и состояния и водворять их в область искусства. Я хочу сказать: сами художники и артисты не являются таксаторами счастья и счастливых, они только изо всех сил жмутся к этим таксаторам и стараются немедленно же воспользоваться их оценкой. Благодаря тому, что все художественные натуры, кроме своего крайнего нетерпения, обладают здоровыми глотками герольдов и крепкими ногами скороходов, им удается постоянно оставаться в первых рядах среди тех, которые прославляют *новые* блага и которым часто приписывается способность первыми называть новые блага и первыми же их таксировать. Но совершенно неправильно отводят первое место этим художественным натурам: они только обладают большей ловкостью и более громким голосом, чем действительные таксаторы. Но кто же эти действительные таксаторы? Это богачи и люди праздные.

О театре. – Сегодня я снова пережил сильное и высокое чувство и, если бы сегодня вечером мне предстояло слушать музыку или наслаждаться каким-нибудь искусством, то я прекрасно знал бы, какой музыки и какого искусства я не был бы в состоянии перенести. Мне не надо именно ни той музыки, ни того искусства, которые опьяняют своих слушателей и возбуждают на миг сильное и высокое чувство в груди тех заурядных людей, которые вечером напоминают нам не торжествующих победителей, а усталых мулов, так часто получавших от жизни удары бича. Ну что такие люди могли бы понять вообще в «высших настроениях», если бы не существовало опьяняющих средств и идеальных ударов хлыста?! – И вот у них имеются свои вдохновители так же, как имеется свое вино. Но что *мне*-то собственно за дело до их напитков, до их опьянения?! Зачем человеку воодушевленному опьянять себя еще вином?! С каким отвращением он смотрит на все те средства, которые должны вызывать действия, не имеющие достаточных оснований – обезьянничанье в области высоких душевных движений! – Как? Кроту дарят крылья и высокую мечту как раз в такой момент, когда он хочет залезть в свою нору на сон грядущий? Его отправляют в театр, и на подслеповатые и утомленные глаза его надевают очки с увеличительными стеклами? Люди, вся жизнь которых представляет «гешефт», а не деяние, созерцают чуждых им существ, у которых жизнь не была только одним гешефтом? «Ведь так и должно быть, – говорите вы, – ведь если они будут интересоваться такими пьесами, то образование их будет двигаться вперед». – Да! мне должно быть очень часто недостает образования: по крайней мере, подобный взгляд возбуждает у меня довольно часто отвращение. У кого в собственной жизни было достаточно трагедий и комедий, тот особенно далеко стоит от театра; или же, в виде исключения, он рассматривает и театр, и публику, и автора как нечто целое и видит в нем трагические и комические положения, и тогда разыгрываемая пьеса не имеет для него большого значения. Кто сам является чем-то вроде Фауста или Манфреда, тот мало интересуется Фаустами и Манфредами театра! – *Сильнейшие* мысли и страсти перед теми, кто сам не способен ни к мысли, ни к страсти, – а только к *опьянению!* И такие-то средства употреблять с таким назначением! И театр, и музыка являются для европейцев своего рода гашишем! О, кто мог бы рассказать нам всю историю наркотиков? – Такая

история пошла бы рука об руку с историей нашего «образования», так называемого высшего образования!

О тщеславии артистов и художников. – Мне думается, что натуры художественные очень часто не знают, в чем они лучше всего могли бы себя проявить. Они для этого слишком тщеславны и направляют свое чувство на нечто более гордое, чем те маленькие растеньица, которые представляют известную новизну, так редко встречаются, отличаются красотой и могли бы так прекрасно произрастать на их почве. То, что они еще так недавно считали богатством своих садов и виноградников, теперь ими третируется, и любовь, и прозорливость их оказываются далеко не одного и того же ранга. Вот музыкант, который превосходит всех других своим искусством извлекать звуки из царства страдающих, задавленных и замученных и своим умением вложить речь в уста даже немых животных. Никто не в состоянии сравняться с ним в способности воспроизвести краски поздней осени, в умении передать неописуемо трогательное счастье последнего, самого последнего, кратчайшего наслаждения; ему известны звуки, наполняющие страшную своею таинственностью полночь души, где причина и действие выпадают из своих пазов, и в каждый момент «из ничего» может возникнуть нечто; он самым счастливым образом вызывает из самых низов человеческого счастья свои образы и пьет из того осушенного кубка, где самые отвратительные капли совершенно слились с каплями сладчайшими; он знает движения той усталой души, которая более уже не способна ни к прыжкам, ни к полету, ни даже к простой ходьбе; у него застенчивый взор человека, скрывающего свою боль, понимающего жизнь и безутешного, умирающего в бессознательном состоянии; да, в качестве Орфея каждого тайного горемыки, он выше всякого другого; и ему удается выразить в художественных образах кое-что такое, что до сих пор не подлежало искусству и считалось даже недостойным его, что именно спугивалось словами, а не схватывалось ими, – ввиду того, что эти явления в области духа обладают ничтожными, микроскопическими размерами; да, ему особенно должно удаваться все маленькое. Но он *не хочет* себе такой роли! По своему *характеру он* любит громадные полотна и смелую живопись! Он не обращает внимания на то, что *дух* его обладает другими вкусами и привязанностями и любит ютиться по углам полуразвалившихся домов: – там в укромном местечке он вырисовывает свои собственные образы, которые остаются на самое короткое время, всего только на один день, – только там он проявляет свою доброту, величие и совершенства, а, может быть, и одиночество. – Но он не ведает этого! Он слишком тщеславен для того, чтобы понять это.

Строгое отношение к истине. – Строгое отношение к истине! Как различно понимают люди слова эти! Есть приемы исследования и доказательства, которые мыслитель считает легкомыслием и которых стыдится, если ему подчас приходилось ими пользоваться: те же самые приемы, когда на них наталкивается и овладевает ими натура художественная, дают ей основание думать, что она теперь самым строгим образом служит делу поиска истины, и наводят на мысль, что, несмотря на свои художественные стремления, даже к своему удивлению, она руководствуется самым искренним стремлением ниспровергнуть мир видений. При этом возможно, что, благодаря своей страстной энергии, тому или другому из исследователей удается обнаружить, насколько поверхностный и самодовольный дух царил доныне в области познания. – И разве не является нашим предателем все то, что мы считаем важным? Ведь оно обнаруживает, где лежит наш центр тяжести и в области каких явлений наше значение сводится к нулю.

Теперь и прежде. – Что нам до всего нашего искусства, когда у нас утеряно высшее искусство, искусство торжественное! Раньше все произведения искусства выставлялись на самых видных местах на пути человечества; они напоминали о высоких и блаженных моментах. Теперь же при помощи произведений искусства выманивают с великого пути страстей человеческих только изнуренных и больных людей, чтобы на одно мгновение вызвать у них похотливые стремления, и предлагают им безумие и хмель в незначительных дозах.

Свет и тени. – Записки и книги отличаются различным характером у разных мыслителей: один собрал у себя в книге весь тот свет, который он ловко сумел утаить из лучей блеснувшего перед ним познания; другой же дает только тени, копии в серых и черных красках с тех образов, которые вырисовывались в его душе при дневном освещении.

Предостережение. – Как известно, в рассказах Альфьери о своей жизни, которыми он удивлял своих современников, оказалось много лжи. Он лгал из того деспотизма по отношению к самому себе, который он проявил, напр., когда вырабатывал свою особенную речь и силой заставлял себя быть поэтом. Он нашел, наконец, строгую форму величия, в которую втискивал свою жизнь и свою память, и процесс этот был до чрезвычайности мучительным. – Я не поверил бы также и автобиографии Платона, как не верю подобному произведению Руссо или *vita nuova* Данта.

Проза и поэзия. – Замечено, что великие мастера прозы почти всегда были вместе с тем и поэтами, иногда выпуская в свет свои стихи, иногда же создавая их только тайком, для себя; но хорошая проза писалась несомненно на глазах у поэзии! В самом деле, ведь проза находится в беспрерывной и искусной борьбе с поэзией: вся прелесть хорошей прозы заключается в том, что поэзия постоянно ее обходит и постоянно ей противоречит; всякое отвлеченное понятие является своего рода хитростью против нее и высказывается как бы с насмешкой; всякая суховатость и холодность приводит милую богиню в милое отчаяние; часто она начинает милостиво приближаться, но вдруг отскочит и рассмеется; часто завеса остается приподнятой и яркий свет прорывается оттуда в то самое время, когда богиня наслаждается своими сумерками и мрачными красками; часто с уст ее срывается слово и звучит такой мелодией, что она прикладывает свои тонкие ручки к своим нежным ушкам, и таким образом существуют тысячи военных уловок, которые содействуют поражению прозы и о которых люди, лишенные поэтического чутья, так называемые люди прозы, ничего не знают, – вот таковые-то, говорят, и пишут худой прозой!

Ведь все хорошее порождается борьбою: вот почему из борьбы вырастает и хорошая проза! – В нашем столетии, которое далеко не было приспособлено к хорошей прозе, ввиду недостаточного, как было указано, развития поэзии, на поприще прозаических произведений прославились четыре мужа, которые были в то же время редкими и истинными поэтами. Помимо Гете, которого наш век справедливо называет своим детищем, я считаю достойными названия мастеров прозы только Джиакомо Леопарди, Проспера Мериме, Ральфа Вальдо Емерсона и Вальтера Саваджа Лэндора, автора *Jmapinary Conversations.*

Зачем же ты пишешь? – А: Я не принадлежу к тем людям, которые думают с *мокрыми-ерош* в руке и еще менее к тем, которые предаются своим страстям над открытой чернильницей, сидя на стуле и коченея над бумагой. Я досадую и стыжусь всего написанного мною; хотя писать – для меня потребность, но потребность, сравнительно противная. Б: Но зачем же ты пишешь тогда? А: Говоря по правде, дружище, я до сих пор не нашел еще другого способа *освобождаться* от своих мыслей. Б: Но зачем же ты хочешь от них освободиться? А: Зачем я хочу? Я просто должен. – Б: Довольно! Довольно!

Рост после смерти. – Небольшая, но смелая речь, брошенная Фонтенелем о вопросах морали в его бессмертном разговоре о загробном мире, считалась его современниками каким-то парадоксом и игрою несомненного остроумия; даже высшие судьи вкуса и духа, а, быть может, и сам Фонтенель – глядели на нее только такими глазами. Теперь же происходит что-то невероятное: те же самые мысли становятся истиной! Наука доказывает справедливость их! Игра становится серьезным делом! И мы, читая эти диалоги, испытываем уже не те чувства, которые волновали Вольтера и Гельвеция, когда они их читали; и мы невольно причисляем их автора к другому – высшему классу людей, чем упомянутые философы. Имеем ли мы на это право, или делаем без всякого на то основания?

Шамфор. – Тот факт, что такой знаток людей и толпы, как Шамфор, примкнул к толпе, а не остался одиноким, защищая свою отвергнутую философию, я могу объяснить себе только следующим образом: инстинкт у него оказался сильнее его мудрости и не нашел себе достаточного удовлетворения; инстинкт этот возбуждал в нем ненависть ко всякой породистой знати; быть может, это была старая, хорошо понятная ненависть его матери, освященная у него любовью к ней; – этот инстинкт мести с детских лет ждал часа, когда можно будет отомстить за мать. Но вся жизнь его, весь его гений, а главным образом отцовская кровь, которая текла в его жилах, прельщали его в течение многих, многих лет поставить себя в один ряд с этой самою знатью и сравнить себя с ней! В конце концов, он не выносил своего собственного вида «древнего человека», существовавшего при старом режиме; он страстно окунулся тогда в покаяние и возложил на себя рубище черни, как своеобразную власяницу! Злая совесть его являлась упущением мести. – Если бы Шамфор остался хотя бы одною ступенью выше того положения, которое он занимал как философ, то революция не получила бы своего трагического остроумия и своего острейшего жала: она прошла бы бестолковее и не представляла бы никакого соблазна для людей одухотворенных. Но ненависть и мстительность Шамфора разбудили целое поколение, и сиятельнейшие люди проходили его школу. Обратите внимание на то, что Мирабо видел в Шамфоре свое высшее и более пожившее *Я,* от которого он ждал и принимал и понукание, и предостережение, и приговор. – Мирабо, который, как человек, принадлежал к совершенно иному рангу величин, чем даже самые солидные из государственных деятелей ближайшего к нам времени. – Удивительно, что, несмотря на такого друга и защитника, – сохранились ведь письма Мирабо к Шамфору, – этот остроумнейший из всех моралистов остался чужд французам точно так же, как и Стендаль, который, быть может, из всех французов *нашего* столетия имел самые осмысленные глаза и уши. Но не заключал ли этот последний мыслитель в своем характере слишком много немецких и английских элементов для того, чтобы парижане могли выносить его? – Шамфор же был человеком, у которого в тайниках души хранилось много богатств, – человеком мрачным, страстным, кипучим; он был мыслителем, который сумел сделать смех целебным средством против жизни и который почти погибал в те дни, когда смех покидал его. Он являлся скорее итальянцем, истинным сородичем по крови Данту и Леопарди, чем французом! Известны последние слова Шамфора: «*Ah! mon ami,* – сказал он Сэю, – *Je m'en vais enfi n de ce monde, ощ il faut, que le coeur se brise ou se bronze»*[1]. — С такими словами на устах, конечно, французы никогда не умирали.

Два оратора. – Из двух ораторов один говорит о своей теме с полной убедительностью, когда целиком отдается своей страсти: только она накачивает в его мозг столько крови и жара, сколько нужно для того, чтобы подняться в своем воодушевлении до откровения. Другой также иногда испытывает то же самое и, при помощи страсти, делает свою тему полнозвучной, бурной и восхитительной, но результаты обыкновенно получаются плачевные. Он говорит тогда слишком темно и запутанно, преувеличивает, делает упущения и вызывает недоверие к разумности тех положений, которые защищает; даже больше: он сам ощущает при этом некоторое недоверие и внезапно переходит к самым холодным и отталкивающим звукам, которые заставляют слушателя сомневаться, в самом ли деле пережил оратор так страстно все то, о чем говорит? У него страсть каждый раз затопляет дух, быть может, именно потому, что она проявляется с большею силой, чем у первого. Но силы его достигают высшего своего расцвета, когда он оказывает сопротивление натиску своих чувств и даже осмеивает его: тогда дух его совершенно покидает свои убежища, и дух этот будет логичным, насмешливым, резвым и даже грозным.

О болтливости авторов. – Существует болтливость, порождаемая гневом, – ее мы находим часто у Лютера и Шопенгауэра; – болтливость, вытекающая из большего запаса различных определений, как у Канта: болтливость из страсти прилагать одно и то же положение все к

[1] О, друг мой! я покидаю, наконец, этот мир, который требует, чтобы сердце разбилось или очерствело.

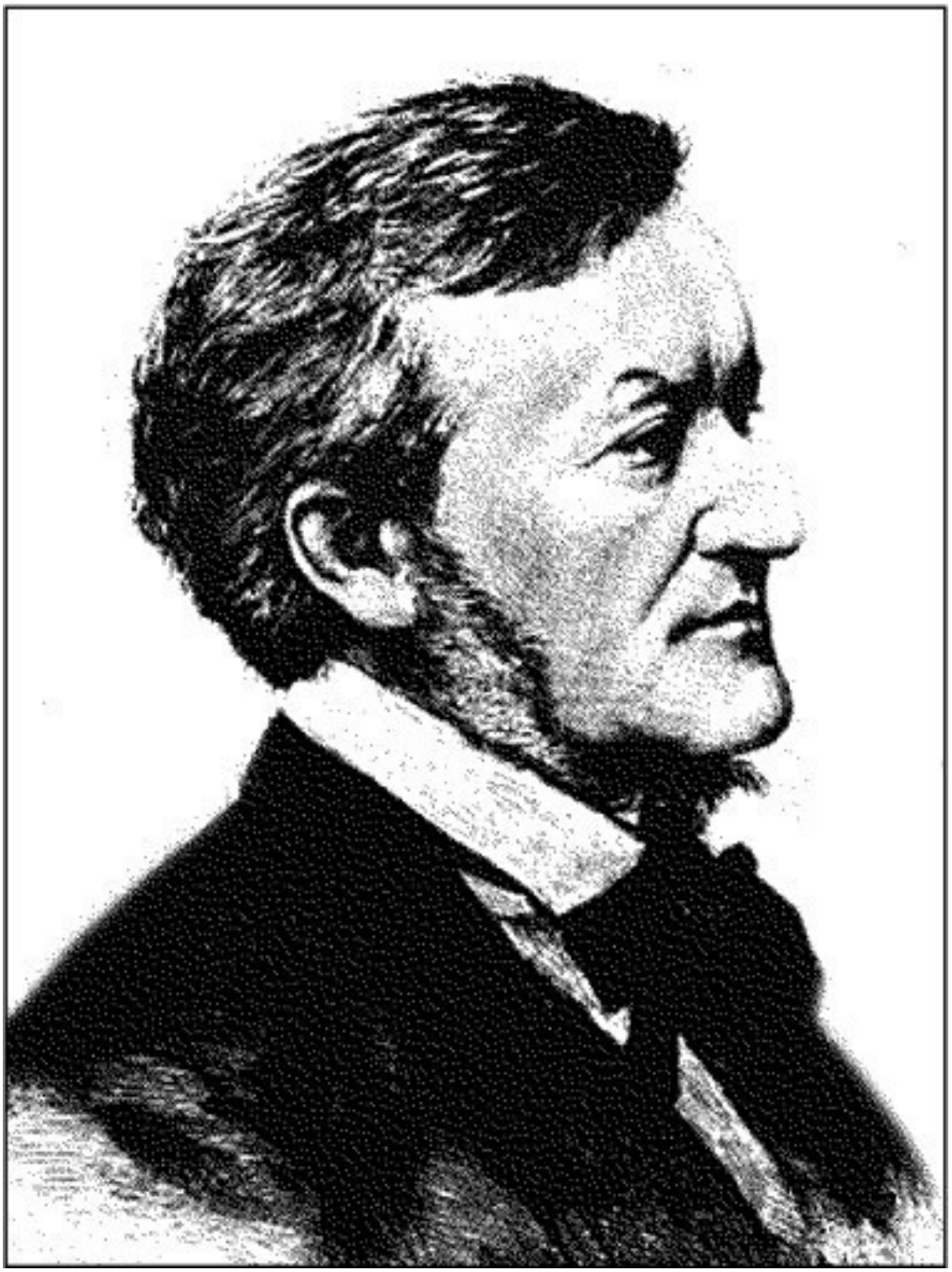
новым и новым предметам: ее можно встретить у Монтеня; – болтливость злобных натур: кто читает произведения наших современников, тот, вероятно, вспомнит о двух авторах; – болтливость из страсти к хорошим словам и изречениям, что нередко попадается в прозе у Гете, и болтливость из чистого пристрастия к шуму и суете чувств, как у Карлейля.

К славе Шекспира. – Самая высшая похвала, которую я могу высказать о Шекспире, как о человеке, должна быть воздана ему за то, что он верил в Брута и не бросил ни пылинки недоверия на его добродетель! Бруту он посвятил лучшую из своих трагедий, – которая до сих пор еще носит чужое имя, – Бруту и грозному содержанию высшей морали. Независимость души – вот что важно в этой трагедии! Нет достаточно великой жертвы, которую не согласился бы он принести ради этой независимости. Ради нее он готов пожертвовать даже любимейшим своим другом, хотя бы тот был самый прекрасный человек, украшение мира, несравненный гений, – раз только свободу он любит, как свободу великой души, и этой-то свободе грозит опасность. Вот что должен был прочувствовать Шекспир! Высота, на которую он ставит Цезаря, должна только тоньше отметить ту честь, которую он оказывает Бруту: таким путем поэт поднимает до неслыханной высоты ту внутреннюю задачу, которую должен был разрешить Брут. И ту духовную силу, которая оказалась в состоянии рассечь *такие узлы!* – Разве политическая свобода возбуждала у нашего поэта сочувствие к Бруту, делала его соучастником Брута? Или же политическая свобода была только символом, которым должно было обозначить нечто невыразимое? Не стоим ли мы тут лицом к лицу с какими-то темными, неведомыми нам процессами, которые протекали в душе поэта и о которых он мог говорить только символически? Что вся меланхолия Гамлета по сравнению с меланхолией Брута? – а ведь возможно, что и ту, и другую Шекспир знал по собственному опыту! Быть может, его так же посещали мрачные часы, и он так же имел злого ангела, как Брут! – В его трагедии мы видим знак того, что ему приходилось переживать нечто подобное: ведь перед фигурой и добродетелью Брута Шекспир падал ниц и чувствовал себя недостойным его и далеким от него. Два раза он выводил в своей трагедии поэта и оба раза осыпал его таким нетерпеливым, таким крайним презрением, что вся его тирада звучит криком, в котором слышно презрение к самому себе. Брут, сам Брут, теряет терпение, когда выступает поэт спесивый, с пафосом, назойливый, какими и бывают обыкновенно все поэты, как существо, которое, по-видимому, изобилует всевозможным величием, а потому и нравственным величием. «Знает ли время он так, как я знаю его капризы – прочь от меня со своими арлекинскими погремушками!» – восклицает Брут. Перенесите же эти слова обратно в душу поэта, который их создал.

Последователи Шопенгауэра. – Часто приходится видеть, как, при соприкосновении культурных народов с варварами, низшие культуры заимствуют сперва от высших их пороки, слабости и распущенность; когда дикари таким образом почувствуют на себе прелести высшей культуры, – они начинают, при помощи усвоенных пороков и слабостей, заимствовать от нее кое-что и ценное. Но подобный процесс можно наблюдать вблизи, не отправляясь в путь к варварским народам, – конечно, в более утонченном, одухотворенном и не столь определенном виде. Что же обыкновенно заимствуют прежде всего последователи Шопенгауэра в Германии у своего учителя, – последователи, которые, если их сравнивать с более высокой культурой нашего мыслителя, являются достаточными варварами для того, чтобы и в деле подражания вести себя настоящими дикарями. Увлекались ли они здоровым чутьем, которое наш мыслитель обнаруживал к фактам, или его прекрасным стремлением ко всему ясному и разумному, – теми свойствами, в которых он являлся так часто англичанином и так мало был немцем? Или силой его интеллектуальной совести, которая в течение всей его жизни поддерживала у него борьбу между бытием и волей и заставляла его в своих произведениях противоречить самому себе на каждом шагу? Или его чистоплотностью в вопросах церкви и христианской религии? Или его бессмертным учением об интеллектуальности непосредственного усмотрения, об априорности закона причинности; о служебной роли интеллекта и об отсут-

ствии свободы у воли? Нет, не эти стороны его философии привлекали к себе и считались очаровательными, а мистическая путаница и увертки Шопенгауэра в тех местах, где мыслитель, опиравшийся на факты, позволял себе увлекаться суетным стремлением разгадать мир; бездоказательное учение *об единой воле* («всякая причина служит только для того, чтобы дать возможность проявить волю в данное время на данном месте»; «желание жить в каждом существе, как бы оно ни было незначительно, находится в таком же полном и нераздельном объеме, как у всех существ, которые жили, живут или будут жить»); отрицание *индивидуальности* («все львы в сущности представляют собою только одного льва»; «множественность индивидуумов – явление кажущееся», таким образом и *развитие* представляет собою только одну видимость: мысль Ламарка он называет «гениальным абсурдом»), сумасбродства гения («при эстетическом созерцании индивидуум уже не является более индивидуумом, а чистым субъектом познания, свободным от всякой воли, страдания и времени»; «субъект, при созерцании какого-нибудь предмета, отождествляется с ним и становится самим этим предметом»), безумные фантазии о *сочувствии* и неразумные с его точки зрения порывы к *principium individuationis,* как к источнику всякой нравственности, прибавляя сюда такие утверждения, как «стремление является собственно целью бытия», «нет оснований отрицать *a priori* возможность магического воздействия со стороны умерших». – Эти и подобные им проявления распутства и пороков философа воспринимались всегда в первую голову и становились предметом веры: ведь подражать всему порочному и распутному всегда чрезвычайно легко и не требует предварительно упражнения. Поговорим же о самом знаменитом из живущих в настоящее время последователей Шопенгауэра, о Рихарде Вагнере. – С ним повторилась та же история, которую пришлось проделать и другим художественным натурам: он ошибся относительно значения созданных им образов и не познал невысказанной философии своего собственного искусства. Рихард Вагнер в первой половине своей жизни позволял сбить себя с толку Гегелю; он проделал то же самое еще раз, когда позднее узрел в своих образах учение Шопенгауэра и стал сам себя определять в терминах «воля», «гений» и «сочувствие». Несмотря на это, останется справедливым следующее положение: ничто не идет так вразрез с духом Шопенгауэра, как собственно вагнеровское у героев Вагнера; я подразумеваю здесь невинность высшего эгоизма, веру в великое страдание, как в самодовлеющее благо. «Здесь пахнет скорее Спинозой, чем мной», – сказал бы, пожалуй, Шопенгауэр. Таким образом Вагнер имел полное основание оглядываться на других философов, а не на Шопенгауэра: очарование, которое производил на него этот мыслитель, заставляло его закрыть глаза не только на всех остальных философов, но и на самую науку; все его искусство стремится стоять на высоте шопенгауэровской философии или быть к ней добавлением, и все яснее и яснее отказывается от более высокого честолюбия – стоять на одном уровне с человеческим познанием и наукой и пополнять их. Привлекает его не только таинственная пышность этой философии, но также отдельные ужимки и аффекты философа! Чисто шопенгауэровскую горячность проявляет, напр., Вагнер по вопросу о порче немецкого языка; и если в данном случае подражание заслуживает одобрения, то нельзя умолчать о том, что стиль Вагнера сам немало страдает теми нарывами и опухолями, вид которых так болезненно действовал на Шопенгауэра, и вагнерианство в лице пишущих вагнерианцев начинает проявлять такую же опасность, какую представляло в былое время гегельянство. У Шопенгауэра заимствовал Вагнер свою ненависть к евреям, к которым он не был в состоянии сохранить справедливость даже в величайшем своем произведении. Под влиянием же Шопенгауэра Вагнер пытался представить христианство в виде разметанных крошек буддизма и утверждать, что католическо-христианские формулы и чувства являются переходной ступенью к буддийскому веку. В чисто шопенгауэровском вкусе ведет Вагнер свою проповедь о милосердии к животным; в этом отношении предшественником Шопенгауэра, как известно, является Вольтер, который, пожалуй, так же хорошо, как и его последователи, умел прятать свою ненависть к известным вещам и людям под видом милосердия к животным. По крайней мере, ненависть,

которая звучит у Вагнера по отношению к науке, вытекает, конечно, не из духа добросердечия и доброты, а *из духа* вообще. – Наконец, для философии художника не важно, если она является только добавочным элементом к чему-нибудь другому, и это нисколько не бросает тени на его искусство.



Необходимо быть настороже против всякой неприязни, которую может возбудить к себе такой случайный, быть может, очень неудачный маскарад; не надо забывать, что все хорошие художники без исключения являются немного актерами и без такой игры им не удалось бы долго выдержать свою роль. Если мы останемся верны Вагнеру в том, что представляет его истинную природу и в чем он является оригинальным, то мы, его ученики, должны остаться верными себе в том, что представляет нашу истинную природу и оригинальность. Оставим его интеллектуальные причуды и корчи, а оценим по справедливости, в какой редкой пище и в каких редких потребностях нуждается искусство, которым он обладал для того, чтобы жить и расти! Не беда, что он, в качестве мыслителя, оказывался часто неправ: справедливость и тер-

пение не были его уделом. Достаточно того, что жизнь его оправдывает себя сама перед собой и сохраняет за собой известное право; она обращается к каждому из нас с таким призывом: «будь мужем, но не следуй по моим стопам, следуй только за своими собственными влечениями! только за своими влечениями!» И мы также должны оправдать свою жизнь! Мы также должны свободно и безбоязненно, в невинном эгоизме расти и цвести из самих себя! И при созерцании такого человека в ушах у меня и теперь, как раньше, звучат следующие положения: «страдание лучше всякого стоицизма и ханжества: оставаться порядочным, даже в этом деле, лучше, чем затеряться среди предписаний ходячей нравственности; свободный человек может быть и хорошим, и дурным, человек несвободный является позором природы и не имеет утешения себе ни на небе, ни на земле; и, наконец, *всякий, кто хочет получить себе свободу, должен добиться ее путем собственных усилий,* ибо никому она не свалится с неба, в виде чудесного подарка» (Richard Wagner in Bayreuth).

Научиться преданности. – И преданности люди должны научиться так же, как и презрению. Всякий, кто идет по новому пути и многих других ведет по нему, с удивлением замечает, как неловки и бедны эти многие в выражении своей благодарности и даже как редко, вообще говоря, они *могут* выразить свою благодарность. Каждый раз, как они хотят выразить ее как-нибудь, у них точно в горле что застрянет, они начинают откашливаться и в процессе этого откашливания снова теряют всякую способность к речи. Тот способ, каким мыслитель приходит к убеждению, что мысль его обладает способностью производить потрясающее и преобразовывающее действие на окружающий мир, является чуть не комедией; ему приходится видеть, как те самые люди, на которых это воздействие отразилось известным образом, чувствовали себя в сущности глубоко задетыми, и независимость их, которой, как они полагали, угрожала какая-то опасность, могла проявиться только в разнообразных грубых формах. Нужны целые поколения для того, чтобы люди научились вежливо выражать свою благодарность: и только позднее наступает время, когда самая благодарность становится до известной степени одухотворенной и гениальной. И тогда тот, кому выпадает на долю получить великую благодарность, получает ее не за то, что он сам сделал что-нибудь хорошее, а в большинстве случаев за те высшие и лучшие сокровища, которые были собраны постепенно его предшественниками.

Несколько слов к филологам. – Филология постоянно стремится укрепить у нас веру в то, что существуют такие ценные, такие царственные книги, для сохранения и разъяснения которых стоит затратить труд даже целых поколений ученых. Филология предполагает, что никогда не будет недостатка в тех удивительных людях (хотя бы в данный момент никого из таковых и не было), которые действительно сумеют использовать эти ценные книги; – конечно, это будут те самые авторы, которые сами сочиняют или могли бы сочинить подобные же произведения. Я хочу сказать, что филология предполагает благородную веру в то, что необходимо исполнить много тяжелой, даже грязной работы ради тех, которых постоянно ждут и которые никогда не являются. Это работа *in usum Delphinorum.*

О немецком музыке. – Немецкая музыка является европейской музыкой уже по одному тому, что на ней одной остался отпечаток тех перемен, которые Европа испытала благодаря революции: только немецкие музыканты сумели стать выразителями взволнованных народных масс и передать ту удивительно художественную сумятицу, которая совершенно не нуждается в слишком громких звуках, – в то время, как, напр., итальянские оперы знают только хоры слуг и солдат, а не «народ». Иногда во всей немецкой музыке слышат глубокую мещанскую зависть к *noblesse,* именно *esprit* и *elegance,* как выразителям светского, рыцарского, древнего, уверенного в себе общества. Это уже не та музыка, которой пользовались гетевские певцы для утехи короля перед воротами его замка или в залах дворцов; к ней нельзя отнести слова поэта: «рыцари бросали вокруг себя мужественные взоры, а красавицы опустили долу свои очи». Не без угрызений совести вступает грация в область немецкой музыки: только в присутствии прелестной деревенской сестры грации, немец начинает чувствовать себя вполне удовлетворен-

ным в нравственном отношении – и от нее поднимается все выше и выше вплоть до мечтательной, ученой, задорной «возвышенности», бетховенской возвышенности. Если бы к *этой* музыке захотели придумать человека, то пришлось бы дать образ Бетховена в том виде, в каком он явился рядом с Гете при их встрече в Теплице: что-то полуварварское рядом с культурным, как народ рядом с дворянством, как добронравный человек рядом с человеком хорошим и даже более, чем хорошим, как мечтатель рядом с художником, как человек, нуждающийся в утешении, рядом с человеком утешенным, как человек преувеличивающий и подозрительный рядом с человеком справедливым, как ипохондрик, мучитель самого себя, безумно восторженный человек, блаженно-несчастный, искренне не знающий никаких пределов – одним словом, как «человек необузданный», так понял и так обрисовал его сам Гете, этот исключительный немец, для которого не нашлось еще соответственной музыки! – Наконец, подумайте, не является ли все возрастающее у немцев презрение к мелодии и извращение мелодического чувства демократической вольностью и не развилось ли оно под влиянием революции? Мелодия ведь так открыто стремится к законности и питает такое отвращение ко всему еще формирующемуся, бесформенному, произвольному, что она является как бы отзвуком того порядка вещей, который царил раньше в Европе, старается прельстить людей этим порядком и снова возвратить их к нему.

О звуках немецкой речи. – Известно, каким образом произошел тот немецкий язык, который за последние два столетия сделался общегерманским письменным языком. Немцы, в своем преклонении перед всем, что исходило от двора, умышленно подражали канцелярскому языку всякий раз, как им приходилось что-нибудь писать: в частных письмах, актах, завещаниях и т. д. Держаться канцелярского, письменного языка, это было все равно, что писать придворным и государственным языком, и считалось до известной степени признаком высокого положения. Мало-помалу и говорить стали так же, как писали, и еще почетнее было держаться известных форм, слов, выбора слов, оборотов речи и, наконец, даже выговора: таким путем подражали придворному выговору, и подражание это стало, наконец, второй природой. Быть может, нигде больше не приходилось замечать ничего подобного: победу письменного языка над устной речью и развитие в известном направлении разговорного языка главным образом под влиянием чопорности и важничания целого народа. Мне кажется, что немецкий язык в Средние века, а именно когда они уже миновали, являлся глубоко мужицким и простонародным говором: облагородился он только за последние столетия, главным образом, благодаря тому, что немцы нашли себя вынужденными подражать в таких широких размерах французским, итальянским и испанским звукам; особенно в этом повинно было немецкое (и австрийское) дворянство, которое не считало возможным довольствоваться только родным языком. Но для слуха Монтеня или Расина немецкий язык, несмотря на все эти усвоения, казался невыносимо простонародным: и даже теперь, когда итальянской черни приходится слышать его из уст путешественника, он кажется ей суровым, лесным, охрипшим, как бы порожденным в курных избах и неприветливой стране. – Теперь, настолько мне пришлось заметить, среди поклонников канцелярщины снова возникает подобное же стремление к облагораживанию звуков, и немцы начинают прибегать к особому «очаровательному» говору, который может со временем представить для немецкой речи действительную опасность, – ибо во всей Европе нельзя найти более отвратительных звуков. В голосе слышится что-то насмешливое, холодное, равнодушное, небрежное: это у немцев указывает на «почетное» положение говорящего, и добровольные порывы к подобному благородству слышатся мне в голосе молодых чиновников, учителей, женщин, купцов; даже маленькие девочки прекрасно подражают здесь этому немецкому офицерству. Ведь офицер, и именно прусский офицер, является изобретателем этого говора. Этот самый офицер, как солдат и муж дела, обладает тем изумительным тактом, которому у них следовало бы поучиться всем немцам (не исключая немецких профессоров и музыкантов). Но как только он заговорит или завяжет с вами какие-нибудь отношения, он становится самой

невежливой и самой неприятной фигурой в старой Европе, – сам того, без сомнения, не сознавая! Не сознают этого также и те добрые немцы, которые с удивлением взирают на него, как на человека самого благородного общества и охотно позволяют ему «задавать тон». Он это и делает! – За ним тотчас же последуют фельдфебели и унтер-офицеры, которые подражают его языку и делают его еще более грубым. Подражают начальническим окрикам, ревом которых буквально наполнены все немецкие города, где перед всякими воротами происходят военные упражнения: какая надменность, какое бесноватое чувство авторитета, какая язвительная холодность звучат в этом рычанье! Могут ли немцы быть действительно музыкальным народом? – Конечно, немцы милитаризируются теперь и в своем говоре, и, возможно, что, привыкнув сначала говорить по-военному, они будут, наконец, по-военному и писать. Привычка же к известным звукам глубоко западает в характер: – сначала усваивают слова и обороты, а затем и мысли, которые больше подходят к этим звукам! Быть может, и теперь уже пишут на офицерский манер; быть может, мне слишком мало приходится читать из того, что ныне пишут в Германии. Но я вполне уверен в одном: официальные немецкие заявления, которые также доходят до страны, проникнуты не немецкий музыкальностью, а теми новыми звуками, которые так отвратительны своею надменностью. Почти в каждой речи самых важных немецких государственных деятелей, даже в тех случаях, когда они являются как бы императорским рупором, слышится акцент, который режет ухо иностранца: но для немцев он остается сносным, ибо они должны выносить и самих себя.

Немцы, как художники и артисты. – Когда немец действительно переживает какую-нибудь страсть (а не ощущает только, как обыкновенно, расположения к страсти), то он поступает сообразно тем указаниям, которые делает ему природа, и не думает больше о своем поведении. Но надо отдать должное: ведет он себя неловко, некрасиво, без такта и мелодии – так, что зритель при этом испытывает либо пытку, либо умиление и ничего более; но когда он поднимается при этом в область возвышенного и восторженного, поскольку эти состояния гармонируют с иными страстями, тут даже немец становится *прекрасным!* Предчувствие того, что на известной высоте прекрасное распространит свое волшебное влияние даже на немца, гонит немца-художника все дальше и дальше ввысь и заставляет его впадать даже в распутство страсти: таким образом у него существует действительная и глубокая потребность уйти или, по крайней мере, выглянуть из круга всех этих неприятных и неловких движений в лучший, более легкий, более теплый и солнечный мир. Итак, все эти корчи показывают, что могли бы *танцевать* и они, эти бедные медведи, в которых живут нимфы и лесные боги, а иногда и еще более высокие божества.

Музыка в роли ходатая. – «Я с жадностью ищу такого учителя музыки, – говорил новатор своему ученику, – который воспринял бы мои мысли и передал бы их в будущем на своем языке: таким путем я легче овладею слухом и сердцем людей. При помощи звуков можно соблазнить людей на всякую ошибку, ко всякой истине: кто может *противишься* звукам?» – «Так, значит, ты хочешь считаться неопровержимым? – говорил его ученик. Новатор возразил: «О, если бы росток обратился в дерево! Для того, чтобы учение разрослось в дерево, в него должны верить известное время: для того же, чтобы оно могло располагать таким доверием, оно должно быть неопровержимым. Бури, сомнения, годы и злая нужда дают возможность проявить ростку дерева свою доброкачественность и силу: оно было бы сломано, если бы не оказалось достаточно сильным! Но росток всегда подвергается уничтожению, – и никогда не оказывает сопротивления!» – И воскликнул бурно на эти слова его ученик: «А я верую в твои произведения и считаю их настолько сильными, что буду высказывать все, все, что я почувствую у себя на сердце против них!» – Новатор засмеялся про себя и погрозил ему пальцем, а затем сказал: «Такие последователи будут лучшими из всех последователей, но они представляют известную опасность, и не всякое учение в состоянии с ними примириться».

Наша последняя благодарность по отношению к искусству. – Если бы мы не считали искусство благом и не изобрели этого своеобразного культа неправды, то вид всей этой неправды и лжи, которая дается нам в настоящее время наукой, – вид всей этой тщеты и заблуждений, которые являются условием познающего и ощущающего бытия, – был бы для нас невыносим. *Правдивость* возбуждала бы к себе отвращение, доводила бы человека до самоубийства. Теперь же наша правдивость имеет известный противовес, который помогает смягчать подобные последствия; таковым является искусство, как *добровольное* стремление к иллюзии. Мы не всегда мешаем себе стоять с изумленным взором, фантазировать до конца, и нет тогда уже больше того вечного несовершенства, которое мы несем через поток бытия, – тогда мы думаем, что мы несем *богиню* и по-детски гордимся этой услугой. Мы можем *выносить* жизнь, как известный эстетический феномен, и искусство заставляет наши глаза, руки и прежде всего добрую совесть служить так, чтобы мы *могли* самих себя превратить в подобный феномен. Мы должны иногда отдохнуть от самих себя, чтобы вглядеться в себя и из художественной дали над собою посмеяться и поплакать; мы должны открыть того *героя,* а также и *глупца,* который скрывается в нашей страсти к познанию, мы должны иногда радоваться своей глупости для того, чтобы сохранить чувство удовольствия к своей мудрости! А так как мы в конце концов представляем из себя тянем и серьезных людей и даже являемся скорее тяжестями, чем людьми, то ничто к нам так не подходит, как дурацкая шапка: и мы нуждаемся в ней для самих себя, – нам нужно всякое заносчивое, парящее, танцующее, насмешливое, детское и блаженное искусство для того, чтобы не лишиться той *свободы над предметами,* которую от нас требует наш идеал. И мы снова впали бы в прежнее болезненное состояние, если бы снова очутились со всей нашей раздражительной правдивостью целиком в области морали и сами сделались бы еще добродетельными чудовищами и чучелами ради того чрезмерно строгого требования, которое мы здесь себе предъявляем. Мы должны также *уметь* стоять *выше* морали и не только стоять в тоскливой окоченелости того, кто боится каждую минуту поскользнуться и упасть, но весело парить над ней! Каким же образом могли бы мы при таких условиях обойтись без искусства, как без дурака? – И до тех пор, пока вы хоть сколько-нибудь *стыдитесь* самих себя, вы все еще не принадлежите к нам.

Книга третья

Новая борьба. – По смерти Будды, еще в продолжение целых столетий показывали в пещере его тень, – огромную, ужасную тень. Умерло божество, но, пока существует род человеческий, может быть, целые тысячелетия будут существовать пещеры, в которых будут показывать его тень. И мы должны еще будем побеждать эту тень!

Поостережемся. – Поостережемся думать, что мир представляет из себя нечто живое. Как далеко он простирается? Откуда он может питаться? Как может он расти и размножаться? Мы только случайно знаем, что такое органическое: можем ли мы нечто крайне отвлеченное, позднейшее, редкое, случайное, и такое явление, которое встречаем только на земле, принимать за существенное, всеобщее, вечное, как делают те, кто называет вселенную организмом? Я не могу допустить такого сравнения. Остережемся также верить, будто вселенная – машина; ведь она не построена для одной цели и словом «машина» мы оказываем ей слишком высокую честь. Не будем предполагать везде и во всем что-то столь же оформленное, как круговые движения ближайших к нам звезд; уже один только взгляд на Млечный Путь внушает сомнение, не существует ли там множество нестройных и противоречивых движений, звезд с вечным прямолинейным движением и т. п. Астральный порядок, в котором мы живем, представляет только исключение? этот порядок и известная продолжительность, им обусловленная, сделали в свою очередь возможным исключение из исключений: образование органического. Общий характер мира, напротив, – вечный хаос, не в смысле отсутствия необходимости, а в смысле отсутствия порядка, расчленения, формы, красоты, мудрости и всего, что выражается эстетическими представлениями человечества. С точки зрения разума, наше беспорядочное и неудачное метание из стороны в сторону является правилом, и вся эта игра вечно повторяет свой напев, который никогда не будет мелодией, – да и самое выражение «неудачное метание» – это только попытка очеловечить явление, и попытка эта заключает в себе известное порицание. Но как же мы можем хвалить или порицать вселенную?! Не будем же считать ее безумной и неразумной или приписывать ей каких-нибудь противоположных этим свойств: она не обладает ни совершенством, ни красотой, ни возвышенностью, да прежде всего и не хочет этого, она вовсе не стремится подражать людям! К ней совсем не подходят наши эстетические и моральные представления. В ней нет и стремления к самосохранению и вообще каких бы то ни было стремлений; она не знает никаких законов. Не будем же утверждать, что в природе существуют законы. Существуют только необходимости: нет никого, кто повелевает, кто повинуется, кто преступает законы. Если вы знаете, что не существует цели, то знаете также, что не существует и случайности: только в мире целесообразности слово «случайность» имеет смысл. Остережемся говорить, что смерть противоположна жизни. Живое – это только особый вид мертвого и очень резкий вид. – Не будем думать, что мир создает вечно новое. Не существует вечно продолжающихся субстанций: материя это такое же заблуждение, как бог элеатов. Когда же мы перестанем быть столь предусмотрительными и навязывать свое покровительство?! Когда перестанут омрачать нас эти тени богов? Когда освободим мы природу от них? Когда может начаться сближение нас, людей, с чистой, вновь открытой, вновь освобожденной природой?!

Происхождение познания. – Интеллект в продолжение огромного промежутка времени ничего не производил, кроме заблуждений, из которых иные оказались полезными для человека и способствовали сохранению его рода: кто опирался на них или получил их по наследству, тому с большим счастьем удавалась его борьба за себя и за свое потомство. Такие заблуждения переходили из рода в род, наконец, сделались основными и родовыми человеческими признаками; таковы, например, следующие заблуждения: некоторые предметы существуют в продолжение длинного периода времени; есть вещи, похожие друг на друга; вообще, существуют предметы, вещества, тела; вещь такова, какой она нам кажется; наша воля свободна;

то, что хорошо для меня, – хорошо и само по себе. Очень поздно впервые явились люди, отрицающие и сомневающиеся в этих положениях; очень поздно впервые выступила истина, как самая слабая форма познания. Казалось, что с ней нельзя жить, наш организм был устроен вразрез с ее требованиями; все его высшие функции, выводы рассудка и все виды ощущений действовали с этими исстари вкоренившимися основными заблуждениями. Более того: эти положения в области познания стали нормами, которые прилагались для оценки «истинного» и «ложного» – даже в самых отвлеченных областях чистой логики. Поэтому сила познания заключалась не в степени его приближения к истине, а в его почтенном возрасте, в его закоренелости, в его характере, как жизненном условии. Где жизнь и знание оказывались в противоречии, там никогда не происходило серьезной борьбы; там отрицание и сомнение считались безумием. Такие исключительные мыслители, как элеаты, которые тем не менее выдвигали и придерживались противоречий, вытекавших из естественных заблуждений, верили в возможность подобной противоположности. Мудреца они считали человеком, отличавшимся неизменными, безличными, универсальными взглядами: он должен быть единым и обнимать все, обладать особенной способностью к тому извращенному познанию: они верили, что их познание в то же время является принципом жизни. Но, чтобы иметь право утверждать все это, они должны были заблуждаться относительно того положения, которое они сами занимали: они вынуждены были выдумать какое-то безличное состояние, нечто длящееся, но лишенное способности к каким бы то ни было изменениям; им приходилось неправильно оценивать сущность познающего, ложно определять силу того стремления, которое сказывается в процессе познания, и считать вообще разум совершенно свободной, самовозникающей деятельностью. Когда правдивость и скептицизм достигли в своем развитии более тонких форм, то существование подобных людей стало невозможным; их жизнь и суждения являлись как бы независимыми от первоначальных стремлений и основных ошибок всякого ощущающего бытия. – Более тонкие формы правдивости и скептицизма возникали повсюду, где находили себе приложение два противоположных взгляда на жизнь, ибо оба они примирялись с основными ошибками всюду, где борьба протекала с большею или меньшею степенью пользы для жизни; где новые положения, не принося пользы жизни, не вредили ей; где они оказывались проявлением известной игривости нашего интеллекта и были такими же невинными и счастливыми, как и всякая игра. Человеческий мозг постепенно наполнялся такими суждениями и убеждениями; в этом клубке поднималась сумятица, борьба и возникала страсть к власти. Не только польза и удовольствие, но и всякого рода стремления принимали участие в борьбе за «истину»; интеллектуальная борьба становилась делом, призванием, долгом, достоинством: – познавать и стремиться к истине обращалось, наконец, в такую же потребность, как и другие потребности. Отсюда не только вера и убеждение, но и доказательство, отрицание, недоверие, противоречие становились силой; все «дурные» инстинкты были подчинены дознанию, поставлены в служебное отношение к нему и приобрели блеск дозволенного, почтенного, полезного и под конец вид и невинность *блага.* Познание стало неотъемлемой частью жизни и, как сама жизнь, постоянно возрастающей силой; но вот, наконец, познание и первичные, основные заблуждения столкнулись друг с другом; и та, и другая сторона были проявлением самой жизни, обе были силой и укрывались в одном и том же человеке. Мыслитель – вот теперь то существо, в котором стремление к истине и жизненные заблуждения дали свою первую битву, после того, как стремление к истине также доказало свою жизнеспособность. По сравнению с той важностью, которую представляет эта борьба, все остальное является безразличным: вопрос о жизни здесь ставится ребром, и делается впервые попытка ответить на этот вопрос путем опыта. Насколько истина может быть воплощена в жизни? – вот вопрос, вот на что должен ответить опыт.

Происхождение логичного мышления. Откуда появилась логика в человеческой мысли? Конечно, из явлений, лишенных логики, которые вначале безгранично царствовали. Но люди, приходившие к иным заключениям, чем те, которыми мы располагаем, погибали даже в том

случае, когда истина была скорее на их стороне! Кто, напр., не умел достаточно часто подмечать «равенство» в различных родах пищи или среди враждебных ему животных, кто таким образом обобщал слишком медленно, был слишком осторожен в своих обобщениях, у того было меньше шансов выжить против других людей, которые при всяком сходстве заключали о равенстве предметов. Но непреодолимая склонность рассматривать сходное, как нечто равное, является склонностью нелогичною, – ибо в действительности равных предметов не существует, – но она ведь создала все основные положения логики. Так же дело обстоит и с понятием субстанции, которое так необходимо для логики, ибо нет ничего такого, что в действительности соответствовало бы этому понятию; люди, выработавшие это понятие, должны были в продолжение долгого времени не замечать, не находить перемен в предметах; и люди, не умевшие точно наблюдать в этом отношении окружавший их мир, имели преимущество перед теми, которым каждый предмет и каждое явление представляется «текучим». В сущности всюду, где мы встречаем высокую степень предусмотрительности в заключениях, склонность к скептицизму, жизни грозит большая опасность. Ни одно живое существо не могло бы поддержать своего существования, если бы не проявляло чрезвычайной силы: если бы люди не любили лучше поддакивать, чем высказывать свое мнение, лучше ошибаться и фантазировать, чем выжидать, лучше соглашаться, чем отрицать. Процесс логического мышления и заключения в нашем мозгу соответствует в настоящее время движению и борьбе известных стремлений, из которых каждое, будучи взятым в отдельности, само по себе, является нелогичным и несправедливым; мы узнаем обыкновенно только о результате этой борьбы: так быстро и так скрыто происходит в нас теперь работа этого древнего механизма.

Причина и действие. – Не «уменье объяснить», а «уменье изобразить» – вот что отделяет нас от более древних ступеней познания и науки. Мы изображаем лучше, но объясняем так же мало, как и раньше. Мы открыли многократную последовательность там, где наивный человек и исследователь более древних культур видел только двойственность, или, как говорят, «причину» и «действие»; мы усовершенствовали изображение существующего, но не поднялись выше этого изображения и не знаем, что кроется за ним. Ряд «причин» во всяком случае является перед нами гораздо полнее; мы делаем заключение: сначала должны быть такие-то явления, а за ними, хотя и иные, но определенные, но таким путем мы все-таки ничего не объясняем. Качественная сторона, например, всякого химического явления, и до и после представляется нам «чудом», точно так же и всякое движение; никто не «объяснил» толчка. Да и как мы могли бы объяснить? Мы оперируем с предметами, которых не существует, с линиями, плоскостями, телами, атомами, делимыми промежутками времени, делимыми частями пространства, – каким образом возможно здесь объяснение, если мы все наперед сводим к *изображению,* к нашему изображению?! Довольно того, если мы смотрим на науку, как на возможно точное уподобление себе вещей, мы научаемся все лучше изображать самих себя, изображая вещи и их взаимную последовательность. Причина и действие – это такая двойственность, которой, вероятно, не существует, в действительности перед нами *continuum,* часть которого мы изолируем; точно так мы всегда представляем себе движение с помощью изолированных точек, следовательно, мы собственно не видим, но только заключаем. Тот факт, что многие процессы возникают с чрезвычайной быстротой, вводит нас в заблуждение, но внезапность эта – только кажущееся для нас явление. В этот момент может совершаться бесчисленное количество событий, минующих нас. Интеллект, который будет видеть в причине и действии непрерывность (ein continuum), а не произвольно раздробленные, отдельные события, который поймет течение событий, – откажется от понятий причины и действия и отвергнет всякую причинность.

К учению о ядах. – Как много надо условий для того, чтобы возникла научная мысль: и все эти необходимые силы должны быть порознь открыты, развиты и воспитаны! Но пока они были изолированы, каждая из них производила очень часто совершенно иное действие, чем

теперь, когда они в научном мышлении взаимно ограничивают и сдерживают друг друга: – они действовали, как отрава: таковы, например, потребность сомнения, потребность отрицания, потребность соединения, потребность разделения. Многие гекатомбы людей были принесены в жертву, пока люди научились понимать эти силы одну подле другой и чувствовать их вместе, как функции одной организующей силы в одном человеке! И как мало способны мы и теперь присоединить к научному мышлению еще и искусственные силы, и практическую мудрость жизни, чтобы образовать высшую органическую систему, при которой ученый, врач, художник и законодатель, какими мы знаем их теперь, показались бы нам жалкими остатками старины!

Объем морали. – Мы создаем новый образ, который мы видим с помощью всего нашего старого опыта, поскольку это позволяет наша искренность и правдивость. Даже в сфере чувственных восприятий мы имеем дело только с моральными пережитками.

Четыре заблуждения. – Человек воспитан своими заблуждениями: во-первых, он видел себя всегда только отчасти; во-вторых, приписывал себе несуществующие качества; в-третьих – чувствовал себя в ложном положении относительно животных и природы; в-четвертых, он всегда искал себе новых заповедей; таким образом то одно, то другое человеческое стремление и состояние ставилось на первом месте и облагораживалось под влиянием такой оценки. Исключите влияние этих четырех заблуждений, и тогда потеряют смысл и гуманность, человечность, и «человеческое достоинство».

Происхождение морали. – Где мы встречаемся с моралью, там находим расценку и распределение по рангам человеческих стремлений и поведения. Эти расценки и распределение и служат всегда выражением потребностей толпы и массы: что *им* полезно, то служит и высшим мерилом достоинства всех индивидуумов. С помощью морали личность превращается в функцию толпы и, как функция, оценивает свое значение. Так как условия сохранения одного общества отличны от условий другого, то существует и много различных моралей; ввиду того, что толпе и массе, государствам и обществам предстоит пережить существенные изменения, то можно предвидеть, что явится еще много новых систем морали.

Совесть толпы. – В продолжительные и отдаленные эпохи жизни человечества существовала совершенно другая совесть, чем в настоящее время. Теперь человек чувствует себя ответственным за то, чего он хочет и что делает и в самом себе находит судью: все наши правоведы исходят из этого чувства собственного достоинства и удовольствия, как будто бы здесь кроется источник права. Но очень долгое время для человечества ничего не было более ужасного, как чувствовать себя одиноким. Быть одному, чувствовать себя одним, не повиноваться и не управлять, быть индивидуумом – это считалось не удовольствием, а наказанием. Свободу мысли находили неудобством. В то время, как мы в законе и дисциплине чувствуем принуждение и стеснение, тогда эгоизм считался уголовным преступлением, настоящим бедствием. Быть самим собой, прилагать к себе свой собственный масштаб и оценку – это было недопустимо. Подобные наклонности казались безумием: быть одному – значило привлечь на свою голову всякие ужасы и несчастья. «Свободное хотение» указывало непосредственно на злую совесть: чем меньше свободы, чем больше говорил в поведении стадный инстинкт, а не личное чувство, тем нравственнее считал себя человек. Все, что вредило толпе, – безразлично, хотел или нет этого индивидуум, – вызывало в нем упреки совести, еще более в его ближнем и во всей толпе! – На таких-то взглядах мы по преимуществу и воспитывались.

Симпатия. – Разве мы будем считать добродетельной какую-нибудь клетку за то, что она приняла на себя функции более сильной клетки? Она должна это делать. Будет ли злом, если более сильная ассимилирует ее? Она также должна это сделать; иными словами, это для нее необходимо, так как она стремится к наиболее полному восстановлению и возрождению. Поэтому в сочувствии нужно различать: стремление подчинить и стремление подчиниться, смотря по тому, сильный или слабый обнаруживает сочувствие. У сильного, который стремится подчинить себе что-нибудь, вы найдете всегда вместе радость и страстное желание; у слабого,

который мог бы сделаться чьей-либо функцией, – радость и желание стать предметом стремлений для кого-нибудь. – Сострадание относится к первой комбинации; оно представляет собой то приятное движение души, которое человек испытывает, когда у него проявляется, при виде слабейшего, желание усвоения. Нужно заметить только, что «сильный» и «слабый» – понятия относительные.

Нет альтруизма! – У многих людей я вижу сильнейшее стремление и удовольствие сделаться чьей-нибудь функцией; они обладают тончайшим чутьем и проникают всюду, где только могут стать функцией. Таковы те женщины, которые превращаются в функцию мужчины, наименее в нем развитую, и таким путем становятся его кошельком, его политикой, его средством общения. Эти существа чувствуют себя всего лучше, если им удается внедриться в чужой организм; если они терпят в этом неудачу, они становятся злыми, раздраженными и поедают самих себя.

Здоровье души. – Любимая моральная формула врачей (родоначальник ее Аристон Хиосский) – «добродетель – здоровье души», должна быть, раз только хотят с успехом ее применять, изменена, по крайней мере, следующим образом: «твоя добродетель – здоровье твоей души». Здоровье само по себе не существует, и все попытки определить подобную вещь приводили к печальному концу. Чтобы определить, *что* собственно значит для твоего *тела* здоровье, нужно иметь в виду твою цель, твои горизонты, твои силы, твои стремления, твои заблуждения и, конечно, идеалы и мечты твоей души. Таким образом, существуют бесчисленные здоровья тела; и чем больше оказывается возможным выделяться величинам отдельным и несравнимым друг с другом, чем более забывается догма о «равенстве людей», тем более скрывается от наших медиков и понятие о нормальном течении болезни. Вот тут-то впервые было бы своевременно подумать о здоровье и болезни души и обосновать добродетель каждого на его здоровье, которое для одного может оказаться тем, что для другого будет прямой противоположностью. Наконец, остается еще открытым важный вопрос: можем ли мы *обойтись* без болезни, для самого развития нашей добродетели? – Может быть, для нашей жажды знания и самопознания столь же необходима больная душа, как и здоровая: короче говоря, исключительное желание здоровья не есть ли предубеждение, трусость и, может быть, нечто вроде утонченного варварства и отсталости?

Жизнь – не аргумент. – Мы создали себе мир, в котором живем, – при помощи тел, линий, плоскостей, причин и действий, движения и покоя, формы и содержания: без этих звеньев нашей веры никто бы не мог жить! Но ведь все это нисколько не говорит в пользу их. Жизнь – не аргумент; в условиях жизни могут быть и заблуждения.

Моральный скептицизм в христианстве. – Христианство также сыграло значительную роль в просвещении: оно самым убедительным и действительным образом учило моральному скептицизму, обвиняя и обличая с неустанным терпением и утонченностью; оно отрицало в каждом отдельном человеке веру в свои «доблести»; оно стерло с лица земли те высокие добродетели, которыми была богата древность, тех популярных людей, которые с верой в свое совершенство умели соединять достоинство борца арены. Когда мы теперь, воспитанные в этой христианской школе скептицизма, читаем моральные книги древних, например, Сенеки и Эпиктета, мы чувствуем забавное превосходство, тайное понимание и проницательность; мы переживаем то же чувство, которое испытывает взрослый, когда перед ним говорит ребенок, или когда Ларошфуко слушал какую-нибудь юную, прекрасную энтузиастку: мы лучше знаем, что такое добродетель! В конце концов мы переносим этот же самый скептицизм и на все *религиозные* состояния и события: грех, раскаяние, милость, святость и делаем это с таким успехом, что и при чтении всех христианских книг переживаем то же самое чувство тонкого превосходства и понимания: – и религиозное чувство мы понимаем лучше! Да и пора хорошо его знать и описать, потому что умерли достоинства старой веры: – сохраним, по крайней мере, для знания их изображение и их тип!

Знание нельзя считать только средством. – И без этой новой страсти – я разумею страсть к знанию – наука шла бы вперед: до сих пор наука без нее росла и крепла. Добрая вера в науку, благоприятное для нее предубеждение, господствующее теперь в наших государствах (раньше тоже и в церкви), основываются в сущности на том, что чистая страсть к знанию редко обнаруживалась, и в науке видели *не* страстную потребность, а известное состояние и «обычай» (ethos). Да, часто бывает достаточно уже одной *amour plaisir* знания (любознательности), довольно *amour vanitu,* привычки к нему, с задней мыслью о почете и хлебе, для многих достаточно даже, если они не знают, что делать с собой на досуге, а потому читают, собирают, приводят в порядок, наблюдают, передают дальше; потребность их в науке вызывается желанием спастись от ничегонеделанья. Папа Лев X воспел однажды хвалу науке: он назвал ее лучшим украшением и величайшей гордостью нашей жизни, благородным занятием в счастье и несчастье: «Без нее, – сказал он под конец, – все человеческие предприятия не имели бы твердой опоры, – даже и с ней остается еще достаточно много изменчивого и неясного!» Но этот скромный скептик – папа, как и многие другие церковные хвалители науки, не сказал своего последнего слова о ней. Можно ли видеть из его слов, – а это важно относительно такого поклонника искусств, – чтобы он ставил науку выше искусства? Наконец, в силу простой деликатности, он не говорит здесь о том, что ставит выше всякой науки, – об «истине, даваемой откровением» и о «вечном спасении души», – что для него украшение, гордость, поддержание и сохранение жизни! «Наука есть нечто второстепенное, не последнее и безусловное, она не может быть предметом страсти», – такой приговор скрывался в душе Льва X: и это единственно христианский приговор над наукой! В древности ее значение и признание умалялись по той причине, что даже самая пылкая юность выше всего ставила стремление к *добродетели* и только тогда считали возможным дать высшую похвалу знанию, если оно являлось лучшим средством для добродетели. Если же знание стремится выйти из роли простого средства, то подобное явление оказывается в истории новшеством.

На горизонте бесконечности. – Мы покинули берег и взошли на корабль! Мостки пройдены, – еще немного, берег остался позади! Теперь вперед, мой челн! Океан пред тобой: он, правда, не всегда бурлив и порой спокойно блестит, как шелк и золото, и грезы о счастье. Но настанет время и ты узнаешь, что он бесконечен и что ничего нет более ужасного, как бесконечность. Горе бедной птичке, которая чувствовала себя свободной, а теперь ударилась о стенку этой клетки! Горе тебе, если ты затоскуешь о родной земле, где как будто больше было *свободы,* – и нет теперь «земли»!

Безумец. – Не приходилось ли вам слышать о том безумце, который в светлое утро зажег фонарь, вышел на площадь и неумолчно кричал: «Я ищу божество! Я ищу божество!» – Там было много таких, которые не верят в Бога, и они издевались над ним. Не потерялся ли он? говорил один. Не заплутался ли он, как ребенок? говорил другой. Не спрятаться ли он хочет? Не нас ли он боится? Не на корабле ли он плывет? не странствует ли? – так кричали они и смеялись между собой. Безумец проник в середину их и пронизывал их своим взглядом. «Где божество? – кричал он, – я скажу вам это! *Мы убили его,* – вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы это сделали? Как могли мы поглотить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт? Что мы сделали, оторвавши эту землю от ее солнца? Куда она идет теперь? Куда идем мы сами? Прочь от всех солнц? Разве мы не спотыкаемся постоянно? И назад, и в стороны, и вперед, по всем направлениям? Существуют ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы по бесконечному небытию? Не повеяло ли на нас пустотой? Разве не стало холоднее? Разве ночь не надвигается все темнее и темнее? Разве не приходится нам днем зажигать огонь? Разве еще не долетает до нас звук работы могильщиков, зарывающих божество? Разве не чувствуем мы божественного тления? Ведь и боги истлевают!

Бог убит! Бог мертв! И мы его убийцы! Чем же мы утешаемся, убийцы из убийц? Самое святое и великое, чем только обладал мир, погибло под нашими ножами, – кто смоет с нас эту

кровь? Какая вода может очистить нас? Какое раскаяние, какие священные игры мы можем придумать? Разве важность этого деяния не слишком велика для нас? Чтобы стать достойными его, не должны ли мы сами сделаться богами? Еще не было никогда более великого деяния, – и кто родится после нас, будет принадлежать за такое деяние к высшей истории, чем вся, бывшая до сих пор!» – Тут умолк безумный и вновь взглянул на слушателей: они тоже молчали и с удивлением глядели на него. Наконец бросил он свой светильник на землю, так что тот разбился на части и погас. «Я явился слишком рано, – сказал он, – еще не настало время для меня. Это ужасное деяние еще на пути, оно еще не достигло людского слуха. Для молнии и грома нужно время, для света звезд нужно время; для деяний тоже нужно время, для того, чтобы их могли заметить и услышать, после того, как они совершены. Это деяние еще дальше от людей, чем самые далекие звезды, – *и однако они совершили его!»* – Рассказывают еще, что этот безумец в тот же самый день пробрался в различные храмы и пел там свой *вечный Reguiem Богу* (Requiem acternam Deo). Когда его выводили и заставляли говорить, он повторял только одно: «Что такое эти храмы, как не могилы и надгробные памятники божества?»

Мистические толкования. – Мистические толкования считаются глубокими; они, правда, не поверхностны.

Последствия древней религиозности. – Всякий не мыслящий человек полагает, что воля – вот единственно активный элемент жизни; хотеть – это нечто простое, данное, непроизводное, само по себе понятное. Он убежден, если что-либо делает, напр., производит удар, – что это *он* ударяет и что ударил он потому, что *хотел* ударить. Он совершенно не замечает проблемы, заключающейся здесь, для него достаточно чувствовать *волю,* для того, чтобы не только признать причину и действие, но и поверить, что он *понимает* их взаимное отношение. Он не знает ничего ни о механизме совершающегося, ни о стократно неуловимой работе, которая должна произойти, чтобы совершился удар, ни о полной неспособности воли самой по себе совершить хотя бы ничтожнейшую часть этой работы. Воля для него – магически действующая сила: вера в эту волю, как причину действий, это – вера в волшебные силы. Всюду, где человек видел какой-либо процесс, он предполагал волю, как причину и лично хотящее существо в основе всего, понятие «механика» было ему совершенно чуждо. А так как человек неизмеримо долгое время верил только в личности (не в материю, силы, вещи и т. д.), то вера в причину и действие стала его основной верой, которую он прилагает всюду, где протекает какой-нибудь процесс, – еще и в настоящее время это чувствуется инстинктивно, как атавизм древнейшего происхождения. Положения «нет действия без причины», «всякое действие есть в свою очередь причина» являются обобщениями более узких положений: «где совершается действие, там есть хотение», «только при наличии существа, проявляющего желание, может быть действие», «нельзя просто ощущать действия, но всякое такое ощущение есть возбуждение воли» (к действию, к самозащите, к наказанию, к возмездию), – в первобытные же времена человечества и те и другие положения были тождественны, первые не были обобщением вторых, но вторые – развитием первых. – Шопенгауэр с своим утверждением, что существующее представляет субъект, обладающий волей, возвел на трон первобытную мифологию; он никогда, по-видимому, не пытался произвести анализа воли, потому что *верил,* как всякий, в простоту и непосредственность хотения: – между тем хотение – это такой тонко устроенный механизм, что почти скрывается от глаза наблюдателя. В противоположность упомянутому мыслителю, я выставляю следующие положения: во-первых, для существования воли необходимо представление об удовольствии и страдании. Во-вторых: чтобы сильное побуждение чувствовалось, как удовольствие или страдание, для этого нужна работа *анализирующего* интеллекта (interpretirenden Intellecte), который совершает свою работу большей частью, конечно, бессознательно для нас; одно и то же побуждение может быть истолковано им и как удовольствие, и как страдание. В-третьих: только для существ, одаренных интеллектом, существуют

удовольствие, страдание и воля; огромное большинство организмов не имеют ничего подобного.

Homo poeta. – «Я собственноручно создал эту трагедию из трагедий, и вот она готова; я впервые завязал узел морали и так его крепко затянул, что только божество могло бы развязать его, – так думал Гораций. – Я сам теперь в четвертом акте низверг всех богов! Что же должно быть в пятом акте?! Откуда взять еще трагический конец! – Не подумать ли, может быть, о комической развязке?»

Различная степень опасности жизни. – Вам совершенно неизвестно, что вы переживаете, вы проходите жизнь, как пьяные, и временами падаете со ступеней. Но, благодаря вашему опьянению, ваши члены остаются невредимы: ваши мускулы слишком вялы и голова ваша слишком пуста для того, чтобы вы могли так же чувствовать камни этой лестницы, как мы, другие! Для вас жизнь – величайшая опасность: мы хрупки, как стекло, – горе, если мы *споткнемся!* И все погибло, если мы *упадем!*

Чего нам недостает. – Мы любим *великую* природу и открыли ее: вот почему у нас нет великих людей. Греки же, наоборот, имели к природе совершенно иное чувство, чем мы.

Самый влиятельный. – Если человек борется с окружающей жизнью, останавливает ее и требует отчета, он *должен* оказать на нее влияние! Хочет ли он этого, – безразлично; суть в том, что он *может.*

Mentiri. – Смотрите: он задумался! он сейчас будет готов солгать. Это – одна из ступеней культуры, на которой стояли целые народы. Припомним только, что выражали римляне словом *mentiri.*

Неудобное качество. – Находить все вещи глубокими – это неудобное свойство: оно ведет к тому, что люди постоянно напрягают свое зрение и, в конце концов, всегда находят более, чем желали.

Для всякой добродетели свое время. – Кто в настоящее время непреклонен, у того искренность часто вырывает упреки совести: непреклонность и искренность принадлежат к добродетелям различных эпох.

Отношение к добродетели. – И по отношению к добродетели можно быть недостойным и льстецом.

К баловням времени. – Беглый жрец и выпущенный преступник постоянно делают гримасы: им хочется обладать таким лицом, на котором совершенно не было бы видно прошлого. – А видели ли вы таких людей, на лице у которых отражается грядущее и которые настолько любезны по отношению к вам, баловни «времени», что устраивают такую физиономию, чтобы на ней не было видно будущего?

Эгоизм. – Эгоизм – это *перспективный* закон ощущения, по которому все ближайшее кажется нам большим и важным, а с удалением все предметы теряют в величине и весе.

После большой победы. – Самое лучшее в значительной победе то, что она уничтожает у победителя боязнь поражения. «Почему бы хоть раз и не проиграть? – спрашивает он себя, – я теперь достаточно богат для того».

Ищущие покоя. – Я знаю людей, которые ищут покоя с помощью множества *темных* предметов, которыми они окружают себя: кто хочет спать, тот закрывает свою комнату или забирается куда-нибудь в темный угол. – Это относится к тем, кто не знает, – хотя и мог бы знать, – чего собственно они больше всего ищут!

О счастье отрицающего. – Кто основательно и надолго отказался от чего-либо, тому, при встрече с этим вновь, кажется, что он сделал открытие, – и как счастлив всякий открывающий! Будем же умнее змей, которые слишком подолгу лежат при одном и том же солнце.

Всегда в своем обществе. – Все, что одинаково со мной, в природе и в истории, – говорит мне, хвалит меня, гонит меня вперед, радует меня: – другого я не слышу или тотчас забываю. Мы всегда в своем обществе.

Мизантропия и любовь. – О пресыщении людьми можно говорить лишь в том случае, если данный субъект не может более переваривать их и все-таки переполнил ими желудок свой. Мизантропия – это следствие слишком жадной любви к людям и «человекообжорство», – но кто же велит тебе глотать людей, как устриц, бедный принц Гамлет?

Об одном больном. – «Он скверно себя чувствует!» – «Что же ему нужно?» – «Он страдает от желания быть любимым, и не находит удовлетворения». – «Странно! Весь мир славит его, его носят не только на руках, но и на устах!» – «Да, но у него плохой слух на похвалу. Если его хвалит друг, ему кажется, что этот друг хвалит самого себя; хвалит враг, – ему кажется, что этот враг хочет, чтобы его за это похвалили; если его хвалит кто-нибудь из остальных – а их не так много, до такой степени он знаменит! – его мучит, что не хотят его иметь своим другом или врагом; он обыкновенно говорит: что мне за дело до того, кто может относиться ко мне беспристрастно»?

Открытые враги. – Мужество перед врагом дело особого рода, и обладатель его может все-таки проявить и трусость, и нерешительность. Так думал Наполеон относительно «самого мужественного человека», какого он знал, Мюрата: отсюда следует, что открытые враги для некоторых людей необходимы, если им надо подняться на высоту своей добродетели, мужества и веселости.

С толпой. – Он двигался до сих пор с толпой и был ее панегиристом; но в один прекрасный день он сделается ее противником! Ведь он следует за ней только из уверенности, что его слабость выиграет от этого: он еще не испытал, что толпа недостаточно слаба для него, что она не позволяет никому останавливаться! – И тогда он охотно отстанет!

Слава. – Если благодарность многих по отношению к одному перейдет всякие границы, возникает слава.

Губитель вкуса. – А: «Ты губишь вкусы, – так говорят всюду!» Б: «Конечно! Я у всякого отнимаю вкус к его партии: – этого не извинит мне ни одна партия».

Быть глубоким и казаться глубоким. – Кто сознает себя глубоким, тот трудится для света; кто хочет толпе показаться глубоким, тот старается для темноты. Толпа считает глубоким всякое явление, для которого не видит оснований: она так труслива и так неохотно идет в воду.

В стороне. – Парламентаризм, т. е. открытое разрешение выбирать между пятью основными политическими мнениями, старается угодить тем многим, которые *оказываются* самостоятельными и индивидуальными и могут бороться за свои взгляды. Но в конце концов безразлично, повинуется ли толпа одному мнению или допускаются все пять? – Кто уклонится от пяти общественных мнений и пойдет в стороне, тот всегда будет иметь против себя всю толпу.

О красноречии. – Кто до сих пор обладал самым убедительным красноречием? Барабанный бой: и пока короли будут иметь его в своей власти, они все будут лучшими ораторами и подстрекателями народа.

К «вопросам воспитания». – В Германии недостает высшему человеку одного важного воспитательного средства: насмешки высших людей, которые в Германии не смеются.

К выяснению моральных вопросов. – Надо уговорить немцев расстаться с своим Мефистофелем и со своим Фаустом. Это два предрассудка в области моральных явлений по отношению к оценке познания.

Мысли. – Мысли – это тени наших ощущений, – только еще темнее, пустее и проще их.

Следовать и идти впереди. – А: «Из двух этих лиц один постоянно будет следовать за кем-нибудь, а другой всегда сам пойдет впереди, куда бы судьба их ни повела. И все-таки первый из них и по своей добродетели, и по своему духу выше второго!» Б: «Так что же? все это говорится для других, а не для меня, не для нас! – *Fit secundum regulam*».

В одиночестве. – Если человек живет одиноко, – он и говорит негромко, и пишет негромко: он боится пустого Эха – критики нимфы Эхо. И все голоса звучат иначе в уединении!

Музыка лучшего будущего. – Первым музыкантом для меня был бы тот, кто знал бы только тоску глубочайшего счастья, и никакой другой тоски: но такого музыканта до сих пор еще не появилось.

Правосудие. – Лучше быть обокраденным, чем окружать себя пугалами – вот мой вкус. Но это, конечно, является исключительно делом вкуса, – не более.

Бедный. – Он сегодня беден: но не потому, что у него все отняли, а потому, что он сам все бросил: – так что ж? Он привык находить. – Бедны те, кто не понимает его добровольной бедности.

Дурная совесть. – Все поступки его отличаются честностью и не выходят за рамки дозволенного, и однако его совесть неспокойна, ибо задача его – совершить что-нибудь необычайное.

Оскорбительная манера в способе изложения. – Этот художник оскорбляет меня своей манерой выражать мысли, очень хорошие мысли: он обращается к вам с такими широкими, сильными, грубыми приемами убеждения, как будто он говорит перед чернью. Все то время, которое мы дарим его искусству, мы чувствуем себя «в дурном обществе».

Труд. – Как близки даже самым скромным из нас труд и работник! Королевское великодушие в словах «мы все – работники!» считалось еще при Людовике XIV цинизмом и неприличием.

Мыслитель. – Он – мыслитель: это значит, он умеет понимать вещи проще, чем они есть.

Против похвалы. – А: «Похвалу получают только от себе подобных!» Б: «Да! И потому, кто тебя хвалит, тот говорит: ты похож на меня!»

Против некоторых способов защиты. – Самый вероломный способ повредить известному делу, это – умышленно защищать его с помощью неверных доводов.

Добродушие. Чем отличаются те добродушные люди, у которых из лица так и светит благоволение, от всех остальных людей? Они чувствуют расположение ко всякому новому лицу и быстро им увлекаются; вот почему они стремятся сделать ему что-нибудь хорошее, вот почему их первая мысль о нем: «оно мне нравится». У них сменяются друг за другом: желание усвоения (они мало интересуются ценностью другого), быстрое усвоение, радость, которую им доставляет новое приобретение, и работа на пользу лица, попавшего им во власть.

В чем заключалось остроумие Канта. – Кант хотел убедить всех самым неопровержимым образом в том, что прав «весь мир»: вот в чем скрывалось его остроумие. Он писал против ученых в пользу народных предрассудков, но писал он это для ученых, а не для народа.

«Чистосердечный». – Человек тот руководится всегда в своих поступках такими основаниями, о которых он умалчивает, ибо те основания, о которых он сообщает, у него всегда на языке и чуть не на ладони.

В насмешку. – Смотрите! Смотрите! он бежит *прочь* от людей, а они следуют за ним, потому что он бежит *перед* ними, – так похожи они на стадо.

Границы нашего слуха. – Люди слышат только те вопросы, на которые они в состоянии найти ответ.

Поэтому осторожность! – Ничем мы не делимся так охотно с другими, как секретом и тем, что за ним скрывается.

Досада гордеца. – Гордец досадует даже на тех, кто ведет его вперед: он злобно смотрит на лошадей своего вагона.

Щедрость. – Щедрость у богатых – это часто только вид застенчивости.

Смех. – Смеяться – значит злорадствовать, но злорадствовать с чистой совестью.

Одобрение. – В одобрении есть всегда известная шумливость, даже в одобрении, которым мы удостаиваем самих себя.

Расточитель. – Он еще не достиг убожества того богача, который уже пересчитал раз все свои сокровища, – он расточает свой ум с безрассудством расточительной природы.

Nie niger est. – У него обыкновенно нет никаких мыслей, – но, как исключение, у него являются дурные мысли.

Нищие и вежливость. – «Нет ничего невежливого, если кто-нибудь стучит камнем в дверь, у которой нет ручки от звонка» – так думают нищие и всякого рода нуждающиеся; но никто не признает их правыми.

Потребность. – Потребность считается причиной явления: на самом деле она часто только результат возникающего факта.

При дожде. – Идет дождь, и я вспоминаю о бедных людях, которые толпятся теперь с своими многочисленными заботами, не пытаясь скрыть их; всякий готов по доброй воле сделать неудовольствие другому, и даже при дурной погоде доставить себе хотя бы жалкими средствами возможность чувствовать себя в числе благоденствующих. – В этом и только в этом – нищета бедняков.

Завистник. – Это завистник, – ему нельзя пожелать детей; он станет им завидовать в том, что сам не может больше быть ребенком.

Великий человек! – Не всякий великий человек будет в то же время человеком вообще; он может оказаться мальчиком или хамелеоном всех возрастов, или заколдованной женщиной.

Особый способ спрашивать людей о тех основаниях, которыми они руководствуются. – Существует особый способ спрашивать о тех основаниях, которыми мы руководствуемся, – способ, при котором мы не только забываем о лучших своих основаниях, но еще и чувствуем, как в нас пробуждается недовольство и непокорность этим самым основаниям: при таких вопросах люди теряют свой разум и такой способ является прямо-таки уловкой тиранов.

Умеренность в усердии. – Под страхом болезни не желай усердием превзойти своего отца.

Тайные враги. – Иметь возможность быть тайным врагом, – это такая роскошь, для которой даже высокоодаренные умы обыкновенно недостаточно богаты.

Не следует поддаваться обману. – Его ум отличается скверными манерами: он горяч и постоянно задыхается от нетерпения, так что с трудом можно представить, в какой глубокой душе он помещается.

Путь к счастью. – Мудрец спросил глупца, где дорога к счастью. Последний, не задумываясь, ответил, как будто бы его спросили о дороге к ближайшему городу: «Удивляйся самому себе и живи на улице!» «Постой, – сказал мудрец, – ты слишком много требуешь: достаточно удивляться самому себе!» Глупец возразил: «Но как же можно постоянно удивляться и в то же время не презирать?»

Вера дает блаженство. – Добродетель только тем дает счастье и некоторое блаженство, кто имеет добрую веру в свою добродетель: – но не тем более нежным душам, добродетель которых заключается в глубоком недоверии к самим себе и ко всякой добродетели. В конце концов, и здесь «вера делает блаженным!» – но во всяком случае, *не* добродетель!

Идеал и вещество. – Перед твоими глазами прекрасный идеал: но сам ты настолько ли хороший камень, чтобы можно было создать из тебя такой божественный образ? А без этого не будет ли вся твоя работа варварским искусством, поношением твоего идеала?

Опасность со стороны голоса. – С очень громким голосом люди почти не в состоянии думать о тонких вещах.

Причина и действие. – Перед действием обыкновенно предполагают другие причины, а не те, которые приводят, когда действие совершено.

Моя антипатия. – Я не люблю людей, которые, чтобы вообще произвести впечатление, должны с треском разрываться, как бомбы, и около которых всегда грозит опасность внезапно потерять слух, – и даже более.

Цель наказания. – Наказание имеет целью исправить того, *кто наказывает,* – это последнее прибежище для сторонников наказания.

Жертва. – О жертве и жертвоприношении жертвенные животные думают иначе, чем зрители: но об этом им не позволяют говорить.

Пощада. – Отцы и сыновья гораздо больше щадят друг друга, чем матери и дочери.

Поэт и лжец. – Поэт видит в лжеце молочного брата, у которого он выпил тайком все молоко; тот остался, благодаря этому, в нищете и вдали от доброй совести.

Викариат чувств. – «И глаза люди имеют для того, чтобы слышать, – говорил один духовный отец, который был глух, – и между слепыми есть король, имеющий самые длинные уши».

Критика животных. – Я опасаюсь, что животные смотрят на человека, как на себе подобного, который крайне опасным образом потерял здоровый животный разум, – как на бешеное животное, как на смеющееся животное, как на плачущее животное, как на несчастное животное.

Натуральность. – «Зло само по себе всегда производит большой эффект! А ведь природа отличается злостью! Будемте же натуральными» – вот то заключение, к которому в тайниках своей души приходят все те, кто гонится за великими эффектами и которые слывут у человечества под именем великих людей.

Недоверчивые и их стиль. – Самые сильные вещи мы говорим гладким языком, когда предполагаем, что нас окружают такие люди, которые верят в нашу силу: при таких условиях у нас воспитывается «простота стиля». Недоверчивые люди, наоборот, говорят сильно и употребляют сильные выражения.

Неправильное заключение, промах. – «Он не может владеть собой, а потому, – думает женщина, – им легко можно будет управлять, – и набрасывает на него свою паутину; – бедная, она скоро станет его рабой.

Против посредников. – Кто хочет быть посредником между двумя решительными мыслителями, того самого придется считать посредственностью: он не в состоянии своим глазом воспринимать резко очерченные и одиноко стоящие фигуры; способность видеть повсюду равенство и сходство – признак слабости зрения.

Упрямство и верность. – Он из упрямства держится за вещь, вполне для него очевидную, – но называет это верностью.

Недостаток молчания. – Сам по себе он не производит никакого впечатления, вот почему он никогда не умолчал ни об одном своем хорошем поступке.

«Основательные». – Люди, туго приобретающие познание, думают, что медлительность – принадлежность знания.

Сны. – Во сне или ничего не видят, или видят что-нибудь интересное. Нужно научиться тому же и наяву: – или ничего, или интересное.

Опаснейшая точка зрения. – Все, что я теперь делаю или допускаю, *для грядущего* столь же важно, как самое важное событие прошлого: в этой бесконечной перспективе действий все поступки одинаково велики и ничтожны.

Утешение музыканта. – Твоя жизнь не дает отзвука в ушах людей: для них ты живешь немой жизнью, и вся нежность мелодии остается скрытой от них. Правда, ты не идешь по широкой улице с полковой музыкой, – но это еще не дает права людям говорить, что на твоем жизненном пути недостает музыки. «Кто имеет уши, тот слышит».

Дух и характер. – Один при помощи своего характера достигает высшей ступени из всех, ему доступных, а его дух остается далеко внизу; у другого наоборот.

Как влиять на толпу. – Разве не должен тот, кто хочет тронуть массу, разыграть самого себя? Не должен ли он перевести себя на нечто смешное и простое и в таком грубом и упрощенном виде *выложить* всю свою личность и содержание?

Деликатность. – «Он так деликатен!» – «Да, у него всегда с собой кусок для Цербера, и он так труслив, что всякого считает Цербером, и тебя, и меня, – вот его “деликатность”».

Независтливый. – Он совсем не завистлив, но в этом нет никакой заслуги, потому что он хочет завоевать страну, которой еще никто не обладал и которую едва ли кто видел.

Недовольный. – Одного недовольного человека достаточно, чтобы в целый дом внести продолжительное несчастье и мрак; будет чудом, если такого человека не окажется. Счастье давно уже не такая прилипчивая болезнь, – отчего?

У моря. – Я не стал бы строить себе дома (я счастлив тем, что не принадлежу к числу домовладельцев!). А если бы мне пришлось его строить, я, подобно некоторым римлянам, построил бы его у самого моря, и тогда я мог бы иметь много общих тайн с этим прекрасным гигантом.

Произведение и художник. – Этот художник честолюбив, – не более: его произведение, в конце концов, – только увеличительное стекло, которое он предлагает всякому, кто на него смотрит.

Suum cuique. – Жажда познания у меня велика: от вещи я беру только то, что мне нужно, – на все остальное я не претендую. Разве можно человеку быть вором или разбойником?

Происхождение «хорошего» и «дурного». – Совершенствуется только тот, кто умеет чувствовать: «это не хорошо».

Мысли и слова. – Люди не могут даже своих мыслей вполне выразить словами.

Похвала в выборе. – Художник выбирает свой материал: это его способ похвалить.

Математика. – Мы хотели бы ввести во все науки тонкость и точность математики, насколько возможно, не из уверенности, что этим путем мы лучше узнаем вещи, а для того, чтобы *твердо установить* наше человеческое отношение к вещам. Математика только средство для общего и конечного человеческого знания.

Привычка. – Привычка набивает нам руку в остроумии, но притупляет наше остроумие.

Книги. – Что изложено в одной книге, не раз встречается нам и во всех.

Вздох познающего. – «О, чрезмерная алчность моя! В душе этой нет места для самоотречения, – напротив, там живет другое требовательное «я», которое хотело бы воспользоваться многими лицами, как *своими* очами, *своими* руками, – то «я», которое удерживает за собой все пережитое и не хочет ничего потерять из того, что ему могло бы вообще принадлежать! О, это чрезмерное пламя моей алчности! О, если бы я мог снова родиться в сотнях существ!» – Кто незнаком по личному опыту с таким вздохом, тому неведомы страсти познающего.

Преступление. – Несмотря на то, что глубокомысленнейшие судьи ведьм и даже сами ведьмы были убеждены в существовании преступления колдовства, однако преступления не существовало. Так бывает и со всяким преступлением.

Непонятый страдалец. – Великие натуры страдают иначе, чем воображают это их почитатели: страдание им доставляют неблагородные, мелочные волнения, которые их посещают подчас, короче говоря, сомнения в своем собственном величии, – а не жертвы и мучения, которых требуют их цели. Пока Прометей имел сострадание к людям и жертвовал собой для них, он был счастлив и велик; но когда в нем пробуждалась зависть к Зевсу и к почету, который оказывали ему люди, – тогда он страдал!

Лучше остаться в долгу. – «Лучше остаться в долгу, чем платить такой монетой, на которой нет нашего изображения!» – так рассуждаем мы под давлением страсти к безграничному господству.

Всегда дома. – В один прекрасный день мы достигаем своей цели – и тогда гордо указываем на то, какой длинный путь мы прошли. В действительности мы не замечали этого пути. Мы оттого прошли так много, что в каждом месте воображали себя, *как дома.*

Против смущения. – Кто всегда глубоко занят, тот выше всякого смущения.

Подражатель. – А: «Как? Ты не желаешь последователей?» Б: «Я не желаю, чтобы после меня что-нибудь доделывали, – я хочу, чтобы всякий двигал что-нибудь дальше, – я именно это и делаю». А: «Следовательно?»

Из опыта. – Некоторые не знают, насколько они богаты, пока не убедятся на опыте, как богатые люди могут еще оказаться ворами по отношению к ним.

Отрицающие случайность. – Ни один победитель не верит в случай.

Из рая. – «Добро и зло – предубеждения Бога», – сказал змей.

Один на один. – Один всегда неправ, но с двумя начинается истина. – Один не может доказывать; а двоих уже нельзя опровергнуть.

Оригинальность. – Что такое оригинальность? Это способность *видеть* нечто такое, что еще не имеет имени, еще не названо, хотя у всех перед глазами. Как обыкновенно бывает с людьми, имя впервые делает вещь видимой для них. – Оригиналы по большей части в то же время и давали название вещам.

Sub specie aeterni. – А: «Ты все больше удаляешься от живых: скоро они совсем вычеркнут тебя из списков!» Б: «Это единственное средство участвовать в преимуществах мертвых». – А: «В каких преимуществах?» – Б: «Более не умирать».

Без тщеславия. – Если мы любим, нам хочется скрыть свои недостатки, – не из тщеславия, а для того, чтобы не страдало любимое существо. Да, любящий хотел бы казаться Богом, – и тоже не из тщеславия.

Что мы делаем. – То, что мы делаем, никогда не будет понято, а всегда будет только предметом похвалы или порицания.

Крайний скептицизм. – Что такое в конце концов человеческие истины? – Это *неопровержимые* человеческие заблуждения.

Где нужна жестокость. – Тот, кто обладает величием, относится с жестокостью к своим добродетелям и второстепенным соображениям.

При помощи великой цели. – Преследуя великую цель, можно стать выше справедливости, но не выше своих деяний и своих судей.

Что делает героем? – Чтобы стать героем, надо одновременно идти навстречу своему величайшему страданию и своей высшей надежде.

Во что ты веришь? – В то, что ценности всех вещей должны быть заново определены.

Что говорит твоя совесть? – «Ты должен быть тем, кто ты есть».

В чем для тебя величайшая опасность? – В сострадании.

Что ты любишь в других? – Свои надежды.

Кого ты называешь дурным? – Того, кто всегда хочет пристыдить других.

Что по твоему мнению самое человеческое? – У всякого вызвать стыд.

В чем залог достигнутой свободы? – Не стыдиться более самого себя.

Книга четвертая

SANCTUS JANUARIUS

О ты, который пламенным копьем
Разбил души моей обледенелой цепи,
Чтобы, пылая, к морю понеслась она
За высшею своей надеждой:
И вот свободно исполняя долг любви,
Час от часу становится она
здоровей и светлее,
И славословит чудеса твои,
Прекрасный Януарий!

Генуя, в январе 1882 г.

К новому году. – Я все еще живу, я все еще думаю: я еще должен жить, ибо я еще должен думать. *Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum.* Сегодня каждому позволяется высказать свое желание, свою любимейшую мысль: выскажу и я, чего мне хотелось сегодня добиться от самого себя, и выскажу ту мысль, которая в этом году первой запала мне на душу, – мысль, которая должна быть основой и усладой всей моей дальнейшей жизни! Мне хотелось бы еще больше приучить себя видеть в необходимости красоту, чтобы стать одним из тех, которые делают вещи прекрасными. *Amor fati:* пусть чувство это будет знакомо и моей любви! Я не хочу вести борьбу с явлениями отвратительными. Я не хочу жаловаться даже на своих обвинителей. *Не обращать внимание* – вот акт, который должен быть единственным проявлением моего отрицания, а во всем остальном я безусловно всегда хочу отвечать согласием.

Мысль о смерти. – Для меня представляет меланхолическое счастье жить среди этой сутолоки улиц, потребности, голосов: сколько наслаждения, нетерпения, стремлений, сколько жажды жизни и опьянения жизнью видно в каждый момент! Но все эти шумящие, живущие, жаждущие жизни скоро стихнут! За спиной каждого стоит его тень, его темный спутник! Все напоминает последний момент перед отплытием корабля в путешествие: людям хочется сказать друг другу больше, чем когда-либо; время летит; океан и его пустынная тишина нетерпеливо ждут своей жертвы, – ждут жадно и уверенно! И все, все думают, что то, что было до сих пор, – ничто или очень мало, а близкое будущее – все: оттого-то эта торопливость, этот шум, это самозаглушение и самообман! Всякий хотел бы быть первым в этом будущем, – но только смерть и тишина могилы единственно ясное и всем общее из этого будущего! Как странно, что эта единственная очевидность и общность почти совсем не беспокоят людей и они *менее всего* чувствуют свое братство в смерти! Я счастлив, когда вижу, что люди вовсе не хотят думать о смерти! Я страстно желаю, чтобы им в тысячу раз была *дороже* мысль о жизни.

Звездная дружба. – Мы были друзьями и стали чужими. Но это именно так, и не будем скрываться и прятаться, как будто мы стыдимся этого. Мы – два корабля, у каждого своя цель и своя дорога; мы можем встретиться и вместе ликовать, как мы это сделали, – и тогда стоят смелые корабли в одной гавани и под одним солнцем так спокойно, что может показаться, будто они уже достигли цели и цель у них была общая. Но потом могучая сила наших стремлений вновь разлучила нас, направила в различные моря и под другое солнце, и, может быть, мы никогда не увидимся более, – а, может быть, и увидимся, но не признаем друг друга: различные моря и страны изменят нас! Мы должны стать чужими, этот закон *сильнее* нас: и потому-то нам следует быть более достойными! Потому-то мысль о нашей прежней дружбе должна быть

для нас еще более священной! Вероятно, существуют огромные невидимые кривые линии и звездные пути, которые *охватывают* и наши столь различные дороги и цели, как ничтожные тропинки, – попробуем подняться до такой мысли! Но наша жизнь слишком коротка, и сила нашего зрения слишком недостаточна, чтобы мы могли быть более, чем друзьями в смысле этой высокой возможности. – Будем же *верить* в нашу звездную дружбу, хотя бы нам и пришлось на земле быть врагами.

Архитектура познающего. – Следует хоть однажды, и вероятно только однажды подумать, что прежде всего недостает нашим большим городам: тихих и широких, просторных мест для размышления, мест с высокими и длинными залами, защищающими от дурной или слишком солнечной погоды, куда бы не доносился шум вагонов и крики и где утонченная благопристойность не позволяла бы даже священникам громкой молитвы: зданий и учреждений, которые, как целое, служили бы выражением величия самосознания и уединения. Миновало время, когда церковь обладала монополией мысли, когда *vita contemplativa* должна была быть прежде всего *vita religiosa:* все, что воздвигла церковь, выражает именно эту мысль. Я не знаю, как могли бы мы удовлетвориться ее сооружениями, если бы они даже были освобождены от своего церковного назначения: эти здания говорят слишком патетическим и робким языком, как жилища Бога и блестящие места неземных отношений, для того, чтобы мы, неверующие, могли отдаться здесь *своим мыслям.* Мы хотим *сами* превратиться в камень и растение, мы хотим гулять в *самих себе,* когда будем ходить по этим аллеям и садам.

Умение идти до конца. – Таланты первой степени отличаются тем, что они умеют идти до конца и в великом и малом, будь то конец мелодии или мысли, пятый акт трагедии или государственной деятельности. Выдающиеся люди второй степени всегда беспокоятся за конец и не опускаются с такой гордой и покойной соразмерностью в море, как например, скала Portofino, там, где генуэзская бухта кончает свою мелодию.

Походка. – Есть манеры духа, в которых даже великие умы обнаруживают свое плебейское или полуплебейское происхождение: – ход и течение их мыслей выдают их; у них нет походки. Так Наполеон, к своему глубокому огорчению, не мог идти царской, величественной походкой, где это требовалось, как при процессиях коронования, и т. п.: он и тут всегда являлся только предводителем колонны, – гордый и спешащий, он сам сознавал это. Смешно смотреть на тех писателей, которые, как сборчатым покрывалом, окружают себя шумными периодами: они хотят этим закрыть свои *ноги.*

Предтечи. – Я приветствую всякий признак наступления более мужественного, более воинственного времени, которое вновь заставит людей почитать храбрость! Необходимо ведь подготовить путь еще более высокой эпохе и собрать силы, которые будут еще нужны, когда явится героизм знания и *поведет войну за* мысль и ее последствия. Но тут нужна подготовительная работа многих людей, которые, конечно, не могут явиться из ничего – а тем более из песка и тины современной цивилизации и современного образования: нужны люди, которые умеют молча, одиноко, замкнуто быть довольными и неуклонными в невидимой деятельности; люди, которые по внутренней склонности ищут во всех вещах то, что в них нужно *одолеть;* люди, которым столь же свойственны ясность, терпение, прямота и презрение к великому тщеславию, сколько и великодушие в победе и снисхождение к мелкому тщеславию побежденных; люди с острым и свободным взглядом на всех победителей и на значение случая во всякой победе и славе, люди с своими праздниками и буднями, с собственными горестями, привычные и ясные в приказании и столь же готовые, когда нужно, повиноваться, и в том и в другом случае одинаково гордые, одинаково служащие своему собственному делу; люди более испытанные в опасности, более плодотворные, более счастливые люди! Ибо – поверьте мне, – тайна довести жизнь до высшей ее производительности и взять от нее maximum наслаждения – это *жить в опасности!* Воздвигайте ваши города на Везувии! Отправляйте ваши корабли в неисследованные моря! Живите в войне с себе подобными и с самими собой! Будьте разбойниками и

завоевателями, пока вы не будете господами и владетелями, вы, познающие! Скоро минет то время, когда вам можно было, подобно трусливым оленям, жить, скрываясь в лесах! Знание, наконец, протянет руки к тому, что ему подлежит: – оно захочет *господствовать* и *обладать,* и вы с ним!

Вера в себя. – Немногие люди вообще имеют веру в себя; – и из этих немногих одни пользуются ей, как полезным ослеплением или как некоторым затемнением своего ума – (что бы они увидели, если бы могли заглянуть *в глубину* самих себя!), другие стараются прежде заслужить ее: все, что они делают хорошего, дельного, великого, служит для них прежде всего аргументом против скептика, который живет в них: *его* нужно убедить или склонить, а для этого нужен чуть ли не гений. Это – люди с великой неудовлетворенностью собой.

Excelsior. – «Ты никогда не будешь больше молиться, никогда – поклоняться, никогда больше не успокоишься в бесконечной уверенности, – ты не захочешь снять покрывала с своих мыслей и остановиться перед последней мудростью, последним благом, последним могуществом – у тебя нет больше постоянного стража и друга для твоих семи уединений, – ты живешь, невзирая на вершину, которая несет снег на главе и огонь в сердце, – нет больше для тебя награждающего, нет, наконец, совершенствующего, – нет больше смысла в том, что совершается, любви в том, что делается по отношению к тебе, – для твоего сердца нет более места успокоения, где бы оно могло найти и не искать более, ты отвергнешь когда-нибудь последний мир, ты хочешь вечной смены войны и мира: человек отрицания, от всего ли ты хочешь отречься? Кто даст тебе силу для этого? Еще никто не обладал такой силой!» – Море заставили отступить, хотя оно и боролось когда-то, и там, где оно прежде плескалось, воздвигли плотину: с тех пор это море поднимается все выше. Может быть, именно то отрицание даст и нам силы, с которыми можно перенести самое отрицание; может быть, человек оттуда только начнет подниматься все выше и выше, где он не будет более *изливаться* в божество.

Между строк. – Здесь обитают надежды; но что вы увидите и услышите от них, если вы в своей собственной душе не переживали блеска и жара и утренней зари? Я могу только вспоминать – более я ничего не могу! Камни начинают двигаться, звери становятся людьми – этого ли хотите вы от меня? Ах, если вы еще камни и звери, поищите себе своего Орфея!

Отрада в слепоте. – «Мои мысли, – говорил странник своей тени, – должны показать мне, где я стою: но они не должны показывать, *куда я иду.* Я люблю неизвестность в будущем и не хочу погибать от нетерпения и предвкушения обещанного».

Возвышенные настроения. – Мне кажется, что у большинства людей не хватает веры в возвышенные настроения, хотя бы на четверть часа, или даже на минуту. Исключение представляют немногие, кто на опыте узнал большую продолжительность возвышенных чувств. Но быть человеком высоких чувств, воплощением единого великого настроения – это было до сих пор только мечтой и восхитительной возможностью; история еще не дала нам достаточно ясного образца в этом отношении. Тем не менее она создаст когда-нибудь и таких людей, – тогда, когда появится и укрепится известная сумма благоприятных условий, каких не может теперь быть даже в самом счастливом случае. Быть может, для этих будущих душ будет обычным состоянием то, что до сих пор лишь изредка, как исключение, наполняло трепетом нас: постоянное движение между высоким и глубоким и чувство высокого и глубокого, как бы постоянное восхождение на ступени и в то же время пребывание на облаках.

На корабли! – Если вспомнить, как на каждого человека действует общее философское оправдание его образа жизни и мысли, – оправдание, в котором он видит согревающее, благословляющее, оплодотворяющее, ему только светящее солнце; солнце, независимое от похвалы и порицания, самодовольное, широкое, щедрое на счастье и благоволение, незаметно превращающее злое в доброе; солнце, заставляющее расцветать и созревать все силы и глохнуть мелкие и крупные плевелы скорби и неприятностей, – если принять все это в расчет, то в конце концов вы страстно воскликнете: о, если бы явилось еще много таких новых солнц! И злой, и

несчастный, и человек-исключение должны иметь свою философию, свое доброе право, свой солнечный свет! Не сострадание здесь нужно! – Пора нам разучиться этим причудам великодушия, хотя мы на них до сих пор учились и выросли, – мы не можем предложить им исповедующих, заклинающих и прощающих грехи! Нужна новая *справедливость!* И новый лозунг! И новые философы! И моральная земля кругла! И мораль имеет своих антиподов! И антиподы имеют свое право на существование! Нужно открыть еще другой мир, – и даже более, чем один мир! На корабли, о философы!

Одно только нужно. – Обработать в известном стиле свой характер – одно из великих и редких искусств! Только тот обладает им, у кого не ускользает от внимания ни одна из сильных и слабых сторон его природы и кто прилаживает и отделывает все свойства своего характера до тех пор, пока они не будут являться выразителями искусства и разума и пока даже самые слабости не приобретут известной привлекательности. Здесь слишком много одного, там недостает другого, а исправление всего этого требует продолжительной работы, которая должна происходить изо дня в день. Тут надо скрыть какой-нибудь недостаток, который никак не устранить, там его истолковывать, как нечто возвышенное. Для дальнозорких приходится сохранить и извлечь много шаткого, не подходящего ни под какую форму, что служило бы намеком на ширь неизмеримую. Наконец, когда работа закончена, выясняется, насколько она находилась под давлением одного и того же вкуса, который властно накладывал свой отпечаток как на крупные стороны характера, так и на мелкие. Был ли вкус хорошим или плохим, этому придается меньше значения, чем это думают, – достаточно того, чтобы налицо был единый вкус! И только сильные, властолюбивые натуры в этом принуждении, в этой неволе, в этом процессе отделки самих себя по своему собственному закону будут вкушать свою самую утонченную радость; страсть их могучей воли облегчается при взгляде на всякую выдержанную в известном стиле природу, на всякую побежденную и подчиненную природу; даже в тех случаях, когда им приходится возводить дворцы и разбивать сады, они и тогда стараются не дать природе свободы. – Напротив, характеры слабые, не владеющие собой, ненавидят те узы, которые налагает стиль. Они чувствуют, что под давлением этого ужасного принуждения они становятся *пошляками,* что, служа чему-нибудь, они сами становятся рабами, а потому им ненавистно служить. Люди, обладающие таким духом, – а между ними встречаются индивиды, стоящие в первых рядах человечества, – стремятся представить и себя, и окружающую их обстановку *свободной* природой – дикой, произвольной, фантастической, беспорядочной, удивительной: и в этом их благо, ибо только таким путем они и могут сделать себе добро! Ибо одно только и нужно, чтобы человек был сам доволен собою, каким бы искусством или вымыслом он этого ни *достиг:* ведь только при таком условии и возможно выносить присутствие человека! Всякий недовольный собой готов мстить за это, и мы, остальные, становимся его жертвами, хотя бы уже потому, что мы должны всегда переносить его неприятный вид, а это делает нас самих дурными и мрачными людьми.

Генуя. – Я долго смотрел на этот город, на его виллы и сады, на обширную панораму, охватывающую его высоты и склоны, и должен был в конце концов сказать: да, я вижу *призраки* минувших поколений, эти отважные, самовластные люди повсюду наложили отпечаток своего духа. Они *отжили,* но они хотели продолжить свое существование дольше – это говорят они мне своими постройками, возведенными и украшенными на целые столетия, а не на текущий только час: для жизни они совершали только благое, себе же часто могли причинять зло. И часто я представляю себе, как этот строитель бросает свой взгляд на все эти ближние и дальние постройки, на город, море, линию гор, как в этом взгляде сказывалась вся сила и властность его натуры: все это он хочет подчинить *своему плану* и сделать в конце концов своею *собственностью.* Вся страна покрыта доказательствами того великолепного ненасытимого эгоизма, который сказывался в этой страсти к приобретению, к добыче; всю даль и ширь эти люди считали для себя безграничной и в своей жажде к новому воздвигали новый мир рядом со старым; вот

почему даже у себя, на родине, они восставали друг против друга, находили способ выразить свое превосходство и положить между собой и своим соседом все бесконечное разнообразие своей личности. Каждый хотел овладеть своей родиной только для себя, побеждая ее своей архитектонической мыслью и в то же время пересоздавая ее так, чтобы она оттеняла то роскошное зрелище, которое представляло его жилище. На севере, когда вы смотрите на городские постройки, то вам импонирует закон и всеобщая готовность послушно подчиняться предписаниям этого закона; и невольно наталкиваешься на мысль, что все эти строители должны были подходить под один духовный масштаб. Здесь же в каждом углу ты находишь человека самостоятельного самого по себе, который знаком с морем, приключениями и востоком, человека, на которого закон и сосед его навевают неприятное чувство скуки, у которого во взоре нет и признака зависти, когда он смотрит на то, что было построено, основано раньше.

Он мог бы, при помощи своей изумительной фантазии, все это, по крайней мере, в мыслях, еще раз вновь основать, на все наложить свою руку, во все внести свои смысл, – хотя бы вся работа его просуществовала только один миг того солнечного вечера, когда его ненасытимая и меланхолическая душа чувствует некоторое удовлетворение, и все окружающее должно казаться ему его собственностью, а не чем-то чуждым.

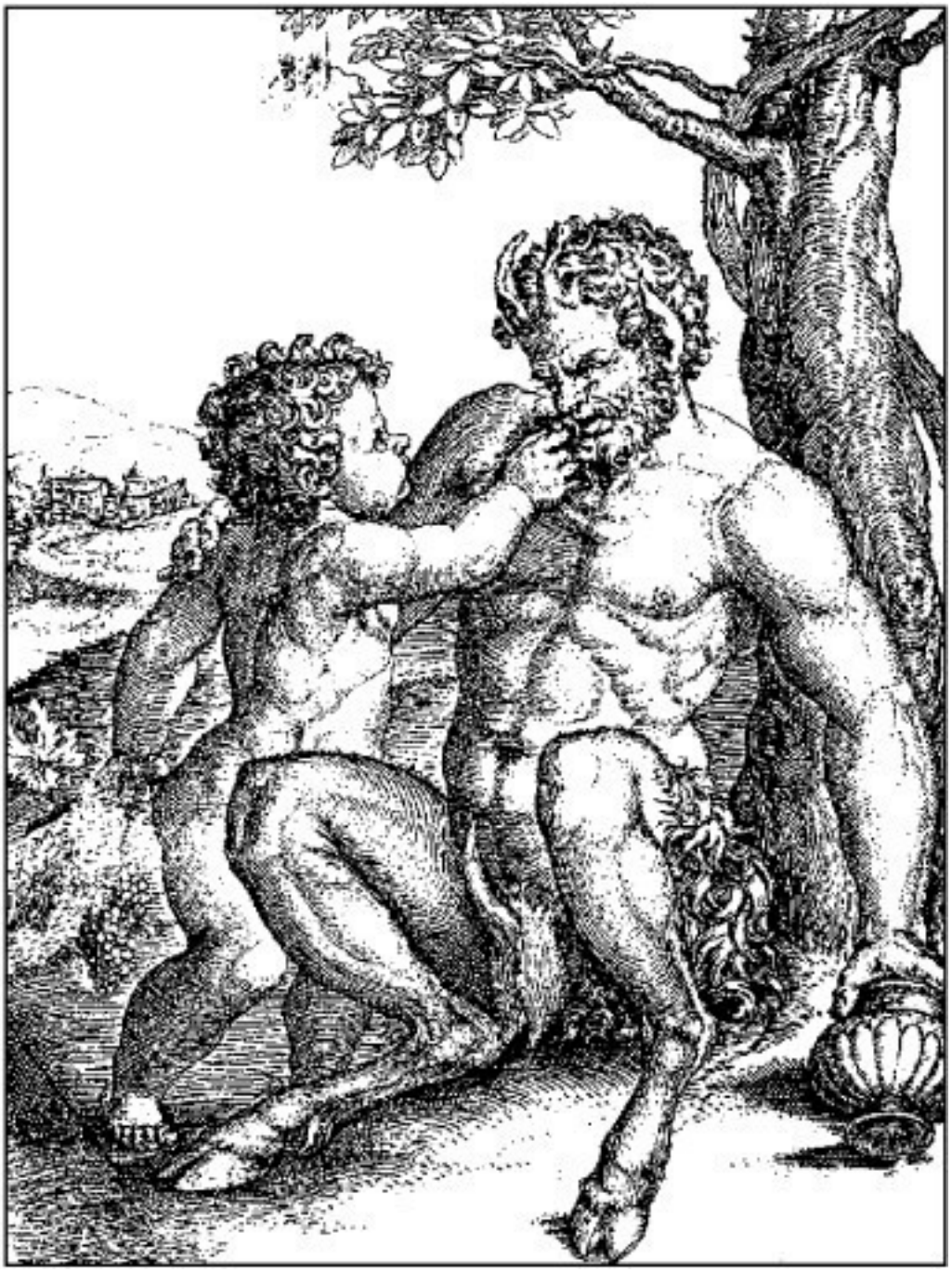
Проповедникам морали. – Я не хочу проводить в жизнь никакой морали, но проповедникам ее я подам следующий совет: Если вы хотите, чтобы лучшие предметы и состояния находились в полном почете, то продолжайте держать их у себя на устах, как это вы делали до сих пор! Выставьте их в своей моральной системе на самый вид и с утра до позднего вечера говорите о счастье, добродетели, о покое души, о справедливости и о постоянной награде. По мере того, как вы это будете делать, все эти прекрасные вещи приобретут популярность и шумливое одобрение толпы. Но в то же время вы лишите их золота и даже более: все золото в них превратится в свинец. Поистине, вы проявите тогда искусство, которое дает результаты, обратные результатам алхимии: вы сумеете обесценить дорогие предметы. Попробуйте теперь последовать другому рецепту для того, чтобы не получать, как это было до сих пор, обратных результатов с тем, к чему вы стремитесь. Пустите *ложь* о тех прекрасных вещах, постарайтесь сделать так, чтобы чернь не могла им дать своего одобрения, закройте им возможность к легкому обращению, сделайте их скрытым достоянием отдельных душ, говорите: *мораль должна представлять собой нечто запретное.* Быть может, вы привлечете тогда известный род людей к этим – по-моему, героическим – предметам, которым должно соответствовать и нечто исключительное. Но тогда в них должно быть и нечто страшное, а не отвратительное, как это было до сих пор!

Наш воздух. – Нам прекрасно известно следующее: всякий, кто только мимоходом бросит взгляд на науку, как это делают женщины и, к сожалению, многие художники, – найдет, что вся та строгость, с которой она исполняет возложенные на нее обязанности, вся та неумолимая стойкость, которую она проявляет, как в большом, так и в малом, вся та быстрота, с которой она взвешивает, судит и приговаривает, – заключает в себе нечто головокружительное и страшное. Именно страшно смотреть, что самые тяжелые требования, при наилучшем исполнении, не вызывают ни похвалы, ни одобрения, а скорее высказывают громко только выговоры и порицания, как у солдат. В самом деле, хорошее исполнение здесь считается правилом, дурное – исключением, а у правила ведь всегда бывают замкнутые уста. Эта «строгость науки» совершенно так же запугивает непосвященного, как утонченные формы обращения в отборном обществе. Но тот, кто привыкнет к ним, нигде уже больше не захочет жить, как в этой светлой, прозрачной, здоровой, сильно наэлектризованной атмосфере, среди этого *мужского* воздуха. Ему повсюду будет мало воздуха, повсюду недостаточно чисто; он будет подозревать, что самое лучшее искусство его *там* никому не принесет настоящей пользы: что, благодаря своему непониманию, он полжизни пропустил сквозь пальцы, что беспрерывно требуется так много осторожности, скрытности и сдержанности – и что все это только большая и бесполезная

потеря силы! Но он чувствует в *этом* сильном и ясном элементе свою силу: здесь он может летать! Зачем спускаться ему в те мутные воды, где приходится плавать и барахтаться и испортить окраску своих крыльев! – Нет! Нам слишком трудно жить: что готовы были бы дать мы – соперники светового луча – для того, чтобы быть рожденными для воздуха, для чистого воздуха и чтобы лететь, подобно этому лучу, на пылинках эфира, но только не прочь от *солнца,* а прямо к нему! Но это для нас немыслимо, а потому мы удовлетворимся единственно для нас возможным: нести свет земле, «быть светочем» земли! И вот для этого нужны нам наши крылья, наше проворство и наша суровость, вот ради этого мы мужественны и страшны, как огонь. О, если бы боялись нас те, кто не умеет воспользоваться ни нашим светом, ни нашим теплом!

Клеветникам природы. – Мне всегда неприятны те люди, у которых всякая естественная склонность становится тотчас же болезнью, уродством и даже чем-то позорным, – *они-то* нас и наводят на мысль, что человек обладает только дурными склонностями и потребностями; *они-то* и являются причиной нашей великой несправедливости по отношению к нашей природе, по отношению ко всей природе! А между тем существует немало людей, которые *должны* были бы свободно и спокойно отдаваться своим потребностям; но они не делают этого из страха пред тем измышлением, которое говорит, что природа *в своей сущности* представляет нечто *злое!* Вот почему мы встречаем среди людей так мало благородства, которое всегда должно обладать следующими признаками: не питать к себе никакого страха, не ждать от себя ничего постыдного и лететь без размышления туда, куда нас, свободных птиц, гонит потребность наша! И куда бы мы тогда ни прилетели, мы будем на свободе, мы будем утопать в солнечном свете.

Привычка на короткий срок. – Я люблю те привычки, которые устанавливаются на короткий срок, и считаю их неоценимым средством для того, чтобы ознакомить человека со многими предметами и состояниями и испить до дна всю сладость и горечь их: моя природа вполне приспособлена к таким коротеньким привычкам даже в тех потребностях, которые предъявляются ей физическим здоровьем, да вообще во всем, куда только может проникнуть мой глаз: от самых низших до высших моих качеств. Я всегда думаю, что именно эта особенность моей природы и сохранит меня на продолжительное время довольным, – ведь и короткая привычка обладает верой в страсти, верой в вечность; я нашел и познал ее, и в этом люди должны завидовать мне. В полдень или вечером нисходит на меня глубокое довольство собою, и мне уже нет охоты гнаться за чем-нибудь иным, ибо мне тогда пришлось бы сравнивать, презирать, ненавидеть. Но вот наступила пора, и прекрасный предмет отделяется от меня, не внушая мне отвращения, – но спокойный, столь же насыщенный мной, как и я им; мы оба довольны друг другом и протягиваем друг другу руки при расставаньи.



А у дверей меня ждет уже нечто новое, и вот я снова верю, что эта новинка и будет правой, окончательно правой. Все это повторяется у меня относительно пищи, мыслей, знакомств, городов, поэзии, музыки, ученых произведений, распорядка дня, образа жизни. – Напротив, я ненавижу те привычки, которые затягиваются на продолжительное время. Мне кажется, что ко мне приближается тиран, и воздух, которым я живу, становится гуще всякий раз когда обстоятельства так складываются, что привычки, связывающие меня на большой срок, вырастают, по-видимому, в силу необходимости: напр., когда приходится служить, находиться долго в общении с одними и теми же людьми, постоянно жить в одном месте, сохранять одно и то же состояние здоровья. Да, в самой глубине души я всегда был признателен всем своим немощам и болезням, всему, в чем сказывалось мое несовершенство: ведь только благодаря им у меня остались сотни задних дверей, через которые я могу скрыться от затяжных привычек. – Но, конечно, невыносимой, собственно даже ужасной, показалась бы мне жизнь, лишенная всяких

привычек, жизнь, которая представляла бы собою беспрерывную импровизацию. Это была бы для меня не жизнь, а ссылка, Сибирь.

Слава постоянного человека. – Обладать славою постоянного человека в прежнее время было чрезвычайно полезно. Да и всюду, где только общество находится под властью стадных инстинктов, и теперь еще для отдельных лиц чрезвычайно целесообразно выдавать свой характер и свои свойства за нечто неизменное, – даже в том случае, если они в сущности таким постоянством и не обладают. «На него можно положиться, он всегда один и тот же» – вот высшая похвала, которую может высказать общество в любом опасном положении. Общество чувствует себя удовлетворенным, когда имеет преданное, готовое в каждый момент орудие в добродетели одного, в честолюбии другого, в мыслях и страстях третьего. Оно оказывает высшую почесть этим *служебным натурам,* этой верности, неизменности во взглядах, стремлениях и даже пороках. Такая оценка, которая процветает повсюду, где только имеет место общепринятая нравственность, воспитывает «характеры» и выставляет в дурном свете всякую попытку к переменам и к усвоению новых взглядов и привычек. Но какие бы выгоды ни представлял такой образ мышления, *для познания* он является самым дурным способом обыкновенного суждения, ибо прекрасное стремление познающего смело высказываться *против* всякого своего прежнего мнения и недоверчиво относиться ко всему, что у нас стремится достигнуть *прочности,* – считается здесь предосудительным и порицается. Настроение познающего ввиду того, что оно находится в противоречии с требованиями постоянства, *не в чести* у общества, а взгляды окаменелые пользуются особым почетом: и вот, под властью подобной оценки, мы и должны жить в настоящее время! Как тяжело живется, когда приходится чувствовать против себя и вокруг себя суждения многих тысячелетий! И в течение многих веков познание, вероятно, не обладало покойной совестью, и в истории людей, великих духом, должно быть, много презрения к себе и тайного горя.

Умение огрызаться. – Всякий знает теперь, что умение сдерживать себя, когда вам противоречат, является высоким признаком культуры. Иным даже известно, что более развитые люди желают услышать что-нибудь такое, что противоречило бы их взглядам, и вызывают такое противоречие для того, чтобы получить прямое указание на те неправильности, которые до сих пор от них ускользали. Но умение огрызаться, способность сохранять спокойную совесть в то время, как вы полны неприязни против обычаев, преданий, всего освященного, – еще выше и собственно представляет величие, новшество, чудо нашей культуры, шаг из всех шагов освобожденного духа: кому это ведомо?

Вздох. – Мимоходом уловил я эту мысль, и быстро ухватился за первые попавшиеся, хотя и неудачные, слова, чтобы закрепить ее для того, чтобы она опять у меня не улетучилась. И замерла она у нас при этих скудных словах, и висит, и качается в них, – и, глядя на нее, я не понимаю, как удалось мне поймать эту птицу?

Что следует нам перенять у художников. – Какими средствами мы располагаем для того, чтобы сделать предметы прекрасными, привлекательными, желанными, если в действительности они не таковы? – А таковыми они, по-моему, никогда и не бывают! Тут кое-чему мы можем поучиться у врачей, когда они, напр., разводят горькое лекарство водой или прибавляют в микстуру вина и сахара; но еще больше в этом отношении дают художники, которые собственно беспрерывно тем и заняты, чтобы вырабатывать подобные приемы. Удалиться от предметов на такое расстояние, при котором многое в них становится недоступно нашему глазу или приходится усиленно присматриваться для того, чтобы их можно было все-таки видеть; смотреть на предметы под известным углом, или так поставить их, чтобы они доступны были нашему зрению лишь отчасти и только в перспективе; рассматривать их через цветные очки или в свете утренней зари; завернуть их в полупрозрачную оболочку. Всему этому мы должны научиться у художников, а во всем остальном быть мудрее их. Ибо у них тонкого чутья как раз

не хватает обыкновенно там, где прекращается искусство и начинается жизнь; *мы* же хотим быть поэтами своей жизни и прежде всего в самых мелких и повседневных явлениях ее.

Заблуждение натур умозрительных. – Высшие люди отличаются от низших тем, что они невыразимо больше и видят, и слышат, достигая этого при помощи мыслительного процесса; – тем же самым отличается человек от животного, а высшие животные от низших. Мир полнее всегда для того, кто растет в высь человечества; он чаще клюет на те приманки, которые забрасывает ему жизнь; он становится доступен все большему и большему количеству возбуждений; а вместе с тем возрастает и число его радостей, и огорчений, – чем развитее человек, тем он счастливее и несчастнее в одно и то же время. Но неизбежным спутником его при этом является заблуждение: он мнит себя *слушателем* и *зрителем;* перед которым разыгрывается великая пьеса, и пьеса эта – жизнь. Он считает свою природу *умозрительной* и не замечает того, что сам-то он собственно также творец жизни, – что он, конечно, очень отличается от *актера* этой драмы, так называемого делового человека, но еще больше у него различия с простым наблюдателем, зевакой *перед* сценой. – Как творцу, ему, конечно, свойственна *vis contemplativa* и он умеет оглядываться на то, что он делал, но он обладает в то же время и прежде всего *vis creativa,* которой *недостает* человеку деловому, на что указывает и самый вид его, и его чрезмерная доверчивость. Мы же, люди, способные ощущать свой мыслительные процессы, вносим постоянно в действительность нечто такое, чего еще там не было: нам обязан своим ростом мир оценки, красок, веса, перспективы, шкалы, утверждения и отрицания. Все наши мечты мало-помалу разучиваются, усваиваются, переносятся в кровь и в плоть, и в самую повседневную жизнь так называемыми людьми практики (актерами, как мы их назвали). Всякая *оценка* какого бы то ни было предмета явилась не сама по себе, – ибо природа не знает ценностей, – а обязана своим появлением нам, придавшим этой вещи известную ценность! Мы создали мир, *который хоть сколько-нибудь достоин человека!* – Но нам остается этот факт прямо-таки неизвестным, и если нам удается уловить эту мысль на одно мгновение, то мы тотчас же снова забываем о ней: мы несправедливо судим о лучшей нашей силе и даем себе, умозрителям, слишком низкую оценку. *Гордость и счастье наше* могли бы быть выше того, чем мы сейчас обладаем в этом отношении.

Опасность для человека, отличающегося особым счастьем. – Иметь тонкие чувства и тонкий вкус; смотреть на избранные и лучшие стороны духа как на что-то привычное и легко доступное; наслаждаться проявлениями сильной, отважной, неустрашимой души; твердо и спокойно совершать свой жизненный путь, идя всегда с готовностью на всякую крайность, как на праздник, и чувствуя жажду к неоткрытым мирам и морям, людям и богам; прислушиваться ко всякой веселой музыке, как будто бы там храбрые мужи, солдаты, моряки предаются короткому отдыху и наслаждению, и в глубочайшем наслаждении моментом чувствовать себя подавленным слезами и грустью счастливого человека: кто не хотел бы, чтобы все это было *его* достоянием, кто не хотел бы всего этого пережить? Это было бы *счастье Гомерса.* Состоянием того человека, который открыл грекам их богов, – нет, себе самому *своих* богов! Но не скрывайте от себя: вместе со счастьем Гомера, в душе появляется также существо, наиболее склонное к страданиям из всех, когда-либо бывших под нашим солнцем! И только за такую цену можно приобрести самую дорогую из всех раковин, которые когда-либо выбрасывались волнами бытия на берег! Всякий обладатель ею становится постоянно все восприимчивее и восприимчивее к боли и, наконец, достигает в этом отношении крайних пределов: небольшого уныния и брезгливости достаточно было для того, чтобы отбить у Гомера всякую охоту к жизни. Он не мог отгадать глуповатой загадочки, заданной ему молодым рыбаком! Да, небольшие загадки представляют опасность для самых счастливых людей!

Два счастливца. – Правда, один из них, несмотря на свои молодые годы, умеет *импровизировать жизнь* и приводит в изумление даже самого тонкого наблюдателя: именно, кажется, что, даже в самой опасной игре, он не сделает никогда ни малейшего промаха. Невольно прихо-

дит на ум импровизатор, которому слушатель готов приписать божественную *непогрешимость* рук, хотя эти самые руки то тут то там делают такие же промахи, как и у всякого другого смертного. Но эти руки оказываются настолько привычными и находчивыми, что в мгновение ока приспособляют к теме тот случайный звук, который был вызван к жизни невольным и быстрым движением пальца или мимолетным настроением, и таким приемом вкладывают прекрасный смысл и душу в случайное явление. – Но есть еще человек совершенно особого рода: ему решительно ничего не удается из задуманного и намеченного. Случайное, сердечное влечение уже привело его раз к бездне и чуть не погубило совсем; и если он избежал на этот раз гибели, то во всяком случае обошлось ему это не даром. Но думаете ли вы, что все это делает его несчастным? Он далеко не считает свои желания и свои планы столь важными. «Если мне не удается одно, – говорит он себе, – то, быть может, удастся другое, и в общем я не знаю, не следует ли мне чувствовать больше благодарности к своим неудачам, чем к какой-нибудь удаче? Разве я для того создан, чтобы быть упрямым и носить рога скота? То, что представляет ценность и задачу моей жизни, лежит где-то в другом месте; моя гордость и мое убожество также не здесь. Я больше ознакомился с жизнью именно благодаря тому, что мне часто грозила опасность потерять ее, и именно потому-то у меня и больше жизни, чем у вас, всех остальных!»

Что сделано, то в сторону. – Я, в сущности, против всякой морали, которая говорит: «Не делай того-то! Откажись! Пересиль себя!» – Напротив того, я вполне сочувствую всякой морали, которая побуждает меня сделать что-нибудь и снова опять делать и делать, с утра до вечера мечтать и думать только о том, как *хорошо* мне было бы сделать это! Кто живет подобной жизнью, от того одно за другим отпадает все, что не имеет отношения к этой жизни: без ненависти и протеста он смотрит, как сегодня от него отходит одно, завтра другое, подобно пожелтевшим листьям, которые срываются с дерева при каждом порыве ветерка: или он даже и не замечает, что совершается подобное отпадение, так строго устремлен его взор к его цели и вообще вперед, а не назад или куда-нибудь в сторону. «Деятельность наша указывает на то, что нам следует оставить: что сделано, то в сторону» – вот положение, которое мне вполне по душе, которое представляет мое *placitum.* Но я не хочу с открытыми глазами стремиться к своему обеднению, я не желал бы всех отрицательных добродетелей, сущностью которых является отрицание и самоотречение.

Самообладание. – Все почитатели такой морали, которая прежде всего и строже всего приказывает человеку держать себя в руках, приносят с собой особого рода болезнь: именно человек, находящийся под властью такой морали, постоянно чувствует известное раздражение против всякого естественного движения, против всякой естественной склонности; получается что-то вроде зуда. Все, что его может в этом направлении толкать, привлекать, восхищать, поощрять, – все подобные внутренние и внешние импульсы, – всегда кажутся этому раздражительному человеку опасными для его самообладания: он не должен больше доверять никакому инстинкту, ни одному свободному взмаху крыльев, но находиться беспрерывно в состоянии самообороны, быть настороже против самого себя, недоверчиво вглядываться своим острым взором, быть вечным сторожем своей крепости, которую он для себя сделал. Да! вместе с тем он может быть и *белик!* Но насколько невыносимым он становится для других, как тяжело ему переносить самого себя, как скудна теперь его жизнь всякими прекрасными случайностями души! Да и всеми дальнейшими *поучениями!* Ведь тому, кто думает заимствовать от чуждых ему элементов, а не от самого себя, придется рано ли, поздно ли погибнуть.

Стоик и епикуреец. – Епикуреец подыскивает себе такие положения, таких лиц и даже такие события, которые подходили бы к его чрезмерной интеллектуальной раздражительности, а от остального, – т. е. большинства явлений и предметов нашего мира, – он отказывается ввиду того, что остаток этот будет для него слишком сильной и слишком тяжелой пищей. Стоик, напротив, занимается глотанием камней и червей, битых стекол и скорпионов и не чувствует к этим упражнениям никакого отвращения; желудок его, наконец, становится совершенно рав-

нодушным ко всему, что только случай заблагорассудит в него всыпать. Он напоминает ассауа, одну арабскую секту, которую ученые наблюдали в Алжире, и, подобно этим нечувствительным людям, охотно показывает свою нечувствительность перед публикой, в которой епикуреец совершенно не нуждается: – у него ведь свой «сад»! Стоицизм можно порекомендовать людям, над которыми судьба проделывает самые неожиданные штуки, для тех, кто живет в сильное время и ни в чем не зависит от людей непостоянных и неустойчивых. Но кто до известной степени не обращает внимания на то, что судьба позволяет ему выткать *только одну длинную нить,* тот охотно отдается эпикуреизму; все люди, способные к духовной работе, поступали так до сих пор! Для них самой страшной потерей было бы лишиться своей тонкой раздражимости и променять ее на толстую кожу стоиков, у которых она, как у ежа, покрыта иглами.

В защиту критики. – В настоящее время заблуждением тебе кажется нечто такое, что раньше ты любил выставлять как истину или считал правдоподобным: ты отталкиваешь от себя эти взгляды и думаешь, что твой разум одержал в этом отношении победу. Но, быть может, то заблуждение, которого ты придерживался, когда был иным человеком – а ведь изменяешься ты постоянно, – было так же необходимо для тебя, как и все твои теперешние истины; быть может, оно так же имело значение кожи, которая скрывала и припрятывала от тебя много такого, чего ты не должен был еще видеть. Новая твоя жизнь отняла у тебя известный взгляд, а не разум; эта мысль *тебе уже более не нужна,* но ты несешь ее с собой, и только неосновательность ее выползает из нее, как червь, на свет. Когда мы подвергаем что-нибудь критике, то это еще не значит, что мы прибегаем к чему-нибудь произвольному и безличному, – напротив, критика очень часто обнаруживает в нас те живые силы, которые скрывает струп. Мы отрицаем и должны отрицать, ибо нечто живет в нас и *хочет* получить для себя подтверждение, а это нечто, пожалуй, мы еще не знаем, мы еще не видим! – Вот что можно сказать в защиту критики.

Обыкновенная история. – Что приносит тебе история каждого дня? Взгляни на свои привычки, из которых она слагается: разве они не представляют из себя бесчисленных признаков мелкой трусости и лени, или же мужества и изобретательного разума? Как ни различны оба эти положения, все-таки может произойти так, что люди в обоих случаях отнесутся к тебе с одинаковой похвалой и что ты в действительности все равно принесешь им одинаковую пользу. Но похвала, польза, уважение – все это может удовлетворить лишь того, кто хочет иметь добрую совесть, а не тебя, *знающего уже кое-что и о самой совести!*

Из седьмого уединения. – Однажды захлопнул путник за собою дверь, остановился и заплакал. Затем он сказал: «постоянная эта погоня за истиной, действительностью, совестью! Как все это раздражает меня! Зачем преследует меня это мрачное и страстное возбуждение? Без него я мог бы успокоиться! Но сколько соблазнов для того, чтобы не медлить! Повсюду раскинулись для меня Армидовы сады: и вот сердце снова и снова рвется и обливается горечью! Я должен и дальше поднять ногу, эту усталую, израненную ногу: а раз я должен, то и бросаю я гневные взоры на все те красоты, которые не могли меня удержать, – *за то, что* они не могли меня удержать!»

Волна и воля. – С какою жадностью наступает волна эта, как будто ей нужно здесь чего-то добиться! С какою поспешностью, возбуждающей в вас ужас, заползает она в самые укромные уголки скалистого ущелья! Так и кажется, что она хочет предупредить кого-то, что здесь скрывается какое-то сокровище, обладающее высокой ценностью. – И вот она отступает, все медленнее и медленнее и совершенно бледная от возбуждения. – Обманулась ли она в своих ожиданиях? нашла ли она то, что искала? Но вот приближается вторая волна, с еще большей жадностью, с еще большей дикостью, чем первая, и кажется, что душа ее полна тайн, преисполнена страстного желания отыскать свое сокровище. Так живут волны, так живем мы, волнуемые желаниями! – я больше не скажу ни слова. – Как? Вы не доверяете мне? Вы, прекрасные чудовища, сердитесь на меня? Боитесь, чтобы я не выдал вашей тайны? Ну, что же! Сердитесь,

поднимайте свои страшные зеленые тела ввысь так далеко, как только вы можете это сделать, воздвигните стену между мною и солнцем, – как теперь!

Правда, во всем мире нет ничего такого, что было бы столь лишним, как зеленый сумрак, как зеленые молнии. Поступайте же вы, надменные существа, как хотите, ревите от восторга и злости, – или скройтесь снова под поверхностью, высыпьте свои изумруды в глубину, набросьте на нее свою бесконечную белую пелену из накипи и шипучей пены, – мне все равно, ибо все это вам к лицу, да и я так похож на вас во всем: как же я буду изменять вам! Слушайте же – я знаю вас, я знаю вашу тайну, ваш род! Мы – я и вы – принадлежим к одному роду! У меня и у вас одна общая тайна!

Преломленный свет. – Никто не в состоянии оставаться постоянно мужественным, и в моменты усталости поднимаются у нас такие горькие думы: «тяжело причинять людям горе – и зачем? К чему нам замкнутая жизнь, если мы не хотим сохранить для себя того, что дается нам горем? Разве не расчетливее было бы жить на людях и каждому потворствовать в его недостатках? Безумие проявлять с безумным, суетность с суетным, сумасбродство с сумасбродным? Разве это не было бы справедливым при тех значительных отклонениях, которые мы замечаем вообще вокруг себя? Когда мне приходится слышать, что кто-нибудь против меня питает злобу, то разве не переживал я прежде всего чувства удовлетворения? Право! – мне даже приятно сказать вам это – я так мало похож на вас, на моей стороне так много истины: благоденствуйте за мой счет, насколько вы это можете! Вот мои недостатки и ошибки, вот тщета моя, мое безвкусие, мое извращение, мои слезы, моя суетность, мои противоречия! Смейтесь над этим. Я не чувствую злобы на закон и природу вещей, которые хотят того, чтобы недостатки и ошибки людские вызывали у других радостное чувство! – Конечно, были и «лучшие» времена, – когда каждая сколько-нибудь новая мысль принуждала человека идти на улицу и возвещать первому встречному: «смотри! близко Царство Небесное!» – Я нисколько не жалел бы, если бы я и ошибался. Все мы лишние люди! – Но, как сказано, нет у нас этих мыслей, когда мы чувствуем себя мужественными; тогда мы вовсе не думаем об этом.

Моя собака. – Своей боли я дал кличку и называю ее «собакой», – она так же верна, так же навязчива и бесстыдна, так же забавна и умна, как всякая другая собака, и я могу распоряжаться ею вполне и изливать на нее свое раздражение – совершенно так же, как это делают другие люди со своими собаками, слугами и женами.

Не надо больше изображать страдания! – Я хочу поступать, как Рафаэль, и не давать картин страданий. На свете достаточно возвышенных вещей для того, чтобы искать возвышенное там, где оно братски живет с жестокостью: я не мог бы удовлетворить моего честолюбия ролью вдохновенного палача.

Новые домашние животные. – Мне хочется иметь при себе своего льва и своего орла, чтобы во всякое время видеть в них ясного показателя того, насколько велика или насколько недостаточна моя сила. Должен ли я глядеть на них с трепетом, или наступит час, когда они в страхе будут взирать на меня?

О последнем часике. – Бури – вот что представляет для меня опасность: будет ли у меня своя буря, во время которой я пойду ко дну, как пошел ко дну Кромвель в настигшей его буре? Или я погасну, как свеча, не ветром гасимая, а сама усталая и пресыщенная, – свеча сгоревшая? Или же, наконец, я сам себя погашу, чтобы не сгореть?

Пророчествующие личности. – Вы совершенно не замечаете того, что пророки являются вместе с тем личностями, чрезвычайно страдающими; вы полагаете, что они обладают прекрасным «даром» и были бы рады получить его и в свое обладание, – но позвольте мне прибегнуть к одному сравнению. Как сильно могут страдать животные под влиянием воздушного и облачного электричества! Мы видим, что некоторые из них обладают пророческой способностью предвидеть погоду: таковы, напр., обезьяны (как это можно наблюдать даже в Европе, только не в зверинцах, а на Гибралтаре). Но мы не думаем о том, что предвидение им дается

путем страдания! Когда сильное положительное электричество под влиянием надвигающегося облака, которого впрочем еще долго нельзя будет заметить глазом, превращается в отрицательное, и таким путем подготовляется перемена погоды, животные эти начинают вести себя так, как будто бы к ним приближается какой-нибудь враг: они или приготовляются к защите, или готовы обратиться в бегство. Таким образом дурную погоду они ощущают не как погоду, а как врага, руку которого они уже *чувствуют* на себе.

Взгляд на прошлое. – Переживая какой-нибудь период своей жизни, мы редко сознаем весь пафос его, именно как пафос; нам кажется, что данное состояние, – единственно возможное в данный момент и разумное, что оно, – говоря языком греков, – вполне *этос,* а не пафос. Два музыкальных тона вызывают у меня сегодня в памяти и зиму, и дом, и полную уединения жизнь, и в то же время наполняют мое существо тем чувством, которое я тогда переживал: я думал тогда, что чувство это останется со мной навсегда. Но я понимаю теперь, что оно было пафосом и страстью моей, предметом, подобным этой мучительной и полной утехи музыке, которым нельзя обладать в течение многих лет, а тем более вечно: такая жизнь была бы не по нашей планете.

Мудрость, заключающаяся 6 физическом страдании. – В боли кроется столько же мудрости, как и в наслаждении, она совершенно таким же образом принадлежит к перворазрядным силам, служащим для сохранения человеческого рода. В противном случае, ее давно бы уже не существовало; то обстоятельство, что она причиняет людям страдание, ни в коем случае не может служить аргументом против нее: ведь в этом заключается ее сущность. В боли мне слышится приказ капитана: «спустить паруса». Искусный пловец «человек» должен привыкнуть спускать паруса на тысячи ладов, иначе ему быстро пришлось бы распроститься с жизнью, и океан немедленно засосал бы его в свои пучины. Мы должны уметь убавлять энергию своей жизни: как только боль даст свой сигнал, значит, наступило время уменьшить свою деятельность, – значит, приближается большая опасность, буря, и мы хорошо сделаем, если постараемся, насколько возможно «сократиться». – Правда, есть люди, которые при приближении великой боли слышат, как раз, обратные призывы, и которые никогда не выглядят столь гордыми, воинственными и счастливыми, как во время бури; да, величайшие моменты их жизни создаются под влиянием боли. Это герои; они *несут боль* человечеству; они принадлежат к тем немногим из людей, которые нуждаются в такой же апологии, как и сама боль, – и им не следует отказать в этом! – Они также перворазрядные силы, сохраняющие и поддерживающие род человеческий, и являются таковыми только благодаря тому, что отказываются от всяких удобств жизни и не скрывают своего отвращения к счастью, зависящему от комфорта.

При свидании. А: Вполне ли я тебя понимаю? Ты ищешь? Где же среди окружающей тебя действительности *твой угол* и *твоя* звезда? Где можешь ты улечься на солнышке, чтобы ощущать благоденствие в переизбытке и оправдать свое собственное бытие? О, если бы каждый мог действовать только для самого себя, – так, кажется, мне говоришь ты, – если бы мог вырвать из своего ума необходимость говорить для всех, заботиться о других и об обществе! – В: Нет, желания мои заходят еще дальше; я ничего не ищу. Я хочу создать для себя свое собственное солнце.

Новое предупреждение. – Не будем же думать так много о наказаниях, порицании и исправлении! Изменить личность нам удастся только в редких случаях; но при этом мы не замечаем того, что мы сами испытываем изменения под влиянием этой личности. Обратим же хорошенько внимание на то, что наше собственное воздействие на каждое протекающее перед нами явление встречает противодействие и что мы даже бываем вынужденными отступить перед этим явлением! Не будем же бросаться в битву прямо! – а ведь таким именно видом борьбы и является порицание, наказание и желание исправить. Поднимемся же сами еще выше! Будем разукрашивать наш идеал все более и более сверкающими красками! Затемним других своим светом! Нет! Мы не хотим по доброй воле сгущать на себе темные краски, как это делают

люди, прибегающие к наказаниям, и люди недовольные! Пойдемте лучше стороной! Отведем свой взор в сторону!

Сравнение. – Те мыслители, по мнению которых все звезды движутся по круговым путям, не принадлежат к числу глубочайших мыслителей; кто заглядывает в себя, как в бесконечно громадное мировое пространство и носит в себе Млечный Путь, тот знает, как непланомерны все эти млечные пути; они ведут к хаосу и лабиринту бытия.

Счастье в судьбе. – Когда судьба заставляет нас на время перейти в борьбе на сторону противника, она тем самым оказывает нам величайшее отличие. Таким путем мы предназначаемся к великой победе.

In media vita. – Нет! Жизнь не разочаровала меня! Из года в год я нахожу ее все богаче, желаннее и таинственнее, – и это чувство не покидает меня с того дня, когда на меня низошла великая освободительница – мысль о том, что жизнь должна быть опытом познающего, – а не долгом, не роком, не плутней! А само познание: может ли оно быть для других чем-нибудь иным, напр., ложем для отдыха или дорогой, ведущей к такому ложу, или праздной забавой, – для меня же оно является миром опасностей и побед, в котором даже и для героических чувств отведены особая арена и место для танцев. *«Жизнь является средством познания»* – с такою мыслью в сердце можно быть не только мужественным, но можно еще *весело жить и весело смеяться.* А разве тот, кто сумел бы вообще хорошо пожить и хорошо посмеяться, не оказался бы прежде всего способным на борьбу и победу?

Что относится к величию? – Разве достигнет чего-нибудь великого тот человек, который не чувствует в себе ни силы, ни желания взять на себя великие физические страдания? Одна только способность переносить страдания еще очень мало значит; в этом отношении слабые женщины и даже рабы доходят часто до совершенства. Но взять на себя великое страдание, слышать крик этого страдания и идти ко злу не в силу внутренней необходимости и необеспеченности – вот это величие.

Врачеватели душ наших и страдание. – Все моралисты и теологи имеют одну общую дурную привычку: они все стараются уверить человека, что ему живется крайне трудно, а потому необходимо радикальное лечение. А так как люди охотно в течение целых столетий прислушивались к их ученьям, то в конце концов они действительно усваивают кое-что из этого суеверия, начинают думать, что им живется очень плохо, и готовы охать, не находить ничего хорошего в жизни и устраивать в присутствии друг друга огорченные мины. На самом же деле, они глубоко уверены в своей жизни, горячо любят ее и при помощи чрезвычайно искусных хитростей умеют обходить неприятное и избегать страдания и несчастья. Мне нравится, что о боли и страдании всегда говорят *чрезмерно* много, как будто преувеличения в этом отношении являются признаком хорошей жизни, и замалчивают, напротив, умышленно о том, что против боли существует бесчисленное количество разных смягчающих средств, как усыпление или лихорадочная поспешность мысли, или какое-нибудь покойное положение, или добрые и дурные воспоминания, планы, надежды и многие роды гордости и сочувствия, которые имеют действие почти анестезирующих средств, а при сильных степенях боли само собою наступает беспамятство. Мы прекрасно умеем прибавлять по каплям сладость к нашей горечи, именно душевной горечи. В храбрости и возвышенности, равно как и в благородных, бешеных порывах покорности и смирения мы имеем для этого вспомогательные средства. Лишение является лишением едва ли на час: вместе с ним иной раз небо шлет нам дар, – напр., новую силу, – и, во всяком случае, всякая потеря должна являться поводом для нашей силы! Чего только ни повыдумали моралисты о внутренней немощи «дурных» людей. Чего только они ни *налгали* о несчастье страдающих личностей! – именно налгали, они прекрасно знали о чрезмерном счастье такого рода людей, но не промолвили об этом ни слова, ибо это противоречило бы их теории, по которой счастье возникает только тогда, когда страдание уничтожено, а воля молчит! Что же касается рецепта всех этих врачевателей душ наших и восхваления ими какого-

то радикального средства, то да будет позволено предложить следующий вопрос: разве наша жизнь действительно столь преисполнена страданий и столь обременена, что ее можно с успехом променять на окаменелое состояние, в котором находятся стоики? Мы далеко не так плохо чувствуем себя, чтобы принудить себя к тяжелому образу жизни стоиков!

Быть серьезным. – Интеллект везде представляет из себя неповоротливую, мрачную, скрипящую машину, которую с трудом пускают в ход. «Отнестись серьезно к какой-нибудь вещи», значит хорошенько обдумать ее и обработать ее при помощи своей машины-интеллекта. О, как тяжело, должно быть, дается им процесс хорошего мышления! Человек, – это дорогое нам животное, – теряет хорошее расположение духа, по-видимому, всякий раз, как начинает хорошо думать; он становится «серьезным!» «Где смех и веселье, там нет мысли», говорит предрассудок, который сложился у этого серьезного животного против «веселой науки». – Хорошо же! покажем, что это предрассудок!

Повредишь глупости. – Столь упорная и убежденная проповедь о негодности эгоизма в общем, конечно, повредила эгоизму *(в пользу,* как я это повторю еще раз, *стадных инстинктов)* лишив его доброй совести и указывая в нем прямой источник всякого несчастья. «Эгоизм твой – горе твоей жизни», – так восклицали проповедники в течение тысячелетий: такое отношение, как сказано, вредило эгоизму и отняло у него много воодушевления, веселости, находчивости, красоты; оно сделало эгоизм глупее, возбудило к нему ненависть, отравило его! – Философия древности, напротив, видела главный источник всякого горя в другом; начиная с Сократа, мыслители неустанно повторяли: «ваше стремление избавиться от всякой мысли и ваша глупость, ваша покорность известным правилам общежития, ваше подчинение взглядам своего ближнего – вот благодаря чему вы так редко бываете счастливы, а мы, мыслители, именно, как мыслители, являемся счастливейшими людьми». Не найдем ли мы, что эта последняя проповедь против глупости имеет за собой больше оснований, чем вышеупомянутая проповедь против эгоизма; но, конечно, отнимая у глупости добрую совесть, философия *причиняла* этой глупости известный *вред.*

Досуг и праздность. – В погоне за золотом американцы проявляют чисто индейскую дикость, и безостановочная поспешность в работе, – этот специальный порок Нового Света, – начинает заражать уже старую Европу, прививать к ней такой же дикий образ жизни и распространять на нее такое же изумительное неразумие. Отдыха в настоящее время люди стыдятся; укоры совести человек чувствует даже в том случае, когда ему приходится предаваться продолжительному размышлению. Думают с часами в руках, все равно как обедают, не отрывая глаз от биржевого листка; каждый живет так, как будто бы он «мог пропустить что-нибудь». – «Лучше что-нибудь делать, чем ничего не делать», – вот на что роковым образом наталкивается всякое образование, всякий высший вкус. И как все формы явно разбиваются об эту поспешность работающих людей, так гибнет и чувство к самим формам, ухо и глаз отвыкают от мелодии движения. Доказательство можно найти в той *неуклюжей ясности,* которую в настоящее время требуют повсюду, во всех положениях, где только человек хочет быть искренним с другими людьми, в сношениях с друзьями, женщинами, родственниками, детьми, учителями, учениками, предводителями и князьями; – теперь нет ни времени, ни сил для церемоний, для того, чтобы обязать себя идти окольными путями, поддержать в обращении *esprit* и сохранить вообще *otium.* Жизнь постоянно принуждает гнаться за выгодой, доводить свой дух до изнурения, притворяться, хитрить, обгонять других: доблестью нашего времени является способность сделать что-нибудь быстрее, чем это успеет сделать кто-нибудь другой. Таким образом редко выпадает такой час, когда мы можем быть искренни: но тут мы оказываемся настолько утомленными, что не только машем на все рукой, но лежим плашмя. Под давлением этой склонности вырабатывается у нас особая манера писать свои *письма;* на их стиле и духе всегда будет лежать «печать времени». Остаются еще удовольствия, которые вытекают из общения с людьми и искусством, но мы относимся к этим удовольствиям, как переутомившиеся рабы.

О, эта чрезмерная скромность, которую проявляют в своих требованиях к «радостям жизни» наши образованные и необразованные классы общества! О, это все возрастающее презрение к утехам жизни!

Работа все больше и больше привлекает на свою сторону всю добрую совесть: склонность к радостям жизни называется уже «потребностью в отдыхе», и признания в ней начинают даже стыдиться перед собой. Если вы застанете кого-нибудь врасплох на загородной прогулке, то вам торопятся объяснить, что это «ради здоровья». Да, недалеко то время, когда будут чувствовать угрызения совести и испытывать некоторое самопрезрение те лица, которые имеют склонность к *vita contemplativa* (т. е. к таким прогулкам, на которых человек радостно отдается своим мыслям). – А ведь прежде было обратное: работы стыдились. Человек хорошего происхождения скрывал свою работу, даже когда бывал к ней вынужден. Раба постоянно угнетала мысль, что он совершает что-то презираемое: слово «делать» уже само по себе вызывало презрение. «Благородные и знатные люди знают только *otium* и *qellum»,* так рассуждали древние.

Одобрение. – Мыслитель не нуждается ни в одобрении, ни в рукоплесканиях, если он уверен в своих аплодисментах самому себе: без них он не может обойтись. Существуют ли люди, которые не нуждались бы и в таком выражении похвалы и вообще не искали бы ничьего одобрения? Сомневаюсь. Ведь Тацит, которого нельзя считать клеветником мудрых, говоря о мудрейших людях, употреблял выражение: *quando etiam sapientibus gloriae cupido novissima exuitur*, что было равносильно слову: никогда.

Лучше быть глухим, чем оглушенным. – Прежде хотели создать себе *славу:* теперь этого уже недостаточно, так как рынок стал слишком большим, – теперь нужен *крик.* В результате даже самым здоровым глоткам приходится перекричать самих себя, и самые лучшие товары продаются уже охрипшим голосом; без рыночных выкриков и хриплых голосов в настоящее время нет больше гениев. – Такое время, конечно, далеко неблагоприятно для мыслителя: он должен научиться находить среди всей этой суматохи покойное место и оставаться глухим до тех пор, пока будет мыслителем. Если он этому не научится, ему грозит опасность погибнуть от нетерпения и головной боли.

Дурной час. – Каждому философу приходится переживать такой плохой час, когда ему думается: «что мне за дело, что люди не верят моим плохим аргументам?» – Тогда подлетает к нему злорадная птичка и щебечет: «что тебе за дело? что тебе за дело?»

Что значит познавать. – Non rid ere, non luere, negue detestari; sed int eiligere! – говорит Спиноза так просто и возвышенно, как будто в этом состояло его искусство. А между тем *intelligere* ведь ничто иное, как форма, в которой все три вышеприведенные категории становятся сразу доступными нашим чувствам, как результат различных и противоречивых стремлений осмеять, пожалеть, проклясть. Прежде чем познание станет возможным, каждое из этих стремлений должно дать свое собственное освещение предмета или события; отсюда возникает борьба этих односторонних взглядов, которая продолжается до тех пор, пока ими не будет достигнуто успокоение, удовлетворение, пока они не добьются известной справедливости и согласия; только благодаря такой справедливости и согласию, и могут эти стремления поддерживать свое существование, сохраняя каждое свои права. Мы же, у которых до сознания достигает лишь последний акт примирения и заключительные расчеты этого длинного процесса, полагаем, что *intelligere* должно представлять из себя нечто примирительное, справедливое, хорошее, в существенных своих чертах противоположное указанным стремлениям; а между тем оно представляет *известное отношение,* которое устанавливается между ними *друг к другу.* Весьма долгое время мысль, дошедшую до сознания, рассматривали, как мысль вообще; теперь только перед нами открывается заря той истины, что самая большая часть нашей духовной работы остается недоступной для нашего сознания и проходит нами незамеченной; но, по-моему, те самые стремления, которые вступают здесь друг с другом в борьбу, сумеют дать почувствовать себя друг другу и причинить друг другу страдание; – быть может, в этом надо

искать объяснение того сильного и внезапного истощения, которое испытывает всякий мыслитель (истощение на поле битвы). Быть может, среди борющихся в нас сил кроется некоторое *геройство,* но там нет ничего божественного, вечно покоящегося в самом себе. Мысль, *дошедшая до сознания,* представляет собою самый бессильный, а потому и самый кроткий и самый спокойный род мышления; вот почему философу так легко впасть в заблуждение относительно природы познания.

Следует научиться любить. – Вот что бывает в области музыки: мы должны сначала *приучить* себя вообще *слушать* какую-нибудь фигуру или мелодию, выслушивать, различать, изолировать и отграничивать ее; затем надо употребить немало усилий и доброй воли на то, чтобы заставить себя *выносить* ее, несмотря на всю ее чуждость нам, немало терпения к ее внешним формам, мягкосердечия к ее странностям. Наконец наступает момент, когда мы к ней *привыкаем,* когда мы ее ждем, когда мы чувствуем, что без нее нам будет чего-то недоставать, и с этого момента ее сила над нами, ее привлекательность для нас будет все возрастать и возрастать, пока мы не сделаемся ее покорными и восторженными поклонниками, которые хотят только ее и ее. – Но такой процесс замечается не только по отношению к музыке; точно так же мы *научились любить* все предметы, которые мы теперь любим. В конце концов за наше расположение, наше терпение, нашу справедливость, нашу мягкость по отношению к чуждым элементам мы вознаграждаемся тем, что это чуждое нам явление медленно поднимает свое покрывало и является перед нами, как что-то новое и невыразимо прекрасное: это *благодарность* за наше гостеприимство. И любовь к самому себе приобретается только таким путем, ибо другого пути нет. Даже любви надо учиться.

Да здравствует физика! – Мало кто умеет наблюдать, а еще меньше тех, кто умел бы наблюдать самого себя! «Каждый дальше всего отстоит от самого себя», и в изречении «познай самого себя», с которым божество обращалось к людям, слышится почти злоба. Посмотрите как говорят *почти все о* сущности морального поступка, – быстро, угодливо, болтливо, убежденно, с особым взором, с особой усмешкой, с особым услужливым рвением, – и вы убедитесь, что дело с самонаблюдением у нас действительно обстоит очень плохо! Так и кажется, что тебе хотят сказать: «но, любезнейший, ведь это только *меня* касается! Обращайся со своими запросами к тому, кто тебе *должен* отвечать; а я и сам прекрасно знаю, что мне здесь делать!» Таким образом, когда человек сочтет *справедливым* какое-нибудь требование, признает выполнение его *необходимыми* будет *поступать* сообразно своим понятиям о справедливости и необходимости, то мы назовем его поступок *моральный.* Но, мой друг, ты говоришь мне о трех актах, а не об одном: ведь твое суждение «это справедливо» является одним актом, – разве нельзя рассуждать нравственно и безнравственно? *Почему* ты считаешь свое и только свое мнение справедливым? – «Потому что мне подсказывает это совесть; совесть никогда не говорит безнравственно, ею и определяется, что должно быть моральным!» – Но почему ты *слушаешься* речей своей совести? И насколько ты прав, считая данное положение истинным и несомненным? И разве относительно этой *веры* совесть молчит? Разве ты ничего не знаешь об интеллектуальной совести? О совести, скрывающейся за твоей «совестью?» Твое суждение «это справедливо» имеет целую предварительную историю в твоих стремлениях, склонностях, в твоей неприязни, во всем том, что ты сам испытал на себе и относительно чего не имел вовсе опыта. «Как произошла моя совесть», должен был бы ты спросить себя: «и что собственно заставляет меня прислушиваться к ее голосу? Ты можешь также повиноваться ее приказаниям, как храбрый солдат подчиняется команде своего офицера, или как женщина, которая любит того, кто ею повелевает, или как льстец и трус, которые испытывают страх перед лицом, отдающим приказание, или как глупец, который следует за тобой, потому что не может ничего возразить. Короче говоря, на сотни ладов ты можешь подчиняться своей совести. А то *обстоятельство,* что ты именно к известному суждению прислушиваешься, как к голосу своей совести, что ты считаешь нечто справедливым, объясняется просто: ты никогда не задумывался о себе и слепо

воспринимал все, что тебе определяли *справедливым* с детства, или же хлеб и почести для тебя соединялись до сих пор с тем, что ты называешь своим долгом, – известное положение является для тебя «справедливым», потому что оно кажется тебе «условием *твоего* существования» (а *право* свое на существование ты ведь не подвергаешь никаким сомнениям!). *Прочность* твоего морального суждения могла бы служить всегда доказательством твоего ничтожества, твоей безличности, твоя «моральная сила» могла бы иметь свой источник в твоем упорстве, или в твоей неспособности рассмотреть новые идеалы! И, говоря вообще, если бы ты думал тоньше, наблюдал лучше и поучился больше, то ты не называл бы этот «долг» свой и эту «совесть» своею при всех обстоятельствах долгом и совестью. Если бы ты присмотрелся хорошенько, *как вообще возникали моральные суждения,* то у тебя отбило бы охоту и от этих, и от всех других патетических слов. – И не говори ты мне, друг мой, о категорическом императиве! – слово это щекочет мне ухо, и я не могу удержаться от смеха, несмотря на всю твою серьезность, мне приходит при этом на мысль старик Кант, который в наказание – вот потеха! – за «вещь в себе» попал под власть «категорическому императиву». – Как? ты удивляешься категорическому императиву, который живет в тебе? Этой «прочности» твоего так называемого морального суждения? Этой «безусловности» чувства, которое говорит тебе, что «все в данном случае должны думать так же, как ты»? Удивляйся лучше своему *эгоизму!* Слепоте, ничтожеству, скромности своего эгоизма! Ведь это эгоизм именно заставляет *его* суждение ощущать, как некий всеобщий закон; и опять-таки слепой, ничтожный эгоизм, ибо он обнаруживает, что ты еще не открыл самого себя, что ты еще не создал своего идеала, идеала только для себя – такого идеала, который не мог быть ничьим больше, а тем более рассчитывать на всеобщее признание!

Кто полагает: «так должен поступить в данном случае каждый», тот и пяти шагов не сделал в области самопознания: иначе он знал бы, что не существует и не может существовать одинаковых поступков, – что выполнение каждого поступка вполне своеобразно, и ни один акт не может быть повторен, что все это справедливо и относительно всех будущих деяний, что все правила поведения только грубо затрагивают всякую деятельность (хотя бы то были интимнейшие и остроумнейшие правила из всей существовавшей доныне морали), что при помощи их достигается видимость *и только видимость* равенства, что *всякое деяние,* когда на него смотришь со стороны или оглядываешься, оказывается и остается вещью непроницаемой, что наши взгляды на «благо», «благородство», «величие» никогда не могут быть *доказаны* нашими поступками, ибо каждое деяние непознаваемо; что наши мнения и оценка служат, вероятно, могущественнейшими рычагами в аппарате нашей деятельности, но закон ее механики для каждого отдельного случая остается необъяснимым. Таким образом ограничимся только тем, что очистим свои взгляды и свою оценку и *постараемся создать свою собственную новую таблицу благ,* а о «моральной оценке наших поступков» перестанем и мечтать! Да, друзья мои! глядя на всю эту болтовню о нравственных обязанностях по временам чувствуешь отвращение! Наш вкус должен возмущаться, когда нам приходится оказывать нравственную поддержку людям, осуждающим других людей. Оставим же и болтовню эту, и дурной этот вкус тем, все занятие которых – вытаскивать время от времени по маленьким кусочкам прошлое, так как сами они не в состоянии создать настоящее. А ведь это будет большинство, громадное большинство! Мы же сами *будем стремиться стать тем, что мы в действительности из себя представляем,* – новыми, обособленными, несравнимыми законодателями для самих себя, творцами самих себя! И к тому же мы должны лучше других открывать и учить тому, что является законным, необходимым в этом мире: мы должны быть *физиками* для того, чтобы стать в этом смысле *творцами,* – в то время как до сих пор все ценности и идеалы воздвигались или *при знакомстве* с физикой или *в противоречии* с ней. А потому: да здравствует физика! И еще больше да здравствует та сила, которая *принуждает* нас обратиться к ней – наше чистосердечие!

Скупость природы. – Почему природа оказалась такой скупой по отношению к людям? Почему она не одарила людей способностью светиться – одних больше, других меньше, сообразно с тем запасом внутреннего света, которым каждый обладает? Почему великие люди при своем восходе и закате не представляют такого прекрасного и законченного зрелища, как солнце? Сколько двусмысленностей избежала бы тогда людская жизнь.

«Человечество» будущего. – Когда я смотрю на наш век глазами давно сошедших со сцены поколений, то самым замечательным свойством у современного человека мне кажется его особенная добродетель и болезнь, именуемая «историческим смыслом». Явление это представляется мне накипью на чем-то совершенно новом и чуждом в истории: если бы оно просуществовало в своем зачаточном состоянии еще несколько столетий, то из него в конце концов могло бы выйти замечательное растение, обладающее таким чудным ароматом, благодаря которому на нашей старой земле жилось бы лучше, чем до сих пор. Мы, люди настоящей эпохи, только что начинаем сплетать – звено за звеном цепь будущего, очень могучего чувства, – едва сознавая свою работу. А нам кажется, что дело идет не о новом чувстве, а об истощении всех старых чувств, – историческое чувство все еще является таким бедным и холодным; многих от него озноб охватывает, и они, благодаря ему, сами становятся и беднее, и холоднее, другим оно кажется признаком подкрадывающейся старости, и вся наша планета представляется им в виде тяжелобольного человека, который для того, чтобы забыть о своем настоящем положении, пишет историю своей юности. И действительно, новое чувство окрашено в такие тоны; всякий, кто умеет прочувствовать историю всего человечества как свою *собственную историю*, ощущает в процессе этого чудовищного обобщения всю печаль больного, мечтающего о здоровье, старца, вспоминающего о грезах своей юности, влюбленного, лишенного предмета страсти, мученика, разочаровавшегося в своем идеале, героя, который вечером в день битвы видит, что эта битва ничего не решила, а принесла ему только раны и смерть друга. Но перенести, чувствовать себя в силах переносить всю эту громаду всякой печали и все еще оставаться героем, который при наступлении второго дня битвы приветствует и утреннюю зарю, и счастье свое, как человек, вокруг которого развертывается горизонт тысячелетий, как наследник всего того благородства, которое осталось от духа минувших веков, как самый благородный из всех родовитых людей и в то же время первенец нового благородного сословия, какового не видела и о каковом не мечтала ни одна из прежних эпох; взять все это новое и старое в жизни, все эти надежды, потери, завоевания и победы человечества; наконец, хранить все это в одной душе и втиснуть в одно чувство – это такая операция, которая должна дать счастье, еще неизведанное человеком, – божественное счастье, полное силы и любви, полное слез и смеха, счастье, которое, подобно вечернему солнцу, когда оно удаляется из своего необозримого царства и погружается в море, чувствует все богатство свое при виде бедного рыбака, подгоняющего свою лодку золотым веслом! Вот это божественное счастье и было бы тогда человечеством.

Стремление к страданию и сострадательные люди. – Разве нормально быть прежде всего сострадательным? Да и полезно ли ваше сострадание для людей страждущих? Но оставим на минутку первый вопрос в стороне. – Все глубочайшие личные наши страдания остаются непонятными и недоступными для всех остальных людей; все эти страдания скрываем мы и от самого близкого нам человека даже в том случае, если едим с ним из одной чашки. Но всюду, где посторонние *замечают* в нас людей страждущих, страдание наше описывается в плоских выражениях. Сущность сострадания, как аффекта, в том именно и состоит, что оно *лишает* чужое горе всех его индивидуальных свойств: «благодетели» наши приуменьшают нашу ценность и силу нашей воли гораздо значительнее, чем наши враги. У большинства благодетелей кроется что-то возмутительное в той интеллектуальной легкости, с которой сострадающий вам человек играет вашей судьбой: он ничего не знает о целом ряде переплетающихся событий и состояний, которые для *меня* или для *тебя* называются несчастьем!

Вся экономия моей души, все те выгоды, которые она извлекает «из несчастья», открытие новых источников и потребностей, рост старых ран, отказ от прошлого, – все, что так или иначе может быть связано с несчастьем, – все это нисколько не интересует сердобольного человека. Он хочет только *оказать помощь* и нисколько не задумывается о том, что несчастье должно быть индивидуально, что испуг, лишение, оскудение, полуночное время, необычайные приключения, риск, ошибки для нас так же необходимы, как и их противоположности, что, выражаясь мистически, у каждого человека путь к собственному небу всегда лежит через сладострастие собственного ада. Нет, об этом он ничего не знает: «религия сострадания» (или «сердце») предлагает помогать страждущим, и вот лучшей помощью считают помощь скорейшую! Когда вы, последователи этой религии, будете на себя смотреть действительно так же, как на своих ближних, когда вы не захотите даже часа прострадать своим страданием и будете всевозможными средствами предотвращать всякое надвигающееся издали несчастье, когда свое горе и недовольство вы будете ощущать вообще, как что-то дурное, ненавистное, как нечто, подлежа-

щее уничтожению, как какое-то пятно на вашем бытии, – тогда, кроме религии сострадания, в сердце у вас будет другая религия, и она-то, быть может, станет матерью первой религии; это будет *религия покоя и комфорта.* Как мало знаете вы *о счастье* человеческом, вы, люди покойные и добросердечные! Ведь счастье и горе – две сестры, два близнеца, которые вместе вырастают или, как это бывает у вас, оба *остаются маленькими!* Но возвратимся теперь к первому вопросу. – Насколько только возможно, оставайтесь на *своем* пути! Нас постоянно отзывают в сторону: наш глаз при этом мало что различает, и нет ни малейшей необходимости оставлять тотчас свое собственное дело и перепрыгивать на новое. Я знаю, что существуют сотни приличных и славных способов уйти *со своего пути,* и способов, поистине говоря, в высшей степени «нравственных»! Да, моралисты, проповедующие ныне сострадание, доходят даже до того, что нравственным считают только одно – оставить *свой путь* и перепрыгнуть к своему ближнему. Мне также, конечно, известно следующее: я должен пожертвовать собой при виде действительной нужды, и таким образом мне опять нет спасения! И если бы друг в предсмертных страданиях сказал мне: «послушай, я скоро умру, обещай мне умереть со мной». – я обещал бы точно так же, как, при виде какого-нибудь горного народца, борющегося за свою свободу, я мог предложить ему свою руку и жизнь. Да, остается какой-то тайный соблазн даже в этом призыве к состраданию и помощи: только наш «собственный путь» оказывается слишком твердым и требовательным и лежит далеко в стороне от любви и благодарности других, – и мы не без удовольствия уклоняемся от него, и от нашей интимной совести и спасаемся под покровом чужой совести в любезном нам храме «религии сострадания». И теперь, как только раздастся где призыв к войне, тотчас даже у самых благородных представителей народа прорывается скрытое, конечно, желанье: они с восторгом бросаются навстречу новой опасности, грозящей им *смертью,* ибо в этом самопожертвовании, которое они приносят на алтарь отечества, они нашли, наконец, возможность *уклониться от своей собственной цели,* – возможность, которую они так долго искали; война для них является обходным путем, который ведет к самоубийству, но таким обходом, на котором они могут сохранить свою добрую совесть. И если я и здесь должен не договаривать, то во всяком случае я не хочу умолчать о своей морали, которая мне предписывает следующее: живи скрытно для того, чтобы *ты можешь* для себя! Живи, не *ведая о* том, что век твой считает самым важным! отдели себя от текущих забот слоем, по крайней мере, трех веков! Пусть крики, которые раздаются теперь вокруг тебя, пусть сумятица, которую несут с собой войны и революции, будут для тебя просто людским бормотаньем! Тебе также захочется помогать другим людям: но ты неси свою помощь только своим *друзьям – только* тем, нужду кого ты вполне *поймешь,* кто вместе с тобой имеет одно горе, одну надежду; и помогай им так, как помогал бы самому себе. Мне хочется, чтобы они были смелее, терпеливее, проще, веселее! Мне хотелось бы научить их *сорадости,* которая доступна пониманию столь немногих людей и о которой особенно мало знают проповедники морали.

Vitafemina. – Недостаточно одного уменья и доброй воли для того, чтобы рассмотреть всю красоту какого-нибудь произведения, только в самых редких и счастливых случаях обнажаются вершины эти от облачного покрывала, и блестит на них солнце. Еще недостаточно стоять на хорошем месте, чтобы увидеть эту красоту: нашей душе необходимо удалить покрывало со своих высот и стремиться во внешнем мире найти свое выражение, как бы для того, чтобы остаться твердой и сохранить самообладание. Но совпадение этих условий бывает так редко, что я готов верить, что высшие пункты всякого блага – будет ли то произведение, деяние, человек, природа – для большинства даже лучших людей оставались скрытыми; а все, что являлось перед нашими глазами без покрывала, *сбрасывало свои оболочки перед нами только раз в жизни!* – В одной молитве греки говорили: «дважды и трижды все прекрасное»! Да, у них было полное основание призывать здесь на помощь богов, ибо та действительность, которая не имеет ничего общего с божеством, или вовсе не дает нам прекрасных явлений, или является прекрасной только раз. Я хочу сказать, что мир переполнен прекрасными предметами,

и, несмотря на это, он чрезвычайно беден прекрасными мгновениями и чрезвычайно редко раскрывает предметы эти. Но, быть может, здесь и заключается величайшее обаяние жизни: на ней лежит сотканное из золота покрывало возможности прекрасного, обещающее, противоборствующее, стыдливое, насмешливое, сострадательное, обольстительное. Да, жизнь является женщиной!

Умирающий Сократ. – Я удивляюсь мужеству и мудрости Сократа во всем, что он делал, говорил – и даже в том, чего он не высказал. Этот насмешливый и излюбленный злой дух и крысолов Афин, который заставлял дрожать и хныкать самых мужественных юношей, был не только самым мудрым балагуром, но в молчании обладал величием. И если бы в последние минуты жизни, – как этого хотелось бы мне! – он остался с замкнутыми устами, – он принадлежал бы тогда, быть может, еще к высшему разряду умов. Но смерть ли, яд ли, благочестие или злоба развязали ему в последнее мгновение язык, и он сказал: «О, Критон! я должен Эскулапу петуха!» Это смешное и страшное, «последнее слово» для всякого имеющего ум значит: «О, Критон! жизнь ведь – болезнь!» Возможно! Человек, живущий, подобно ему, чисто и у всех на глазах, как солдат, был пессимист! Он только притворялся перед жизнью и все время скрывал свою последнюю мысль, свое самое интимное чувство! Сократ страдал при жизни! И он отомстил тем прикрытым, ужасным, благочестивым и богохульствующим словом! Должен ли был Сократ еще мстить за себя? Неужели у него в его чрезмерной добродетели было так мало великодушия? – Ах, друзья мои! Мы должны взять верх даже над греками!

Величайшая тягота. – Представь себе, что однажды – днем или ночью – к тебе в твоем полнейшем уединении подкрался демон и говорил тебе: «ту жизнь, которую ты ведешь теперь и которую прожил, тебе придется повторить еще раз и еще бесчисленное число раз; и не будет ничего нового, но все та же боль, все те же желания и мысли, и вздохи, и все невыразимо малые и великие события твоей жизни пройдут перед тобой в прежнем порядке и прежней последовательности – и этот паук, и этот лунный свет между деревьями, и этот миг, и я сам. Вечные песочные часы бытия будут снова и снова перевертываться, и ты с ними, пылинка из пылинок!» – Разве не бросился бы ты на землю, разве не стал бы скрежетать зубами и проклинать демона, который обратился к тебе с такими речами? Или разве ты не пережил ни разу такого чудного мгновения, когда бы ты мог ему ответить: «ты – божество, и я никогда не слышал ничего более божественного»! Если бы такая мысль овладела тобой, она преобразила бы, и, пожалуй, раздробила тебя, разве бы ты оставался таким же человеком, как сейчас; и если бы тебе при каждом случае предлагали вопрос: «желаешь ли ты еще раз и еще бесчисленное число раз пережить это событие?», то этот вопрос ложился бы величайшей тяготою на твоих деяниях! Или каким образом ты должен сделать добро себе и жизни, чтобы стремиться только заверить и засвидетельствовать это последнее, вечное требование?

Incipit tragoedia. – Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, он покинул свою родину и озеро Урми и ушел в горы. Тут он наслаждался своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомился наслаждаться ими. Но сердце его, наконец, изменилось, и, вставши однажды на утренней заре, повернулся он к солнцу и обратился к нему с такою речью: «О, ты, великое светило! Во что обратилось бы счастье твое, если бы у тебя не было на кого изливать свой свет!» Десять лет приходишь ты к моей пещере: ведь и без меня, без моего орла и моей змеи ты могло бы пресытиться и своим светом, и своей дорогой; но мы дожидались тебя каждым утром, отнимали у тебя твой излишек и благословляли тебя за это. Смотри! Мне надоела моя мудрость, как мед пчеле, которая собрала его слишком много, мне нужны руки распростирающиеся, я стал бы раздаривать и распределять до тех пор, пока мудрые среди людей не будут еще раз снова рады своему безумию, а бедные – еще раз снова своему богатству. Для этого я должен глубоко спуститься, подобно тому, как делаешь это ты, богатое светило, каждый вечер, когда уходишь за море и все еще несешь свой свет преисподней, – я должен *зайти,* как говорят люди, к которым я хочу спуститься. Так благослови же меня ты, спокойное око, взирающее без

зависти на величайшее счастье! Благослови кубок, который желает переполниться для того, чтобы золотая влага потекла из него и разнесла повсюду блеск твоей отрады! Смотри! Кубок этот снова хочет стать пустым, и Заратустра снова желает сделаться человеком». – Так начался закат Заратустры.

Книга пятая

МЫ НЕУСТРАШИМЫ
Carcasse, tu trembles? Tu
tremblerais bien davantage,
si tu savais, ou je te mene.
Turenne.

Насколько мы все еще благочестивы. – Мы имеем полное основание сказать, что убеждениям нет места в науке. Только в тех случаях, когда ученые решаются снизойти до какой-нибудь скромной гипотезы, предварительной точки зрения, регулирующей фикции, они открывают доступ убеждениям в царство познания и придают им известную ценность, – но и то всегда с ограничениями и под полицейским надзором недоверия. – Но разве такое положение вещей, выражаясь точнее, не равносильно допущению убеждения в науку с тем, чтобы само убеждение *перестало быть* убеждением? Разве не начинается воспитание научного духа с требования не допускать уже больше никаких убеждений?.. Раз все это правдоподобно, то остается только спросить, *возможно ли начать такое воспитание* без столь властного и столь безусловного убеждения, которому были бы принесены в жертву все остальные убеждения? Наука, по-видимому, также покоится на некоторой вере, ибо нет такой науки, которая была бы совершенно свободна от всяких предвзятых мнений (voraussetungslose Wissenschaft). Мы не только должны предварительно получить утвердительный ответ на вопрос, нужна ли нам *истина,* но и выразить его сильно – в виде принципа, веры, убеждения: «нет *ничего выше* истины, а все остальное по сравнению с ней является величиной второго порядка». – Что же представляет собой это стремление к безусловной истине? Не будет ли оно желанием не *дать себя в обман*? Или это желание *не обманывать*? Именно вот так и могло бы быть истолковано стремление к истине, если под общую формулу: «я не хочу обманывать» подвести как частный случай: «я не хочу обманывать и себя». Но почему же не обманывать? Почему не дать и себя ввести в заблуждение? – На это замечают, что оба эти вопроса относятся к совершенно различным областям: человек не хочет даться в обман потому, что быть обманутым, как он полагает, вредно, опасно, – в этом смысле наука была бы продолжительным благоразумием, предусмотрительностью, полезным явлением, против которого справедливо должны были бы возразить: как? действительно ли стремление не поддаться обману не так вредно, не так опасно, не так связано с роковыми последствиями? Что вы доподлинно знаете о характере бытия для того, чтобы решить, на чьей стороне большая выгода – на стороне ли безусловного недоверия или безусловной доверчивости? Раз необходимо и многому верить, и многому не доверять, то откуда наука должна взять свою безусловную веру, свое убеждение, на котором она покоится, что истина должна быть всего важнее на свете, важнее всех остальных убеждений. Точно так же убеждение это не могло бы возникнуть и в том случае, если бы правда и неправда обе оказывались бы постоянно полезными человеку; а именно так и бывает в действительности. Таким образом вера в науку проистекает не из утилитарных соображений, а скорее, *несмотря на то,* что доказательства относительно бесполезности и опасности «стремления к истине», «истины во что бы то ни стало» беспрерывно возрастают. «Во что бы то ни стало» – это требование мы вполне понимаем, если мы только приносили на этот алтарь одну веру за другою! – Следовательно, выражение «стремление к истине» *нельзя* передать описательной фразой: «я не хочу дать себя в обман», а выбора ведь больше нет! «Я не хочу обманывать ни других, ни себя» – и тут уже мы переходим *в область морали.* В самом деле, спросите-ка себя хорошенько, как следует: «почему ты не хочешь обманывать, когда все должно иметь – да и имеет – видимость, когда вся жизнь как бы основана на видимости, или, по-моему, на ошибках, обмане,

притворстве, ослеплении, самоослеплении, а с другой стороны великая форма жизни всегда оказывалась в действительности на стороне самых несомненных *polutropoi*. Такое намерение, выражаясь мягко, могло бы быть, пожалуй, донкихотством, небольшим сумасбродством; но оно могло бы оказаться и чем-нибудь похуже, именно принципом разрушительным, враждебным жизни… «Добровольное стремление к истине» могло бы оказаться таким же добровольным стремлением к смерти. – Поэтому вопрос: «к чему нам наука?» приводит нас снова к моральной проблеме: *«к чему вообще мораль»* когда ни жизнь, ни природа, ни история не знают ее? Несомненно, правдивый человек в том смелом и последнем смысле, как его предполагает вера в науку, *заявляет при этом о существовании еще иного мира,* кроме мира нашей жизни, природы и истории; а говоря утвердительно об этом «ином мире», разве не должен он отрицать контраст его, *наш мир!*.. Теперь уже видно, к чему я стремился. Мне именно хотелось показать, что *метафизична та вера*, на которой покоится наша уверенность в науке; что мы, выступающие в настоящий момент в области познания, несмотря на наш отказ от метафизики, берем свой огонь от того пожарища, которое запылало тысячелетия тому назад, от той веры Платона, которая говорит, что Бог есть истина, что истина – божественна…

Мораль как проблема. – Недостаток в людях дает себя тяжело чувствовать повсюду; ослабленная, жиденькая, преданная забвению, сама себя отрицающая и сама от себя отрекающаяся личность не годится ни на что хорошее, – а тем более для философии. «Отказ от себя» не имеет больше ценности ни на небе, ни на земле; великие проблемы требуют и *великой любви,* а к ней способны только люди, обладающие сильным, обточенным, крепким духом, которые прочно сидят в своих пазах. Далеко не одно и то же, лично ли заинтересован мыслитель в своих проблемах так, что с ними связана его судьба, нужда и высшее его счастье, или же лично он ничем не связан с этими проблемами и умеет только ощупывать и охватывать их щупальцами холодной, любознательной мысли. В этом последнем случае, насколько можно догадываться, работа останется безрезультатной, ибо, если даже великие проблемы допустят захватить себя лягушкам и слабым людям, то не допустят им *удержать* себя. С вечных времен сказывался в такой форме вкус этих великих проблем, и в этом отношении вкус их разделяли всегда способные и деятельные женщины. – Таким же образом до сих пор мне не пришлось встретить ни одного человека, даже в книгах, который был бы лично заинтересован в морали, который смотрел бы на эту мораль, как на проблему, а эту проблему признавал своею личной нуждой, страданием, отрадой, страстью? До сих пор, по-видимому, мораль не была проблемой: скорее она представляла такую область, где люди приходили к соглашению после целого ряда всяческого недоверия, сомнения, противоречий, она была тем освященным местом покоя, где мыслитель отдыхал от самого себя, где он восстановливал свои силы, оживал. Я не вижу никого, кто осмелился бы подвергнуть критике главные положения морали; я не встречаю здесь даже попыток научного любопытства, избалованного, искушенного опытом воображения психологов и историков, которое схватывает проблему и ловит на лету, не сознавая хорошенько, что поймано им. И кажется мне сегодня, не напрасно ли вообще искать хотя бы самого незначительного расположения к *истории возникновения* этих чувств и этого уважения (задачу эту не следует смешивать с критикой данных явлений и с историей этических систем): я, по крайней мере, раз сделал все, чтобы открыть хоть какую-нибудь склонность к истории такого рода – но тщетно. С такими историками морали (именно англичанами) не трудно разобраться: они беспечально подчиняются какой-нибудь определенной морали и, сами, не ведая того, являются ее щитоносцами и свитой; приблизительно то же самое приходится сказать о том широко распространенном суеверии европейцев, которое все еще чистосердечно уверяет, что каждый моральный поступок непременно характеризуется самоотречением, самозабвением, принесением самого себя в жертву или сочувствием, состраданием. Обычная ошибка таких моралистов кроется в допущении, что они установили некоторый *consensus* среди народов, по крайней мере, среди прирученных народов относительно известных положений морали, и в сделанном

отсюда выводе, что эти положения безусловно обязательны также и для меня, и для тебя; или же, напротив, наткнувшись на истину, они, эти моралисты, думают, что у различных народов оценка моральных явлений *неизбежно* различна, и делают заключение о необязательности *всякой* морали: но и в том, и в другом случае они рассуждают, как дети. Заблуждение более тонких мыслителей заключается в том, что они в каких-нибудь, пожалуй даже, неразумных взглядах какого-либо народа открывают его мораль, мнения отдельных людей трактуют в качестве всечеловеческой морали, рассуждают о ее будущности, о религиозной санкции, о суеверных взглядах на свободу воли и тому подобных явлениях и вместе с тем полагают, что в подобном процессе данная мораль подвергается критической оценке. Но значение предписания: «ты должен» остается все-таки совершенно независимой от подобных взглядов на мораль, от плевел заблуждения, которые, быть может, глушат это требование: точь-в-точь как в медицине, где значение какого-нибудь медикамента на больного совершенно не зависит от того, будет ли он человеком научно образованным или смотрит на медицину глазами какой-нибудь старой бабы. Мораль могла бы и сама вырасти из какого-нибудь заблуждения: но даже и при таком взгляде проблема ее ценности оставалась бы незатронутой. – Никто таким образом до сих пор не проверил *ценности* знаменитейшего из всех целебных средств, которое называется моралью, а потому прежде всего необходимо обратить на него внимание.

Наш вопрос. – Но вы не понимаете этого? Действительно, нас трудно будет понять. Мы ищем слова, мы ищем, быть может, и уши. Кто же мы?

……..

Мы знаем, что мир, в котором мы живем, лишен и божества, и нравственности, и человечности, – мы долго ошибочно истолковывали его себе, как этого требовала наша воля и желание поклоняться чему-нибудь; это была, как говорили мы, наша *потребность.* Разве человек не благоговеющее животное, вместе с тем и недоверчивое? – и наше недоверие, наконец, почти вполне завоевало ту мысль, что мир не представляет из себя такой ценности, какую мы в нем предполагали. Недоверие и философия идут рука об руку. Мы остерегались высказать ясно свой взгляд на то, что мир представляет собой явление малоценное: нам еще до сих пор смешно, когда человек претендует найти такие ценности, которые должны *превышать* ценность действительного мира, – из этого положения мы снова исходим, как из чрезмерного заблуждения человеческой суеты и неразумия, которые долго не признавались за таковые. Заблуждение это достигло своего последнего выражения в современном пессимизме, а раньше в еще сильнейших формах в учении Будды. «Человек *против* мира»; человек, как принцип, «отрицающий мир»; человек, как масштаб, по которому определяется ценность всех вещей; как судья, который, наконец, и самое бытие положит на свою чашу весов и найдет его слишком легким, – вот противоположения, чудовищную нелепость которых мы, наконец, осознали, и она стала нам противной, – нам даже смешно встретить «человек и мир» рядом друг с другом, разделенными высокопритязательным словечком «и». Но как же? Разве мы со своим смехом не сделали еще дальнейшего в области презрительного отношения к человеку? а следовательно, и в области пессимизма, в области презрения к доступному для нашего познания бытию? Разве мы не стали подозревать наличие другого мира, представляющего контраст с тем нашим миром, в котором мы со своим преклонением чувствовали себя, как дома, – ради которого, только, пожалуй, мы *и решились продолжать* свое существование, – другого мира, который *мы сами и представляем.* И это неумолимое, прочно основное, неотъемлемое от нас подозрение относительно нас самих все больше и больше охватывает нас, европейцев, и легко может поставить перед грядущими поколениями такую дилемму: «или устраните предмет вашего поклонения, или устраните *самих себя!»* Последнее решение было бы нигилизмом, но разве не будет нигилизмом и первое решение? Вот в чем заключается *наш* вопрос.

Верующие и потребность во что-нибудь верить. – О силе (или, выражаясь яснее, о слабости человека) можно судить по тому, насколько нуждается он для своего преуспеяния в вере, насколько он ищет «прочных» основ, потрясения которых он не желает допустить, как потрясения своей опоры. Так уж устроен человек: вы можете на тысячу ладов опровергать основные положения его верований, но раз он считает их для себя необходимыми, он все-таки будет видеть в них «истину». Иным нужна еще метафизика; но и то неудержимое стремление к *достоверности,* которое в настоящий момент разряжается в широких массах под видом научного позитивизма, стремление, в котором сказывается наше *желание* иметь хоть что-нибудь прочно установленным, представляет собой также стремление к опоре, подставке, короче говоря, тот *инстинкт слабости,* который хотя и не создается, но сохраняется метафизикой и убеждениями всякого рода. Действительно, вокруг всех этих позитивных систем поднимается чад какого-то пессимистического омрачения, какого-то утомления, фатализма, разочарования, страха перед новым разочарованием, а при виде пережитой злобы – дурное настроение духа, приступы анархического гнева и все другие симптомы и весь этот маскарад слабости наших чувств. Даже на стремительность, с которой наши умнейшие современники забиваются по углам и щелям, напр., в увлечении патриотизмом (под этим словом я подразумеваю французский *chauvinisme,* а для Германии все то, что называется «немецким») или в эстетическом неясном исповедании своего рода парижского *naturalisme* (который выдвигает на первый план и обнаруживает только часть природы, вызывающую к себе одновременно и отвращение, и удивление – эту часть в настоящее время охотно называют *le verite vreie)* указывает прежде всего на нашу *потребность* в вере, поддержке, опоре… В верованиях особенно нуждаются там, где не хватает воли: ведь воля, как аффект приказания, является решительным признаком самовластия и силы. Таким образом, чем меньше человек умеет приказывать, тем настойчивее нуждается он в приказаниях со стороны, строгих приказаниях – будет ли исходить это повеление от князя, сословия, врача, духовного отца, догмы, партии. Отсюда можно прийти к заключению, что мировые религии, как, напр., буддизм, своим возникновением, своим внезапным обаянием обязаны какой-то неслыханной *болезни воли.* Да и в действительности так было: подобные религии заставали общество в таком напряженном стремлении подчиниться какому-нибудь долгу, обязательству, что люди доходили до отчаяния, до потери разума. Такие религии являлись учительницами фанатизма в то время, когда воля спала, и предлагали вместе с тем массам поддержку, новую возможность проявить свою волю, новое наслаждение волей. Фанатизм и есть именно та единственная форма «силы воли», которую могут также проявить и люди слабые, и неуверенные; она является своеобразным гипнозом всей чувственно-интеллектуальной системы, благодаря чрезмерному развитию (гипертрофии) какой-нибудь точки зрения, какого-нибудь чувства, доминирующего в данный момент. Всякий раз, как человек приходит к убеждению, что те или другие приказания ему *должны быть* сделаны со стороны, он становится «верующим»; в противном случае он проявлял бы желание и силу самоопределения, он думал бы о *свободе* воли, при которой дух отказывается от всякого верования, от всякого желания достоверности, он ловко оставался бы на легкой привязи всякой возможности и танцевал бы на краю пропасти. Такой дух был бы *свободным par excellence.*

О происхождении ученых. – Ученые в Европе появляются при всевозможных общественных условиях и из самых разнообразных слоев общества, как растения, которые не нуждаются в какой-нибудь специфической почве: вот почему они по самому существу своему и невольно оказываются носителями демократической мысли. Но происхождение их всегда обнаруживается в чем-нибудь. Если приучить свой глаз в каждой ученой книге, в каждом научном произведении выделять в процессе творческой работы ученого интеллектуальную его *идиосинкразию,* – а ведь каждый ученый обладает таковой, – то всегда за ней можно заметить «прошлое» этого ученого, его семью, а особенно род ее занятий. Всюду, где чувство признает положение: «это теперь доказано, с этой я покончил», говорит предок в крови и инстинкте ученого, который

высказывается одобрительно уже из «исполненной работы» о своем угле зрения. Вера в известный довод является только симптомом того, что в данном роде работников считалось «хорошей работой». Напр., сыновья всевозможных регистраторов и конторщиков, главная задача которых состояла всегда в том, чтобы приводить в порядок разнообразный материал, разделять его по ящикам и вообще схематизировать, обнаруживают в качестве ученых склонность признавать задачу решенной, как только она будет схематизирована. Попадаются философы, которые, в сущности, исключительно схематизирующие головы, и формальная сторона отцовского ремесла стала их содержанием. Эта способность к классификациям, к созиданию категорий таким образом обнаруживает кое-что; на каждом остается отпечаток его родителей. Сын адвоката в качестве исследователя должен быть также адвокатом: прежде всего он хочет выиграть дело, а затем уже, пожалуй, быть правым. Сыновей протестантского духовенства и школьных учителей можно узнать по той наивной уверенности, с которой они признают свои положения доказанными, раз только они были высказаны задушевно, с горячностью: они в сущности привыкли, чтобы им *верили,* так как в этом и состояло «ремесло» их родителей! Евреи, наоборот, как по кругу своих занятий, так во всей своей прошлой истории меньше всего привыкли к доверию, – и вот взгляните на еврейских ученых: они все большие мастера в логике, говоря иначе, умеют *вырывать* согласие при помощи основных положений; они знают, что с таким оружием можно оказаться победителями даже там, где против них выступают расовые и классовые антипатии, даже в тех случаях, где им неохотно верят. Именно ничего нет демократичнее логики: личности она совершенно не признает и даже кривой нос принимает за прямой. (Заметим кстати: Европа насчет логики, насчет содержания своей головы *в чистоплотности не* мало должна быть благодарна евреям; а особенно немцы, которые до жалкого – раса deraisonnable, которой и теперь еще прежде всего надо «намылить голову».) Всюду, где сказывалось влияние евреев, они выучивали людей точнее разграничивать явления, делать более резкие выводы, писать яснее и чистоплотнее: задача их всегда состояла в том, чтобы вести народ к raison.

Еще раз происхождение ученых. – В желании поддержать свое существование выражается недостаток жизненных средств, ограничение своего главного импульса к жизни, который толкает каждого на то, чтобы *увеличить свою власть* и при этом часто рискует своим самосохранением и даже приносит его в жертву. И когда отдельные философы, как, напр., чахоточный Спиноза, видели и должны были видеть в так называемой потребности самосохранения решающий мотив, мы считаем подобный взгляд симптомом того, что эти люди испытывали известные затруднения в средствах к существованию. Тот факт, что наше естествознание запуталось подобным же образом со спинозовским догматом (а это особенно грубо сказалось в дарвинизме в его непонятно одностороннем учении о «борьбе за существование»), – находит себе, вероятно, объяснение в происхождении большинства наших исследователей природы: они принадлежат в этом отношении к «народу», предки их были бедными и незначительными людьми, которые прекрасно знали, что такое значит пробивать себе путь в жизни. Вокруг всего английского дарвинизма стоит удушливая атмосфера перенаселенной Англии, пропитанной запахом нужды и тесноты, в которой живут маленькие люди. Но и исследователю природы необходимо выйти из того угла, куда забилось человечество: и ведь в природе *царит не* нужда, а излишество, расточительность, доведенная до неразумного. Борьба за существование представляет только *исключение;* временное стеснение воли к жизни; великая и малая борьба повсюду происходит из-за превосходства, роста, расширения, из-за власти, сообразно с тем желанием властвовать, в котором только и проявляется жажда жизни.

Homines religiosi. – Борьба против церкви, между прочим, – вообще же истолковать ее можно во многих значениях, – является борьбою обыкновенных, более удовлетворенных, более искренних, более поверхностных натур против господства более тяжелых, более глубоких и более созерцательных, иначе говоря, более злых и недоверчивых людей, которые долго и ревниво охраняли ценность бытия, а также свое собственное значение: простой инстинкт

народа, его веселый ум, его «доброе сердце» восстали против этих людей. Вся римская церковь покоится на недоверчивости южан к природе человека, которого всегда ложно истолковывали на севере. В этой подозрительности сказалось то наследство, которое европейский юг получил из глубины востока, от таинственной прародительницы – Азии и ее созерцательной жизни. Уже протестантизм является мятежом в пользу более прямодушных, чистосердечных и поверхностных людей (север всегда по сравнению с югом отличался большим великодушием и большей пошлостью своих воззрений); но только Французская революция передала скипетр вполне и торжественно в руки «хорошему человеку» (овце, ослу, гусю и всем неисправимо плоским существам, крикунам и людям, созревшим для умалишенного дома «современных идей»).

В честь священнослужителей по призванию. – Я думаю о мудрости, как ее понимает народ (а кто же в настоящее время не принадлежит к «народу»?) – о том благоразумном спокойствии, благочестии и пастырской кротости. Философы всегда были очень далеки от этих чувств, вероятно, потому, что были достаточно далеки в этом отношении и от народа, и от пастырей. – Они очень поздно поверят тому, что народ *должен* понимать кое-что о великих *страданиях* – как ни чужды они ему – познающего, который постоянно живет, должен жить в грозовых тучах высших проблем и самой тяжелой ответственности. Народ в своем идеале «мудреца» почитает людей совершенно особого рода, и тысячу раз прав, отличая их лучшими своими словами и почестями: это кроткие, суровые, простосердечные и целомудренные пастыри по призванию, люди, родственные ему по природе, – им-то он и изъявляет свою похвалу во всенародном благоговении перед мудростью. Да к кому мог бы народ чувствовать большую благодарность, как не к этим людям, которые к нему принадлежат, из него происходят, но вместе с тем являются посвященными, избранными, принесенными в жертву ради его блага, перед которыми безнаказанно можно излить свое сердце, которым можно открыть все свои тайны, все свои заботы и все свои скверны (человек, «открывающий свое сердце», отделывается от самого себя, а «исповедовавший» забывает). Здесь сказывается великая нужда: для всякой духовной скверны требуются водосточные канавы и чистая вода, нужны быстрые потоки любви и сильные, покорные, чистые сердца, которые жертвуют собой ради этой невидимой гигиены, – ибо пастырство остается принесением людей в жертву… На таких людей «веры», принесенных в жертву, успокоенных и суровых, народ смотрит, как на *мудрецов*; мудрец на его языке значит познающий, человек «прочный» по сравнению с собственной его необеспеченностью: кто мог бы отнять у него это слово и это благоговение? – Но справедливо и обратное: у философов пастырь остается одним из «народа», а не человеком «познающим» прежде всего потому, что они сами не верят в людей «познающих» и даже вера и суеверия эти, на их взгляд, слишком отзываются «народом». *Скромностью* изобретено в Греции слово «философ» и предоставлено актерам духа заносчиво называть себя мудрецами, – но то была скромность таких чудовищ гордости и самовластия, как Пифагор, как Платон.

Насколько мораль оказывается для нас излишней. – Нагой человек представляет, говоря вообще, зрелище зазорное – я имею в виду европейцев (но даже не европеек!) Представьте себе, что какая-нибудь очень веселая застольная компания увидала бы себя вдруг по мановению волшебника без одежды; мне думается, что сотрапезники при этом потеряли бы не только веселое настроение духа, но и самый сильный аппетит, – и, кажется, что мы, европейцы, совершенно не можем обойтись без маскарада, т. е. одежды. Но разве не такие же веские основания существуют для маскирования «морального человека», для того, чтобы он завертывался в моральные формулы и приличия, чтобы мы совершенно добровольно скрывали свои поступки под понятиями долга, добродетели, здравого смысла, честности, самоотречения? И не потому, чтобы, на мой взгляд, здесь должна скрываться человеческая злоба и подлость, короче говоря, дурной, дикий зверь; а наоборот, отвратительный вид мы, на мой взгляд, имеем в качестве *ручных животных* и именно, как таковые, и нуждаемся в моральном одеянии, – «внутренний

человек» в Европе далеко не так плох, чтобы не мог переносить своего собственного вида (и чтобы быть вместе с тем *прекрасным).* Европеец надевает на себя мораль, потому что он сделался больным, болезненным, изувеченным животным, потому что у него имеются полные основания быть «ручным», потому что он представляет собой почти урода, что-то половинчатое, слабое, неуклюжее… Не страх хищного животного заставляет искать моральное одеяние, но глубокая посредственность стадного животного, боязнь самого себя и скука, которую он сам наводит на себя. *Мораль принаряживает европейца* – сознайтесь – в более благородные, значительные, видные формы, во что-то «божественное».

О происхождении религий. – Изобретательность основателей религий сказывается прежде всего в том, чтобы найти определенный образ жизни и повседневных отношений, который действовал бы, как *disciplina voluntatis*, и освобождал человека от чувства тоски; затем, *истолковать* эту жизнь так, чтобы она являлась пред человеком, окруженная ореолом высшей ценности, чтобы она сделалась благом, за которое люди борятся и даже, при случае, рискуют своею жизнью. В действительности наиболее существенной оказывается вторая из этих двух задач, ибо искомый образ жизни находится в данной среде, но только не выделен, и люди не сознавали, какую ценность он представляет. Значение, оригинальность основателя религии сказывается обыкновенно в том, что он *видит* этот образ жизни, *избирает* его и первым *угадывает,* на что он нужен, как он может быть истолкован. Так, напр., тот образ жизни, на котором остановился Будда, встречался во всех состояниях и на всех общественных ступенях его народа; такую жизнь вели люди, которые оказывались хорошими и добрыми (а прежде всего безобидными), благодаря своей ленивой природе, которые, благодаря той же лени, жили воздержанно, не замечая почти никакой нужды. Он понял, насколько неизбежно, со всей *vis inertiae,* нужно охватить подобных людей верой, обещающей *предотвратить* возврат земной тяготы (т. е. труда, занятий вообще), – вот в этом-то «понимании» и выразился его гений. Основатель религии умеет непогрешимо определять средний показатель таких духовных настроений, о связи которых раньше никто *не знал.* Он соединяет их всех вместе, и основание какой-нибудь религии в этом отношении является всегда продолжительным праздником познания.

О «гении рода». – Вопрос о сознании (вернее, о самопознавании) выступает перед нами впервые с того момента, когда мы начинаем понимать, насколько мы можем без него обходиться; а к этому нас ведет теперь и физиология, и история животного царства (которым понадобилось таким образом два столетия для того, чтобы настигнуть постоянно улетающую вперед догадку *Лейбница).* Мы могли бы именно думать, чувствовать, желать, вспоминать, мы могли бы равным образом исполнять какое угодно «дело», совершенно не нуждаясь, чтобы все это «доходило до нашего сознания» (выражаясь образно). Вся жизнь была бы возможна даже и в том случае, если бы она, так сказать, и не видала своего изображения в зеркале. Действительно, даже и теперь значительно большая часть этой жизни проходит без такого отражения, – и именно тех процессов жизни, в которых сказывается наша мысль, чувство, желание, как бы не показалось это оскорбительным более древнему философу. На что же нужно тогда вообще сознание, если оно оказывается *излишним* даже в таких важных пунктах? – Мне кажется, – если только вам угодно будет выслушать мой ответ на этот вопрос и мои, пожалуй, слишком свободные взгляды, – мне кажется, что тонкость и сила сознания всегда находятся в известном отношении *к способности* человека (или животного) *к общению* с себе подобными, а эта потребность, в свою очередь, зависит от *необходимости б общении.* Однако это последнее положение не следует понимать в таком смысле, как будто каждый индивидуум, даже такой, который проявляет особое искусство в общении и в изъяснении своих потребностей, должен в этих самых потребностях зависеть по большей части от других. Но так именно дело обстоит, на мой взгляд, по отношению к целым расам, к цепи сменяющихся родов: где потребность, нужда заставляла людей долгое время обращаться к общению, быстро и тонко понимать друг друга, там, наконец, образуется излишек этой силы и искусства общения, и в то же время постепенно нарастает спо-

собность и ждет наследника, который и будет ее расточительно тратить (такими наследниками являются так называемые художники и артисты, а также ораторы, проповедники, писатели – все люди, которые появляются в конце длинной цепи и, как сказано, по самому существу своему оказываются *расточителями).* Если вы согласны признать это наблюдение справедливым, то я перехожу дальше к мысли, что *сознание вообще развивалось исключительно под давлением потребности в общении,* что необходимость и польза его издавна признавались в сношениях между людьми (особенно между лицом приказывающим и повинующимся) и развивалось лишь, поскольку оказывалось полезным в данном отношении. Сознание является собственно сетью, соединяющей людей друг с другом, – и в этом смысле должно было развиваться, одинокий хищник не нуждался бы в нем. Тот факт, что наши поступки, мысли, чувства, движения – по крайней мере, часть их – достигают нашего сознания, является в результате чрезвычайно долгого требования, имевшего силу над человеком: ему, как животному, которому со всех сторон грозили страшнейшие опасности, нужна была помощь, защита, он нуждался в равном себе, он должен был суметь выразить свою нужду, заставить понять себя, – а для всего этого прежде всего необходимо «сознание», необходимо «знать» самому, чего ему недостает, «знать» о своем настроении, «знать» о своих думах. Повторим же еще раз: человек, как всякое живое создание, думает постоянно, не зная об этом процессе, но созидающая мысль *сознает* только самую маленькую часть своей работы, – скажем, самую поверхностную, самую дурную часть, ибо только такая осознанная мысль *облекается в слова, т. е. в знаки общения,* при помощи которых мы констатируем наличие сознания. Короче говоря, развитие речи и развитие сознания (w# разума, а только самопознания разума), идут рука об руку. Прибавим, что не только речь служит мостиком, перекинутым от одного человека к другому, но и взгляды, пожатие рук, жесты. По мере того, как росла необходимость передавать свои чувства *другим,* увеличивалось в массе и умение распознавать выражение наших чувств, способность фиксировать их и переносить их во внешний мир. Человек, измышляющий подобные знаки, является вместе с тем человеком, который все яснее и яснее познает себя; только, как социальное животное, человек научается познавать самого себя – он занимается этим и теперь еще и занимается все больше и больше. – Мысль моя, как видите, заключается в том, что сознание является собственно принадлежностью не индивидуальности человека, а его общественной и стадной природы; что оно, следовательно, развивается, поскольку приносит пользу общественной и стадной жизни, а потому, несмотря на самое искреннее желание понять свою собственную индивидуальность, «познать самого себя», мы будем доводить до своего сознания явления, чуждые нашей индивидуальности, наши «средние». Несомненно, что действия наши в самой своей основе оказываются несравнимыми, как явления личные, в своем роде единственные, безгранично индивидуальные; но как только мы доведем их до своего сознания, *они уже больше не кажутся нам таковыми…* В этом находит свое выражение наш собственный феноменализм и перспективизм, как я его понимаю. Самой природой *животного сознания* обусловливается тот факт, что мир, поскольку он доходит до нашего сознания, оказывается миром поверхностных явлений и признаков, общественным, опошленным миром, – что все, доступное нашему сознанию, *становится* плоским, жидким, относительно глупым, общим, что при всяком процессе познания мы портим, фальсифицируем, делаем поверхностными и обобщаем явления. Наконец, рост сознания представляет опасность; и кто живет между европейцами, этими самыми сознательными существами из всех людей, тот знает, что оно является болезнью. Оно, как вы догадываетесь, не будет контрастом между субъектом и объектом: такое различие я предоставляю делать теоретикам познания, которые завязли в изгибах грамматики (народной метафизики). Оно не будет также контрастом между явлением и «вещью в себе», ибо наши знания далеко недостаточны для того, чтобы мы решились на такие *различая. У* нас нет органа для *познания,* для «истины»: мы «знаем» (или верим, или воображаем) лишь то, что в интересах человеческого стада, рода, что могло быть ему *полезно;* и даже то, что здесь называется «пользой», в конце

концов, также оказывается верой, воображением и, быть может, прямо той роковой глупостью, которая приведет нас к окончательной гибели.

Происхождение нашего понятия: «познание». – Я беру это слово в таком смысле, какой придает ему улица. Когда мне приходилось слышать, что кто-нибудь в народе говорил: «он узнал меня», я задавал себе вопрос, что собственно народ подразумевает под словом: «познание»? чего он хочет, ища «познания»?

Явление чуждое свести на нечто *знакомое,* и ничего больше. А разве мы, философы, ждем от познания большего? Знакомым явлением для себя мы считаем такое, к которому мы привыкли настолько, что не находим в нем ничего чудесного, свою повседневную жизнь, правило, которым руководимся, все те факты, среди которых мы чувствуем себя у себя дома. – Как? неужели наше стремление к познанию является простым стремлением уже к знакомому? простым желанием под всяким непривычным, чуждым, непонятным явлением открыть нечто такое, что больше нас уже не тревожит?

Разве не *инстинктивный страх* заставляет нас обратиться к познанию? Разве радость познающего не должна быть радостью человека, снова в себе уверенного?.. Философ этот мнит мир «познанным» с тех пор, как свел его к «идее», но разве не потому он сделал это, что данная «идея» для него так знакома, так привычна? не потому, что перед «идеей» он испытывал меньший страх? – Ох уж эта чрезмерная скромность людей познающих! Взгляните на их принципы, посмотрите, как решают они мировые загадки! Как счастливы они бывают, когда им удается открыть в вещах, под вещами или за вещами что-нибудь вполне знакомое нам, напр, нашу таблицу умножения, нашу логику, нашу волю и желания! Ведь «познано то, что знакомо» – на этом положении сходятся все. Даже самые проницательные люди полагают, что знакомое нам явление оказывается *легче познаваемым*, чем явление чуждое; так, напр., в виде метода предлагается исходить всегда из «внутреннего мира», из фактов «нашего сознания», как мира *наиболее* для нас *знакомого!* Да ведь это одно из самых коренных заблуждений! Знакомы нам лишь факты привычные, а «познавать» их, т. е. рассматривать, как проблему, как нечто чуждое, далекое, находящееся, «вне нас» – крайне трудно… Надежность выводов, к которым приходят естественные науки, по сравнению с положениями, добытыми психологией и критикой элементов сознания – этих почти *неестественных* наук, как их следовало бы назвать, – основывается на том, что первые имеют объектом своих исследований нечто *чуждое,* тогда как *желание* взять за объект нечто вообще не чуждое нам представляет некоторое противоречие, некоторую нелепость.

Насколько в европейскую жизнь будет проникать еще художественное, «артистическое» начало. – Несмотря на то, что в наше переходное время многие силы перестали оказывать на человека свое принудительное влияние, заботы о куске хлеба все же и теперь еще заставляют каждого мужчину в Европе выбрать себе известную *роль,* такое называемое призвание. Некоторым из них представляется свобода, – мнимая свобода, – самим избрать себе эту роль, большинство же лишено и этого. Результаты бывают удовлетворительными редко: под давлением своей роли в преклонном возрасте изменяется почти каждый европеец, он становится жертвой своей «хорошей игры», он сам забывает, какое громадное значение имели случай, каприз, произвол, когда решался вопрос о его «призвании», – и как много других ролей он *мог бы* сыграть, если бы теперь не было уже поздно.

Если в это явление всматриваться глубже, то окажется, что действительно из роли *создался* характер, из искусства – природа. Были века, когда люди с напыщенной уверенностью, почти с благоговением относились к мысли, что каждый род занятия, каждый вид заработка себе куска хлеба должен быть предопределен судьбой, и не допускали здесь случая, роли, произвола: сословия, цехи, наследственное право по отношению к тому или другому промыслу при помощи этой веры способствовали тому, чтобы были воздвигнуты те изумительные общественные перегородки, которыми характеризуются Средние века и за которыми

во всяком случае остается одно преимущество – устойчивость (а ведь прочность – на земле величина первого ранга!) А теперь, наоборот, наступили века, собственно демократические, когда все больше и больше отучаются от этой веры и смело выдвигают на первый план противоположную точку зрения, обратную веру, ту веру, которая впервые была замечена у афинян в эпоху Перикла, ту веру современных нам американцев, которая все больше и больше становится верою европейцев: где каждый убежден, что он может почти все выполнить, что он *дорос* почти *до любой роли,* где каждый делает над собой опыты, импровизирует, делает снова опыты, с наслаждением предается этим опытам, где природа перестает действовать и открывается царство искусства… Греки усвоили себе эту *веру* – веру артистов, если угодно, – и проделали, как известно, шаг за шагом превращение удивительное, но далеко не во всем заслуживающее подражание: они *действительно стали актерами*; своей игрой они очаровали, победили весь мир, и наконец одолели и самого «повелителя мира» (ведь *не* греческая культура, как говорят обыкновенно люди неразумеющие, и *qraeculus histrio* победила Рим)… Но я боялся, что мы, совершенные люди, находимся, как в этом не трудно убедиться каждому желающему, на таком же пути; и каждый раз, как человек начинает догадываться, насколько он играет роль и насколько еще дальше он *может быть* актером, он становится актером… Вместе с тем выступает новая флора и фауна людская; которая не могла появиться в более отдаленные и более стесненные века – или же должна была оставаться «внизу» под гнетом презрения, – и это оказываются самые интересные и самые безумные века истории, в которых «актеры», всевозможные актеры, являются настоящими господами положения. Но зато люди другого рода и прежде всего великие «творцы» истории страдают все глубже и глубже от этих условий, и, наконец, существование их становится невозможным; созидающая сила теперь хромает; пропадает всякое желание строить планы на далекое будущее; организаторский гений начинает иссякать: кто осмелится теперь предпринять работу, на исполнение которой должны *потребоваться* целые столетия? Отмирает та коренная вера, на которую человек может таким образом рассчитывать, надеяться, которая позволяла бы ему предвосхищать будущее в своем плане, жертвовать ради своего плана, ибо человек именно до тех пор представляет собой известную, осмысленную величину, пока он представляет *камень в каком-нибудь великом строении:* но для этого прежде всего он должен быть *твердым,* он должен быть «камнем», а не актером! Короче говоря, – ах, еще довольно долго придется скрытничать, – отныне не будет подвигаться вперед, не *может* подвигаться вперед дело возведения общества, употребляя это слово в старом смысле его; для этой постройки ничего нет, а прежде всего не хватает материала. *Мы все не можем уже больше служить материалом для общества;* это истина, для которой теперь приспело время! И я совершенно равнодушно отношусь к тому, что наши господа социалисты, эти самые близорукие, а вместе с тем самые честные, и во всяком случае самые беспокойные люди нашего времени, все еще верят почти в обратные положения, надеются на них, мечтают, пишут и кричат о них. Ведь лозунг их: «свободное общество» и теперь уже написан на всех столах и стенах. Свободное общество? Да! Да! Но знаете ли вы, господа, из какого материала его строят? Из железного дерева! Из знаменитого железного дерева! а не из деревянного…

К старой проблеме: «что следует считать немецким»? – Пересчитаем все благоприобретения философской мысли, за которые мир должен благодарить нас, немцев: можно ли их, при сколько-нибудь добросовестном отношении поставить на счет всей расе? Или иначе говоря: являются ли они в то же время произведениями «немецкой души», по крайней мере, ее симптомом, в таком же смысле, в каком мы, напр., считаем проявлением и признаком «греческой души» идеоманию Платона, его чуть не безумную религию формы? Или справедливо обратное положение? Или же все эти философские системы были настолько индивидуальны, представляли такое же резкое *исключение* из общего духа расы, как, напр., язычество Гете? Или, как маккиавелизм Бисмарка, его так называемая «реальная политика» у немцев? Быть может, наши философы идут даже вразрез с потребностями «немецкой души?» Короче говоря,

были ли немецкие философы философами-*немцами?* – В ответ на этот вопрос я припомню три факта. Прежде всего о несравненной проницательности *Лейбница,* благодаря которой он вышел победителем не только над Декартом, но и над всеми философами, появлявшимися до него, и которая подсказала ему мысль, что сознание является лишь побочным элементом представления, а «сможет считаться необходимым и существенным его атрибутом, и что явление, которое мы обозначаем словом «сознание», представляет только известное состояние нашего душевного и духовного мира (быть может, даже болезненное состояние), *а само по себе вовсе не существует.* Заключается ли что-либо специфически немецкое в этой мысли, которая так глубока, что не исчерпана еще вполне и до настоящего времени? Разве есть основание предполагать, что латинянину не так легко пришла на мысль представить картину в таком обратном виде? – Вспомним, во-вторых, о том чудовищном вопросе *Канта,* который он начертал относительно понятия «причинности», не подвергая сомнению вообще права этого понятия, как это сделал Юм, а лишь точнее отграничивая область, внутри которой это понятие вообще имеет смысл (и до сих пор пограничная борозда здесь не везде еще проведена).

Если мы возьмем, в-третьих, удивительный прием *Гегеля,* который оказал давление на всю область традиционной логики при помощи своего учения о том, что все видовые понятия развиваются *друг из друга:* при помощи этого положения умы в Европе были подготовлены к последнему великому научному движению, дарвинизму, ибо без Гегеля не было бы и Дарвина. Есть ли что-нибудь специфическое в этой гегелевской новинке, которая впервые внесла в науку строго определенное понятие «развития»? – Да, без всякого сомнения, мы, немцы, чувствуем, что мы во всех этих трех случаях кое-что сами открыли, кое до чего сами додумались, и мы полны за это благодарности и в то же время изумления; каждое из этих трех положений является выводом нашего немецкого разума в процессе самопознания, самоиспытания, самопроникновения. «Наш внутренний мир гораздо богаче, объемистее, скрытнее», – вот что чувствуем мы вместе с Лейбницем; как немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в законности научного познания и вообще во всем, что может быть познано *causaliter,* и познаваемое, как таковое, представляет для нас уже меньшую ценность. Мы, немцы, были бы геге-

льянцами даже в том случае, если бы Гегеля никогда не существовало, поскольку (в противоположность всем латинянам) процессу образования, развития мы инстинктивно придаем и больший смысл и более богатое значение, чем всему «сущему», едва даже веря в справедливость понятия «бытия»; – и во всяком случае, поскольку мы не проявляем склонности приписывать нашей человеческой логике значение логики самой в себе, единственной логики (мы могли бы скорее убедить себя, что он представляет собой особый вид логики и, быть может, логику самую странную и самую неразумную). – Четвертый вопрос наш заключался бы в следующем: должен ли *Шопенгауэр* со своим пессимизмом, т. е. со своей проблемой *ценности бытия,* быть именно немцем. Не думаю. Событие, вслед за которым можно было ожидать появление этой проблемы с такой уверенностью, что астроном души мог бы высчитать для этого день и час, должно быть общеевропейским событием, в котором каждая раса имеет свою долю заслуги и чести. Наоборот, немцам, – современникам Шопенгауэра, – мир обязан тем, что эта победа атеизма была *задержана* самым рискованным образом на самое продолжительное время; именно *per excellence* заслуга в этом отношении принадлежит Гегелю, с его грандиозной попыткой убедить нас в конце концов в божественности бытия при помощи нашего шестого чувства, «исторического чувства». Шопенгауэр, как философ, был *первым* у нас немцем, атеистом, который открыто и упорно объявлял о своем атеизме: он имел полное основание для своей вражды к Гегелю. Положение, что в бытии нет ничего божественного, казалось ему как нечто данное, осязаемое, неоспоримое; он терял свою философскую осторожность и увлекался негодованием каждый раз, когда видел, что кто-нибудь здесь медлит и действует обиняками.

В то время, как мы, европейцы, таким образом отталкиваем от себя христианское истолкование явлений и «смысл» его считаем фальшивой монетой, встает перед нами неожиданно во всем своем ужасе *шопенгауэровский вопрос: Заимеет ли бытие вообще какой-нибудь смысл*? – тот вопрос, который потребует еще две сотни лет для того, чтобы проникли во всю его глубину. В ответе Шопенгауэра на этот вопрос было, – да простит мне читатель, – что-то поспешное, юношеское… Но он *поставил* вопрос, и сделал это, повторим, не как немец, а как европеец. – А разве немцы, по крайней мере, в своем процессе усвоения шопенгауэровского вопроса проявили свое предрасположение и родство, свою подготовленность к его проблеме и свою потребность в ней? Тот факт, что в Германии после Шопенгауэра – впрочем уже спустя довольно много времени! – стали думать и писать о поставленной им задаче, еще не говорит в пользу такого предрасположения; напротив, из него скорее даже можно вывести заключение об их полной *не способности* к пессимизму, оставшемуся после Шопенгауэра: из всего видно было, что немцы не могли с ним достаточно освоиться. Здесь я совершенно не имею в виду Эдуарда Гартмана; напротив, и до сих пор я не могу избавиться от своего прежнего подозрения относительно того, что Гартман для нас оказался слишком *ловким* писателем, я хочу сказать, что он, быть может, как человек лукавый, не только потешался вначале над немецким пессимизмом, – что он мог в конце концов и немцам завещать такое же отношение, насколько возможно было в наш век положительных знаний одурачить даже их. Но я спрашиваю: пожалуй, следует признать немцем и Банзена, этот старый волчок, который со сладострастием всю жизнь свою вертелся вокруг реально диалектической нищеты и «личного несчастья» – разве это могло быть чисто немецким явлением? (я рекомендую его произведения, причем сам я придаю им антипессимистическую ценность, именно в виду их *elegantiae psychologicae,* при помощи которых, мне думается, можно оказать целебное воздействие на самое запущенное тело и самую истрепанную душу). Или нам следует считать истинными немцами таких дилетантов и старых дев, как Майнлэндер, этот слащавый апостол девственности? В крайнем случае ему следовало быть евреем (все евреи впадают в слащавый тон, когда начинают морализировать). Ни Банзен, ни Майнлэндер, ни даже Эдуард Гартман не сумели как следует взяться за вопрос о том, не является ли пессимизм Шопенгауэра, тот испуганный взор, который он вперял в мир, лишенный божественного начала, в мир, сделавшийся немым, слепым, в мир, лишенный разума и

требующий от человека ответа, его *честный* ужас… не является, повторяю, все это не только исключением в немецкой жизни, но даже целым событием в ней. Ведь в самом деле все, что состоит в ней на первом плане, – наша храбрая политика, наша веселая привязанность к отечеству, которая все вопросы решает при помощи несложного философского принципа («Германия, Германия прежде всего»), т. е. *subspecie speciei* – совершенно ясно свидетельствует о противном. Нет! Немцы данного момента – *далеко не* пессимисты! И Шопенгауэр был пессимистом, как я уже говорил, *не* в качестве немца, а в качестве европейца.

Мятеж крестьянского духа. – Мы, европейцы, живем среди страшного разрушения всего мира, где одни обломки высоко торчат вверх, многое сгнило и имеет неприятный вид, а большинство предметов лежит на земле в довольно живописном беспорядке, – где найдешь еще более прелестные руины? – и поросло большими и мелкими сорными травами……

……..

Но всего удивительнее то, что немцы, которые так много потрудились над тем, чтобы поддержать и сохранить христианство, оказываются самыми страшными его разрушителями. Немцы, по-видимому, не понимают сущности церкви. Разве для этого они недостаточно умны? недостаточно недоверчивы?……..

……..

Лютеровская Реформация была, если брать ее во всей ее широте, выражением гнева простых людей против чего-то «многообразного», говоря осторожно, грубым, простодушным непониманием, которому многое должно простить: люди не умели схватить красоту *победоносной* церкви и видели только повсюду испорченность нравов, не понимали благородного скептицизма, той роскоши скептицизма и терпимости, которую позволяет себе всякая победоносная, сознающая себя сила… В настоящее время мало обращают внимания на то, как во всех кардинальных вопросах о силе Лютер роковым образом оказывался кратким, поверхностным, непредусмотрительным. Это обусловливалось прежде всего тем, что он вышел из народа, которому в наследство ничего не досталось от господствующей касты, от инстинктивного влечения к силе. Таким образом его работа положила только начало разрушительной деятельности. С благородной злобой рвал он ткань, на которую старый паук употребил так много времени и так много забот. Он открыл доступ к священным книгам каждому, – и они попали тогда, наконец, в руки филологов, этих губителей всякой веры, которая покоится на спасении. Устраняя веру во вдохновленность соборов, он разрушал и самое понятие «церкви», ибо понятие «церкви» черпает свою силу из того предположения, что самое вдохновение, под влиянием которого была основана церковь, еще живет в ней, еще ожидает и продолжает свою созидательную работу. Он снова разрешил священнослужителям сношения с женщинами: но три четверти того благоговения, на которое способен народ и особенно женщины из народа, покоится на уверенности, что человек, представляющий исключение в данном отношении, является исключением и в другом; и именно в этой уверенности находит своего тончайшего и искуснейшего адвоката народная вера в наличие чего-то сверхчеловеческого в самом человеке, в наличие чуда. Давая жену священнослужителю, Лютер должен был бы отнять у него тайную исповедь; это было бы справедливо с психологической точки зрения, но вместе с тем в корне уничтожало значение христианского священнослужителя, польза которого и заключалась главным образом в том, что он был всегда священным ухом, скрытым родником, могилой для тайны. За формулой «каждый должен быть своим собственным священнослужителем» и за мужицкой хитростью скрывалось у Лютера глубокая ненависть к высшему человеку и господству «высшего человека», как его понимала церковь: – он разбил идеал, до которого не сумел подняться, хотя ему казалось, что он с ожесточением борется против вырождения этого идеала. Действительно, этот невозможный монах оттолкнул от себя *господство homines religiosi;* таким образом внутри религиозной общины он вызвал тот «крестьянский бунт», проявлению которого в гражданском

обществе он препятствовал всеми своими силами. Но разве найдется такой наивный человек, который стал бы теперь хвалить или порицать Лютера за все те дурные и благия последствия, которые выросли на почве его Реформации и теперь еще не могут быть достаточно учтены? Он ни в чем не повинен, ибо не ведал, что творит. Несомненно, что вместе с лютеровской Реформацией сделал сильный шаг вперед тот процесс, который опошляет дух североевропейских народов; таким путем возрастала подвижность и беспокойство духа, его жажда независимости, его вера в право на свободу, его «естественность». Если, наконец, вам угодно в число заслуг лютеровской Реформации поставить ее содействие тому явлению, которое мы в настоящее время почитаем как «современную науку», то вы, конечно, должны согласиться, что она в то же время содействовала вырождению современных ученых, убавила у них чувство благоговения, стыда, сделала их более мелкими, отняла у них всю наивность чистосердечия и прямоты в вопросах познания, короче говоря, она виновата в том *плебеизме духа,* который составляет такую характерную особенность двух последних столетий и от которого нас до сих пор еще не освободил современный пессимизм. – Да, «современные идеи» являются еще продуктами этого крестьянского бунта северных народов против более холодного, двусмысленного, недоверчивого духа южных жителей… Не забудем же, наконец, что такое представляет собою церковь в противоположность ко всякому государству. Она является прежде всего образцом такой власти, где за *более одухотворенными* людьми обеспечено самое высокое положение, при которой люди настолько верят в мощь духовного начала, что отказываются от всяких более грубых средств насилия, – и церковь таким образом при всяких обстоятельствах оказывается более благородным институтом, чем государство.

Месть духу и другие скрытые основания морали. – Как вы думаете, кто самый опасный и самый коварный адвокат морали?.. Это – неудачник, у которого не хватает духа радоваться своим неудачам, но который достаточно образован, чтобы сознавать их; это человек, которому все надоело, наскучило, который сам себя презирает; небольшое наследство отняло у него, к сожалению, и последнее утешение, «благословение труда», самозабвение в «ежедневной работе»; это человек, который в сущности стыдится собственного своего существования – который к тому же, быть может, приютил у себя один-другой небольшой порок. Благодаря книгам, на которые он не имеет никакого права, или под влиянием более развитого общества, если он в состоянии его переваривать, он не может не избаловываться все больше и больше и становится суетно-раздражительным. Такой неудачник отравляется все больше и больше, ибо ум для него становится ядом, образование – ядом, имущество – ядом, одиночество – ядом, и он преуспевает в конце концов только в мести, желании мести… как вы думаете, разве не будет он чувствовать неотступной нужды сделать перед самим собой вид, что он считает себя выше других более умных и одухотворенных людей, для того, чтобы вполне упиться, хотя бы только в воображении, усладой *исполненной мести. Нравственность,* о которой еще приходится спорить, громкие слова, шумные разговоры о справедливости, мудрости, святости, добродетели, стоицизм жестов (как хорошо прикрывает стоицизм все то, чего *не* хватает человеку!..), плащ глубокомысленного молчания, снисходительности, кротости и все другие наряды идеалистов, в которых щеголяют эти люди, неизлечимо страдающие чувством презрения к себе и суетностью, вот с чем он никогда не расстается. Но не истолкуйте моих слов ошибочно: из среды таких людей, уже прямо родившихся *брагами духа,* появляются индивиды, которые почитаются народом под именем святых, мудрецов; из числа таких людей происходят те чудовища нравственности, которые производят шум, делают историю, – святой Августин принадлежит к ним. Страх перед духом, месть духу, – о как часто эти пороки, обладающие способностью к росту, становились корнем добродетелей! Самой добродетелью! – И, говоря между нами, разве то притязание *на мудрость,* которое выказывали философы, глупейшее, и самое нерешительное из всех притязаний, не было до сих пор, как в Индии, так и в Греции, *прежде всего убежищем, куда можно человеку укрыться*?..Ново многих случаях это стремление философа укрыться от

утомления, старости, охлаждения, очерствелости выступает, когда человек чувствует близость своего конца, оказывается благоразумным проявлением того инстинкта, который мы видим у умирающих животных: они отходят в сторону, делаются тихими, ищут уединения, зарываются в норы, становятся мудрыми… Как? Мудрость является оплотом философа от духа?

Два рода причин, которые обыкновенно людьми смешиваются. – Моей существенной заслугой, по-моему, будет мое учение о необходимости различать причину, побуждающую человека к действию вообще, от причины, направляющей деятельность его известным образом, к известной цели. Первая причина представляет собой сумму всех потенциальных сил человека, которые только и ждут того, чтобы найти себе к чему-нибудь приложение; второй же род причин, по сравнению с первой силой, является незначительным поводом, который «разряжает» тот запас силы известным, определенным образом: эта последняя причина по отношению к первой играет такую же роль, как спичка по отношению к пороховой бочке. К числу всех этих незначительных и случайных поводов, этих спичек, я отношу все так называемые «цели» и еще более пресловутые «призвания жизни»: они сравнительно величины произвольные, почти безразличные по отношению к тому громадному запасу сил, которые, как сказано, стремятся найти себе где-нибудь приложение. Обыкновенно же люди смотрят на вещи совершенно иначе: в цели (призвании и т. д.) они привыкли видеть *движущую* силу, как этому учило старое заблуждение, – между тем, как всякая цель (призвание и т. д.) является лишь *направляющей* силой; таким образом смешивают с паром кормчего, и даже не всегда кормчего, направляющую силу… Разве «цель» не служит довольно часто только красивой отговоркой, лишним ослеплением, суетностью, которая не хочет сознаться, что корабль идет по течению, куда он попал случайно? Что он «хочет» лишь *потому у что* он *должен*? Что он действительно держится известного направления, но кормчего у него нет? – Да, понятие «цели» необходимо еще подвергнуть критике.

О проблеме актера. – Проблема актера беспокоила меня очень долгое время; я оставался в неведении (да и теперь еще иногда не знаю), не будут ли исходить только из нее, когда придется считаться с опасным понятием «артист», – одним из тех понятий, с которыми до сих пор обращались с непростительным легкомыслием. Обман с покойной совестью: стремление к притворству, как силе, вспыхивающей, отодвигающей в сторону так называемый «характер»; затопляющей; иногда погашающей; внутреннее стремление к роли, к маске, к наружному блеску; излишняя способность приспособляться ко всевозможным положениям, не довольствуясь в этом отношении указаниями ближайшей пользы в самом тесном смысле этого слова: или, быть может, все это признаки не *только* актера?..

Подобный инстинкт легче всего образуется в семьях, принадлежащих к низшим слоям общества, которым приходится проводить свою жизнь в тяжелой зависимости и под давлением изменяющихся обстоятельств, уступчиво скрываться к себе, в укромное место, всегда по-новому устраивать свою жизнь при новых обстоятельствах, приспособившись распускать свой плащ по *всякому* ветру и чуть ли целиком не обертывалась в подобный плащ, как истинный мастер того искусства вечной игры в прятки, которое нашло свое воплощение в животном царстве в так называемой *mimicry*. Способность эта накопляется из рода в род, становится властной, неразумной, необузданной, в качестве инстинкта научается повелевать другими инстинктами и воспитывает актера, «артиста» (шалопая, рассказчика небылиц, паяца, глупца, клоуна прежде всего, а затем классического лакея, Gil Blas: ибо именно в этих типах являются в истории предтечи артиста и довольно часто даже «гения»). Но раз существует подобное давление, то и при высших общественных условиях вырастает такого же рода человек, только актерский инстинкт при этом в большинстве случаев держится в узде каким-нибудь другим инстинктом, как напр., у «дипломата». Что же касается евреев, народа, в совершенстве обладающего искусством приспособливаться, то, следуя указанному ходу мыслей, можно видеть в них как бы приспособление мировой истории для выкормки и вывода актеров: и, действительно, в насто-

ящее время совершенно уместно задать вопрос: кто из хороших актеров в настоящее время – не еврей? В качестве прирожденных литераторов, в качестве действительных владык европейской прессы, еврей также силен своей актерской способностью, ибо каждый литератор в сущности оказывается актером, а именно на ролях «человека компетентного» и «специалиста». – Наконец, разве не *должны* быть прежде всего актрисами женщины, если говорить о женщинах вообще? Послушайте врачей, которые гипнотизировали женщин; наконец, полюбите их, – дайте им «загипнотизировать» нас. Что же всегда при этом оказывается? Да оказывается, что они «играют себя» даже в том случае, когда отдаются… женщина ведь – такая артистическая натура.

Ми видим, что Европа все более и более будет приобретать мужской характер. – Благодаря Наполеону (а никак не Французской революции, которая окончилась братством народов и всеобщим цветистым обменом сердечных излияний), мы имели два воинственных столетия, которые следовали одно за другим и которым в истории не было ничего равного, говоря короче, мы вступили *в классический век войны,* ученой и вместе с тем народной войны в огромном масштабе, век, на который грядущие столетия будут смотреть с завистью и почтением, как на что-то совершенное. На самом деле национальное движение, из которого вырастает эта военная слава, представляет только противо*шок* по отношению к Наполеону и без него не имело бы места. В заслугу ему должны мы также поставить то обстоятельство, что *муж* в Европе снова стал господином над купцом и филистером и, пожалуй, даже над женщиной, которую так избаловали христианство, сумасбродный дух XVIII столетия и «современные идеи». Наполеон, который на современные идеи, а потому и на цивилизацию Европы смотрел, как на своих личных врагов, оказался, благодаря этой вражде, величайшим продолжателем Возрождения: он снова воздвиг античную фигуру. И, кто знает, быть может, ей в конце концов покорится национальное движение, и она должна стать прямой наследницей и продолжательницей Наполеона, который, как известно, хотел, чтобы единая Европа была владычицей всей *земли.*

Как относятся к любви мужчины и женщины. – Несмотря на все уступки, которые я готов делать моногамическому предрассудку, я никогда не соглашусь говорить об *одинаковых* правах в любви у мужчины и женщины: этого и в действительности нет. Мужчина и женщина понимают под словом «любовь» нечто различное даже в том случае, когда они взаимно связаны этим чувством и это оттого, что один пол предполагает у другого пола *не* одно и то же чувство, *не* одинаковое понятие «любви». Нетрудно сообразить, какие представления связываются у женщины со словом «любовь»: любить для нее значит всецело отдаться и душою, и телом, без оговорок, без оглядки, она скорее испытывает даже стыд и ужас перед мыслью обставить свой дар, свою жертву какими-нибудь условиями, ограничить какими-нибудь оговорками. Благодаря присутствию всяких условий любовь ее становится *верой* и у женщины она не может быть ничем иным. – Мужчина, когда он любит женщину, именно этой любви и *хочет* от нее, а потому у него-то самого меньше всего следует искать такой же женской любви; но если допустить, что должны существовать мужчины, которым также не чуждо стремление отдать себя всецело в порыве любви, то такие мужчины не будут больше мужчинами. Мужчина, который любит любовью женщины, становится рабом, но женщину такая же любовь делает *совершенной…* Страсть женщины с ее безусловным отказом от собственных прав заставляет предполагать, что с другой стороны нет подобного пафоса, нет подобного добровольного отказа. В самом деле, что получилось бы, если бы в любви обе стороны одинаково отказывались от себя, – быть может, *terror vacui?* – Женщина желает, чтобы ее принимали за объект владения, она хочет входить составной частью в понятие «владения», следовательно, она желает такого человека, который *берет,* который не отдает самого себя, а, наоборот, должен еще обогатить свой внутренний мир ее силой, счастьем, верой: этого только она и хочет. Женщина отдает себя, мужчина принимает ее дар – и этот естественный контраст, мне думается, нельзя устранить ни социальным договором, ни самыми искренними пожеланиями справедливости, как

нам ни хотелось бы, чтобы вся жестокость, ужас, загадочность, безнравственность этого антагонизма не стояла постоянно перед нашими глазами. Ибо любовь, если ее брать во всем ее объеме, является самой природой и, как природа, будет вечно чуждой всякой морали. – *Верность* поэтому оказывается составным элементом женской любви, что видно из ее определения; и мужчина *может* легко приобрести верность в любви, под видом ли благодарности или идиосинкразии вкуса, или так называемого избирательного сродства, но верность никогда не будет *существенной* частью его любви, – и можно даже с полным правом говорить об естественной противоположности между любовью и верностью у мужчины, той любовью, которая проявляется в желании обладать, а *не* в *отказе,* в самопожертвовании; а это желание исчезает всякий раз, как только обладание достигнуто… И, действительно, любовь у мужчины остается в полной силе благодаря тому, что он редко и поздно признается себе в таком «обладании», а потому острее чувствует потребность в нем и недоверчивее к нему относится, и до тех пор, пока любовь может еще развиваться в сторону самопожертвования, мужчина нелегко согласится с тем, что женщина уже ничего больше не может принести ему в жертву.

Отшельник говорит. – Искусство общения с людьми существенным образом покоится на той ловкости (требующей продолжительного упражнения), с которой вы преподносите яства, не пользующиеся у них решительно никаким доверием. Дело идет легко, если допустить, что к столу являются лица, томимые волчьим голодом; но когда этот голод нужен, его как раз и нет! Ах, как трудно переварить своих собратьев по роду людскому! Первый принцип: выдвигать при несчастье свое мужество, храбро хватать, удивляться самому себе и сдержать в себе позыв к тошноте. Второй принцип: «сдобрить» своего собрата по роду людскому, напр., путем похвалы так, чтобы счастьем его прошибло по всему телу, как потом; или же схватиться за краешек какого-нибудь его хорошего или «интересного» свойства и тянуть за него до тех пор, пока не вытащишь всей добродетели, чтобы в складки ее можно было сунуть собрата. Третий принцип: самогипнотизирование: закреплять объект нашего общения, как стеклянную пуговку, до тех пор, пока человек не перестанет при этом испытывать удовольствие и неудовольствие и незаметно заснет, закоченеет, оцепенеет в какой-нибудь позе. Это последнее средство прекрасно испробовано в брачной жизни и дружбе и считается там необходимым, но в науке еще не получило соответствующей формулировки. Народ называет его терпением.

Отшельник говорит еще раз. – Мы также вступаем в общение с людьми, мы также почтительно надеваем платье, в котором нас признают, уважают, и входим в общество, т. е. в толпу одетых людей; мы поступаем так же, как всякая благоразумная маска и ставим вежливо перед дверьми стул для каждого любопытного, раз его любопытство не касается нашего «одеяния». Но у людей есть и другие способы «общения» друг с другом: напр., при помощи призраков, – что особенно полезно, когда хотят человека оставить на свободе и вместе с тем запугать его. Напр., на нас бросаются, но не схватывают, а только пугают. Или: мы являемся через запертую дверь. Или: когда потушены все огни. Или: когда мы уже мертвы. Последнее – искусство *par excellence* для тех, *кто родился по смерти своего отца.* («Что вы думаете? – говорил однажды нетерпеливо один из них, – разве нам приятно было бы выносить всех этих холодных, чуждых нам людей, всю эту могильную тишину, все это подземное, скрытое, немое одиночество, которое у нас называется жизнью и которое с таким же успехом можно было бы назвать смертью, если бы мы не знали, что *делается* из нас, – и что по смерти мы снова вернемся к *своей* жизни и снова оживем, – ах; слишком будем живыми, мы, рожденные по смерти своих отцов!»).

По поводу одной ученой книги. – Мы не принадлежим к числу тех людей, которые наталкиваются на мысль только тогда, когда они находятся среди книг, когда они получат известный толчок со стороны этих книг, – мы, напротив, привыкли думать на свободе, во время ходьбы, прыгая, стоя, танцуя, особенно же среди уединенных гор или у самого моря. Первый важный вопрос, который мы предлагаем относительно книги, человека и музыки, гласит следующее: «может ли он идти? и даже более, может ли он танцевать?».. Мы редко читаем, и поэтому

читаем недурно, – о как быстро отгадываем мы, каким путем тот или другой человек дошел до своей мысли; не сидел ли он при этом над чернильницей, сдавив себе живот и нагнув голову над бумагой: о как быстро справляемся мы с его книгой! Можно пари держать, что прищемленное нутро дает себя чувствовать так же определенно, как воздух, потолок, сдавленное стенами помещение комнаты. – Вот что я чувствовал всякий раз, когда с благодарностью, с глубокой благодарностью, но и с облегчением закрывал правдивую ученую книгу… В книге любого ученого почти всегда есть что-то давящее, сдавленное: «специалист» везде, где только можно, дает чувствовать свое рвение, свою горячность, свою злость, переоценку того угла, где он сидит и ткет свою паутину, свой горб, – ведь у каждого специалиста есть свой горб. Ученая книга всегда отражает согнутую в три погибели душу: каждое ремесло искривляет человека. Взгляни на друзей своей молодости, после того как они овладели своей наукой: ах! как оказывается все изменившимся в обратную сторону! Ах как они навсегда загромождены собой, одержимы собой! Они вросли в свой угол, сжались там до неузнаваемости, потеряли свою свободу, равновесие, похудели, стали угловатыми, – и невольно чувствуешь волнение и молчишь, когда их снова находишь в таком виде. Каждое ремесло, если даже оно стоит на золотой почве, то все-таки над собой имеет свинцовую крышу, которая давит и давит на душу, пока она не станет чудаковатой и кривой. И в этом отношении ничего нельзя изменить. Не верьте, что избежать этого можно при помощи искусства воспитания. Всякое совершенство в работе ценится высоко на земле, где, пожалуй, на все стоят слишком высокие цены; за плату ты становишься человеком ремесла для того, чтобы стать жертвой своего дела. Но вы хотите чего-то иного, – «подешевле» и прежде всего поспокойнее, – не правда ли, господа современники? Ну хорошо! Но тогда вы и получите нечто иное, а именно вместо ремесленника и мастерового – литератора, ловкого, достаточно извертевшегося литератора, которому недостает горба, – если не считать того, который он нажил перед вами в качестве приказчика духа и «носильщика» образования, – литератора, который собственно ничто, но «представительствует» почти во всем, который разыгрывает роль знатока, принимает ее на себя настолько скромно, что его действительно считают, почитают, прославляют, как знатока. – Нет, мои ученые друзья! Я благословляю вас за горб ваш! И за то, что вы, подобно мне, презираете литераторов и блюдолизов образования! За то, что вы не умеете торговать своим духом! За то, что вы громче высказываете свои мнения, которые не находят себе выражения в денежных знаках! За то, что вы не прикидываетесь тем, чего вы в действительности не представляете из себя! За то, что единственным вашим желанием было сделаться мастером своего ремесла, в благоговении перед совершенством и способностями, не обращая ни малейшего внимания на все, что *in litteris et artibus* отличается наружным блеском, нарядами, виртуозностью, отзывается демагогией, актерством, – где сказываются все те требования, безусловная доброкачественность которых не может быть вам доказана.

Циник говорит. – Возражения мои против музыки Вагнера являются возражениями физиологическими: зачем же мне и приодевать их в эстетические формулы? «Факт» мой заключается в том, что, когда я подвергаюсь воздействию этой музыки, дыхание у меня затрудняется; *ноги* мои восстают против нее, ибо им нужен такт, танец, марш и они прежде всего от музыки требуют того наслаждения, которое заключается в *хорошем* ходе, шаге, прыжке, танце. – Но разве не протестует также мой желудок? мое сердце? мое кровообращение? мои внутренности? Разве я не становлюсь при этом незаметно охриплым? – И таким образом я спрашиваю себя: чего собственно *хочет* все мое тело от музыки вообще? Мне думается, *облегчения* себе: как будто все животные функции протекают быстрее под влиянием легкого, смелого, резвого ритма; как будто железная, свинцовая жизнь должна быть позолочена золотой, нежной гармонией. Тоска моя хочет отдыхать в пучинах и притонах *совершенства:* вот на что нужна мне музыка. Что мне за дело до драмы! На что мне корчи ее нравственных экстазов, в которых находит себе удовлетворение «народ»! На что мне все эти фокусы-покусы актерских жестов!.. Ясно, что я в сущности антитеатрал, тогда как Вагнер по самому существу сво-

ему человек театра и актер, самый восторженный мимоман, какие только существовали среди музыкантов… Кстати, если теория Вагнера говорила, что «драма является целью, а музыка – всегда только средством для нее», то *практика* его, напротив, с начала до конца показывала, что *«позы* являются целью, а драма и музыка всегда только средством для них». Музыка, как средство для прояснения, укрепления, проникновения драматических жестов, и вагнеровская драма, как повод для многих драматических поз! Наряду со всеми другими инстинктами у него во всем, – а потому и в музыке, – сказывался властный инстинкт великого актера. – Однажды я пояснил с некоторым трудом эту мысль одному честному вагнерианцу; и я имел основание прибавить еще: «будьте же немного честнее по отношению к самим себе: мы ведь не в театре! В театре человек бывает честным, поскольку он принадлежит к толпе; как индивид, он лжет, он облыгает самого себя. Отправляясь в театр, вы оставляете самого себя дома, вы отказываетесь от права своего собственного языка, своего выбора, от своего вкуса, своего мужества, которые вы проявляете внутри своих четырех стен по отношению к божеству и человеку. Никто – даже художник и артист, работающий для театра, – не несет в театр самого тонкого понимания своего искусства: там народ, публика, стадо, женщины, фарисеи, демократы, наши собратья по роду людскому, личная совесть там подчиняется нивелирующим чарам «больших чисел», глупость там действует, как похоть, и проявляет силу контагия, там царствует и «ближний» и там человек становится «ближним»… (Я позабыл рассказать, что ответил мне на физиологические потребности проясненный вагнерианец: «они, следовательно, собственно недостаточно здоровы для нашей музыки?»)

Наши смежные свойства. – Не должны ли мы, артисты и художники, признаться, что в нас дают себя чувствовать страшные контрасты, что наш вкус и наша творческая сила удивительным для себя образом стоят, остаются стоять и растут – я говорю о совершенно различных степенях и *tempi* старости, молодости, зрелости, дряблости, лени? Так, напр., музыкант в течение всей своей жизни мог бы создавать такие вещи, которые *противоречат* тому, что ценится его ухом, его сердцем, когда он является в роли слушателя, что ему тогда нравится, что он тогда предпочитает, – и к тому же он ни разу не чувствовал нужды узнать об этом противоречии! Можно, как это показывает мучительно-беспрерывный опыт, со своим вкусом легко вырасти из тех рамок, которые определяются вкусом нашей силы, причем этот последний не будет не изувечен и не задержан в своим развитии; может даже случиться обратное и на это я и привлекаю внимание артистов и художников. Беспрерывно творящий дух, «мать» человеческого рода в великом смысле этого слова, такой человек, который меньше всего знает о беременности и родах своего духа, у которого нет времени подумать о себе и о своем произведении, сравнить его с чем-нибудь иным, у которого также нет желания проявлять еще свой вкус и он просто забывает о нем, предоставляя ему именно стоять, лежать или упасть, – такой человек может дать в конце концов произведение, до которого он со своим суждением еще далеко не дорос, – и тогда он и о себе и о своем произведении думает и высказывает какую-нибудь глупость. Такое отношение к своим произведениям у плодовитых художников мне кажется даже почти нормальным, – ведь родители знают своего ребенка хуже, чем любой посторонний человек, – и эта мысль (если брать поразительный пример) подтверждается на всем мире греческих поэтов и художников, которые никогда не «сознавали» того, что они делали.

Что такое романтизм? – Быть может, по крайней мере, мои друзья вспомнят, что начал я с важных заблуждений и переоценок и, во всяком случае, как человек, питающий известные надежды на наш современный мир. Я понимал, – кто знает, на основании какого личного опыта? – философский пессимизм девятнадцатого века, как симптом высшей по своей силе мысли, неустрашимого мужества, богатого *избытка* жизни, – всех тех качеств, которыми отличалось восемнадцатое столетие, этот век Юма, Канта, Кондильяка и сенсуалистов; таким образом трагическое истолкование жизни казалось мне собственно *роскошью* нашей культуры, самым дорогим, самым благодарным и самым опасным родом расточительности, вытекающей,

впрочем, из чрезмерного богатства этой культуры, и представляющей собою роскошь *дозволенную.* Подобным же образом и немецкую музыку я объяснял себе как выражение дионисовской мощи немецкой души: в ней мне слышалось землетрясение, при помощи которого нагроможденная здесь издревле первичная сила прочищает воздух, – будет ли при этом содрогаться все, что называется ныне культурой, или нет, безразлично. Как видите, я несправедливо тогда судил о том, что собственно является типичным для философского пессимизма и немецкой музыки, – о их *романтизме.* Что такое романтизм? Это искусство, эту философию следует рассматривать, как целительное средство, как средство помощи, предназначенное для растущей, борющейся жизни: они всегда предполагают страдание и страждущих. Но страдающие бывают двух родов: одни страдают *от избытка жизни,* и они-то и желают дионисовского искусства и трагического взгляда на жизнь, – другие же страдают от *оскудения жизни и* ищут в искусстве и познании покоя, тишины, спокойного моря, освобождения от самих себя, опьянения, корчей, оглушения, обмана чувств. Этим двойственным потребностям *последних* соответствует весь романтизм в искусстве и познании, им соответствовали и (соответствуют) Шопенгауэр, и Рихард Вагнер, те наиболее знаменитые и наиболее сильные выразители романтизма, которых я раньше так *не понял,* – впрочем, не во вред им, как можно по справедливости согласиться со мной. Богатый своей жизненной силой, дионисовской бог и человек, может радоваться не только ужасному и загадочному зрелищу, но даже ужасным деяниям и роскоши разрушения, уничтожения, отрицания; дурное, бессмысленное и ненавистное кажется ему одинаково разрешенным, благодаря тому излишку производительной силы, который каждую пустыню может превратить в роскошную, плодородную страну. Наоборот, тому, кто страдает от оскудения жизненных сил, прежде всего нужны покой, мир, добро и в мыслях, и в делах, а где возможно – божество, которое должно быть богом больного человека; ему нужна также логика, понятное объяснение бытия, – ибо логика успокаивает, предрасполагает к доверию, – одним словом, теплую, безопасную щель и со всех сторон оптимистический горизонт. Вот как научился я понимать постепенно Эпикура, этот контраст дионисовскому пессимисту, – и мой взор все больше и больше изощрялся в той самой тяжелой и опасной форме *обратных заключений,* в которой и делается огромное большинство ошибок – от произведения к автору, от деяния к его виновнику, от идеала к тому, для кого *он оказывается необходимым,* от известного способа мысли и оценки к тем *потребностям,* которые за ними скрываются. – В области всех эстетических ценностей я прибегаю к следующему основному различию. В каждом отдельном случае я задаю себе вопрос: «голод или излишек являются здесь творческой силой?» Само собою разумеется, я мог бы еще больше рекомендовать другое различие, – оно же притом гораздо нагляднее, – именно следует обратить внимание, вызывает ли к творческой деятельности стремление к окоченелому состоянию, к увековечению, к *бытию* или же стремление к разрушению, к переменам, к новшествам, к будущему, *к процессу созидания.* Но если всматриваться глубже, то окажется, что и то, и другое стремление имеют два значения, которые легко понять по вышеприведенной схеме, которой, как мне думается, было отдано предпочтение. Стремление к *разрушению,* переменам, процессу созидания может быть выражением чрезмерной, чреватой будущим силы (мой *terminus* для нее, как известно, «дионисовская»), но здесь же может проявляться также и ненависть неудачника, человека терпящего крайнюю нужду, пропащего человека, который разрушает, *должен* разрушать, потому что его возмущает и раздражает все, что стоит неподвижно, всякое бытие, – для того, чтобы понять этот аффект, присмотритесь поближе к нашим анархистам. Желание *увековечить* какое-нибудь событие равным образом должно быть подвергнуто двойному толкованию. Оно может вытекать из чувства благодарности и любви: искусство, происходящее из этого источника, будет всегда искусством апофеоза, оно будет, пожалуй, дифирамбом у Рубенса, блаженно насмешливым у Гафиза, ясным и добрым у Гете, и искусством, распространяющим на все свет и славу Гомера (в этом случае я говорю об *аполлоновском* искусстве). Но оно может быть также той тиранической волей чело-

века тяжело страдающего, борющегося, измученного, который мог принять за обязательный и принужденный закон то, что у него есть самого личного, что является в своем роде единственным, что связано с ним самым тесным образом, что собственно представляет идиосинкразию его страдания; он мстит всему миру тем, что на всякой вещи выдавливает, выжигает *свое* изображение, изображение своего страдания. – Последнее и есть *романтический пессимизма* своей наиболее выразительной форме, будет ли то шопенгауэровская философия воли или вагнеровская музыка; романтический пессимизм – последнее *великое* событие в судьбе нашей культуры. (Мое предвидение и предчувствие подсказали мне, что *может* существовать еще совершенно иной пессимизм, классический: это открытие мое – *proprium upsissimum.* Только ухо мое не выносит слова: «классический»; слишком уже оно истрепано, обтерлось и стало неузнаваемым. Пессимизм этот я называю пессимизмом будущего, – ибо он придет! я вижу его приход! – *дионисовским* пессимизмом.)

Мы, непонятые. – Разве мы не жаловались постоянно на то, что нас не понимают, не узнают, путают, что на нас клевещут, к нам хорошенько не прислушиваются? Таков уж наш жребий; в этом заключается наше отличие; мы недостаточно уважали бы себя, если бы испытывали иные желания. Нас путают – лишь потому, что мы сами растем, беспрерывно изменяемся, сбрасываем старую кору и каждую весну меняем кожицу, мы постоянно становимся все моложе, выше, сильнее, мы все сильнее гоним свои корни вглубь, – в область зла, – и в то же время все нежнее и шире обнимаем небеса и все жаднее и жаднее всасываем его свет своими листьями и ветвями. Мы растем подобно деревьям – это так же трудно понять, как и всякое другое живое явление! – не в одном месте, но во всей своей массе, не в одном направлении, но и вверх, вниз, наружу и внутрь, – сила наша вызывает движение сразу и в стволе, и в сучьях, и в корнях; мы уже не свободны делать что-нибудь одно, *быть* чем-нибудь единым… Таков, как сказано, наш жребий: мы растем ввысь; и не только жребий, а прямо рок, – мы живем все ближе и ближе к моленьям! – ну пусть, ведь к нам не будут относиться с меньшим уважением, нам остается то, чем мы не захотим поделиться, роковые высоты, *наш* рок.

Почему мы не идеалисты. – Прежде философы питали страх к чувствам – не слишком ли мы, пожалуй, разучились этому страху? Мы, люди настоящего и будущего в философии – теперь все сенсуалисты и не только в теории, но и на деле, на практике… Прежние философы полагали, что чувства обманом выманят их из *их* мира, холодного царства «идей» на тот опасный, южный остров, где, как они боялись, их философские добродетели растают, как снег на солнце. «Заложить себе уши» – вот требование, которое считалось почти условием всякой философской мысли; истинный философ не прислушивался к жизни до тех пор, пока она звучала музыкой, он *отрицал* музыку жизни, – это был старый философский предрассудок, который утверждал, что всякая музыка должна быть музыкой сирены. – Мы готовы в настоящее время склониться к совершенно обратному суждению (что само по себе может оказаться столь же ложным,) а именно, что *идеи будут* более дурными руководительницами, чем чувства; несмотря на свой холодный, анемичный вид они всегда жили «кровью» философа, всегда питались его чувствами и, если угодно, его «сердцем». Эти древние философы были людьми бессердечными: процесс философского мышления всегда представлял род вампиризма. Разве вы не чувствуете, что даже у такой фигуры, как Спиноза, было что-то анигматичное, страшное? Разве вы не видите игры, которая здесь разыгрывается? Разве вы не догадываетесь, что на заднем плане давно скрывается вампир, который начинает с чувств, а кончает костьми и шумихой? – Я подразумеваю категории, формулы, слова (ведь, да простит мне читатель, *amor int ell ectualis dei,* оставшаяся от Спинозы – простая шумиха и больше ничего! Что такое *amor,* что такое *deus,* если в них нет ни капли крови?..) *In summa:* всякий философский идеализм, был до сих пор чем-то в роде болезни, если только, как у Платона, он не предвещал излишнего и опасного здоровья, не был страхом перед *излишне могучими* чувствами, благоразумием муд-

рого сократовца. – Быть может, мы, современные люди, недостаточно здоровы для того, чтобы *чувствовать потребность* в идеализме Платона? И мы не боимся чувств потому, что —

Наука как предрассудок. – Из законов табели о рангах следует, что ученые, поскольку они принадлежат к людям средним по уму, не в состоянии усмотреть собственных *великих* проблем и вопросов, ибо на это у них не хватит ни решимости, ни зоркости, а прежде всего потому, что слишком быстро успокаиваются и удовлетворяются те потребности, которые делают из них исследователей, их предвзятые мнения и желания, их страхи и надежды. Так напр., та самая задача, которая располагает к мечтам педанта-англичанина Герберта Спенсера и заставляет его вырисовать свои надежды и наметить горизонт своих желаний, – это бесконечное примирение «эгоизма и альтруизма», о котором он рассказывает свои басни, – вызывает у нашего брата почти отвращение: человечество, у которого спенсеровские перспективы будут последними перспективами, по нашему мнению, достойно презрения и уничтожения! А Спенсер не в состоянии был предвидеть того, что воспринятое им под видом высшей надежды другим казалось и должно было казаться просто неприятной возможностью… Таким же образом дело обстоит и с той верой, которой в настоящее время довольствуются столь многие исследователи природы из числа материалистов, с верой в тот мир, который должен иметь свой эквивалент и меру в человеческой мысли, в человеческих представлениях о ценности, в тот «мир истин», законность которого можно установить при помощи нашего четырехугольного, маленького человеческого разума. – Как? неужели мы хотим все бытие свести на незатейливые выкладки математиков? Прежде всего не следует отнимать от него тех многих значений, которые он представляет: этого, господа, требует прежде всего *хороший* вкус, вкус к благоговению перед всем, что выходит за пределы вашего горизонта!

Вы считаете только то мировоззрение правильным, при котором вы оказываетесь правыми, при котором мир можно исследовать и разобрать научно в том смысле, в каком *вы* употребляете это слово (– вы, собственно, полагаете *механически*?), такое мировоззрение, которое допускает только числа, счет, взвешивание, осматривание, ощупывание и ничего больше, – но ведь это аляповатая и наивная мысль, если только ее не считать порождением больного духа, идиотством. А разве не будет вполне вероятным обратное положение, что прежде всего могут быть захвачены только самые поверхностные, самые внешние явления бытия – его самые наружные, наглядные проявления, его кожица, быть может, только одни они и могут быть захвачены? «Научное» истолкование мира, как вы его понимаете, могло быть, следовательно, всегда одним из самых глупейших, самых бедных смыслом мировоззрений, какие себе можно только представить: это прямо относится к тем ученым, исповедующим механическое мировоззрение, которые считаются в настоящее время в числе философов и глубоко убеждены, что механика представляет учение о первых и последних законах, на которых, как на фун-

даменте, должно быть построено все мироздание. Но если бы мир наш в своих существенных чертах оказался механическим, то он был бы миром бессмысленным. Попробуйте сделать оценку какой-нибудь музыке лишь постольку, поскольку она уложится в ваши числа и формулы! Насколько вздорной оказалась бы такая «научная» оценка музыки! Разве можно было бы в ней что-нибудь понять, разобрать, узнать! Ничего, ровно ничего из того, что собственно представляет «музыку»!..

Наша новая «бесконечность». – Как далеко простирается перспективный характер бытия, или же оно имеет еще какой-нибудь другой характер, или не становится ли бытие «бессмыслицей», если ему не дано какого-нибудь истолкования, «смысла», да и не является ли всякое бытие в существенных своих чертах бытием истолковывающим, – все это такие вопросы, которые не могут быть решены как следует, даже самым прилежным, самым добросовестным анализом и самоиспытанием интеллекта; ибо человеческий интеллект при этом анализе вынуждает рассматривать только самого себя в своих перспективных формах и *только* в них. Мы не можем осмотреться из своего угла: безнадежным любопытством будет наше желание узнать, что *могло бы* еще существовать для интеллектов другого рода: не могут ли, напр., какие-нибудь существа ощущать уже истекшее время или попеременно грядущее и прошлое (вместе с этим существовало бы и другое направление жизни и другое понятие о причине и действии). Но я думаю, что мы в настоящее время далеки, по крайней мере, от смешной притязательности определить из своего угла декретом, чтобы все были *обязаны* держаться той перспективы, которая открывается из нашего угла. Мир для нас скорее еще раз сделался «бесконечным», поскольку мы не можем ему отказать в возможности *заключать в себе бесконечные толкования.* Нас еще раз охватывает великий трепет, – но кто захотел бы обоготворить по-старому это чудо неведомого мира? И, быть может, поклоняться неведомым явлениям, как «неведомому» божеству? Ах, можно дать множество *атеистических* толкований, которые включали бы и это неведомое, слишком много дьявольских, глупых толкований, – да и самое наше человеческое, слишком человеческое, которое мы знаем…

Почему мы кажемся эпикурейцами. Мы, современные люди, с осторожностью относимся к крайним убеждениям; наше недоверие стоит настороже против обольщений и ухищрений совести, которые заключаются в каждой сильной вере, в каждом безусловном *да* и *нет.* Чем это объясняется? Быть может, здесь в значительной степени следует видеть осмотрительность «обжегшегося ребенка», обманувшегося идеалиста, и еще в большей степени радостное любопытство человека, который раньше стоял в своем углу, но вдруг пришел в отчаяние от своего угла и теперь, наоборот, роскошничает и мечтает в безграничном просторе. Вместе с тем образуется почти эпикурейская склонность к познанию, и человек не может уже с легким сердцем отворачиваться от загадочного характера вещей; в то же время появляется отвращение ко всем великим словам морали и жестам, вкус, который отклоняет все неуклюжие, аляповатые контрасты и с гордостью сознается в своем навыке вперед выигрывать дело. Ибо это умение легко натягивать узду в нашем бурном натиске на истину, это самообладание всадника во время его дикой скачки и составляет нашу гордость; под нами ведь по-старому бешеные, горячие кони и, если мы медлим, то к этому побуждает нас опасность…

Наше медленно текущее время. – Вот что ощущают все художники, артисты и вообще люди дела, люди материнского типа. В каждом периоде своей жизни, – ведь всякое дело каждый раз отсекает часть жизни, – они верят, что они находятся у самой цели, и встретили бы терпеливо смерть с чувством: «мы для нее созрели». И это не служит выражением усталости, – скорее это тихое настроение осеннего солнечного дня, которое остается у автора всякий раз, когда произведение готово, созрело. Так замедляется *tempo* жизни, и оно становится густым, тягучим, – вплоть до ферматы, до веры в длинную фермату.

Мы, люди без родины. – Среди современных европейцев нет недостатка в таких людях, которые имеют права носить имя космополитов, в лучшем смысле этого слова, и им-то моя

тайная мудрость и *gaya scenra* будет безусловно по душе! Ибо их жребий – тяжел, надежда – сомнительна, а найти утешение для них дело нелегкое, – но что за беда! Мы дети грядущего, мы могли бы в современной жизни чувствовать себя дома! Мы недоброжелательно относимся ко всем идеалам, среди которых иной даже в это хрупкое, разбитое, переходное время чувствует себя, как на родине; что же касается «реалистов», то мы не верим в то, чтобы они проявляли достаточную *прочность.* Лед, который сегодня еще держит вас, стал уже слишком тонким; дует весенний ветерок, мы сами, мы, люди без отчизны, представляем собой нечто такое, что разбивает лед и других слишком истончившихся «реалистов»… Мы ничего «не охраняем», мы не хотим возврата к прошлому, мы отнюдь не представляем собой «либералов», мы не работаем для «успеха», нам незачем затыкать себе уши от сирен, распевающих на рынках о будущем. – Их песни о «равенстве прав», «о свободном обществе», о том, что «не должно быть ни господ, ни рабов» не завлекают уж нас! – мы решительно считаем нежелательным, чтобы на земле было водворено царство справедливости и единодушие (ибо оно при всяких обстоятельствах обратилось бы в царство посредственности и китайщины), мы рады тем, которые, подобно нам, любят опасность, войну, приключения, тем, которые не позволяют себя задобрить, завлечь, умиротворить и кастрировать, мы считаем себя в числе завоевателей, мы думаем о необходимости нового вида рабства, которое должно последовать за новым порядком вещей, – ибо с каждым усилением и повышением типа «человека» связан новый вид порабощения – разве не правда? вот почему нам приходится плохо в тот век, который любит претендовать на название самого человечного, самого кроткого, самого справедливого века, какой только был под нашим солнцем! Достаточно плохо для того, чтобы у нас при этих прекрасных словах появлялись тем более безобразные задние мысли! Чтобы мы в них видели только выражение – даже маскарад – глубокой слабости, утомления, старости, упадка сил! Что может привлекать наше внимание на те украшения, в которые наряжает больной для внешнего блеска свои слабости! Он мог бы носить их напоказ под видом своей *добродетели* — несомненно, что слабость делает человека кротким, ах! таким кротким, таким справедливым, таким безобидным, таким «человечным»! – «Религия сострадания», к которой склонить нас хотят, – о! мы знаем достаточно истерических мужчин и женщин, которым как раз нужна эта религия вместо покрывала и украшений! Мы не принадлежим к числу человеколюбцев; мы не осмелились бы разрешить себе говорить о «любви к человечеству», – для этого ни один из нас не обладает достаточными актерскими способностями! Недостаточно являться сенсимонистом или французом! Необходимо страдать чрезмерной галльской возбудимостью в области эротических ощущений, необходимо проявлять нетерпение влюбленного для того, чтобы честно припасть грудью к человечеству… К человечеству? Разве была хоть одна еще более мерзкая старуха из всех старых женщин? Нет, мы не любим человечества, но, с другой стороны, у нас далеко не достаточно «немецкого» духа в том смысле, в каком теперь это слово употребляют сплошь и рядом, чтобы говорить о национализме и о расовой ненависти, чтобы радоваться тому, что национальные вопросы скребут на сердце и отравляют кровь, благодаря чему один народ отгораживается от другого, как во время карантина. К тому же мы слишком откровенны, слишком злы, слишком избалованы и слишком хорошо воспитаны; мы предпочитаем поэтому жизнь на горах, в стороне, не считаться с требованиями времени, жить в минувших или грядущих столетиях, и только, благодаря этому, мы освобождаемся от тихого бешенства, на которое мы считали бы себя обреченными, как очевидцы политики, опустошающей немецкий дух, делающей его суетным и, кроме того, являющейся политикой *маленькой:* – разве не приходится ей укреплять свое произведение между двумя видами смертельной ненависти для того, чтобы оно тотчас не распалось снова? разве не *должна* она желать увековечить провинциальные нравы Европы?.. Мы, космополиты, по расе и происхождению представляем собою, как «современные люди», многократно запутанное явление, а потому мало пытались принимать участие в том лживом расовом самовосхищении и распутстве, которые в настоящее время выставляются в Герма-

нии, как признак немецкого образа мыслей, и которые у народа, обладающего «историческим чутьем», являются вдвойне лживыми и неприличными. Мы, одним словом, – и это надо сказать к нашей чести, – *добрые европейцы,* наследники Европы, богатые, обремененные, но вместе с тем излишне заваленные обязанностями наследники тысячелетий европейского духа: как таковые, мы выросли из христианства и недоброжелательно расположены к нему именно потому, что мы из него выросли, потому что наши предшественники были уверены в безусловной справедливости христианства, принося своей вере в жертву свое имущество и кровь, свое общественное положение и отечество. Мы поступаем подобным же образом. Но ради чего? Ради нашего неверия? Ради всяческого неверия? Нет, вы это лучше знаете, мои друзья! Скрытое в вас «да» сильнее всех «нет» и «пожалуй», которыми страдает ваше время; и если вы, эмигранты, вынуждены пуститься к морю, то к этому вас также побуждает вера!..

«И снова становимся светлыми». – Мы, щедрые и богатые духом, стоим открыто, подобно колодцам на улице, и никому не желаем мешать черпать из нас: да мы и не умеем запретить даже в том случае, когда это можно сделать; мы никак не можем помешать тому, чтобы нас *мутили,* омрачали, – чтобы время, в которое мы живем, бросало туда все, что есть у него самого тленного, чтобы грязные птички кидали туда всякую дрянь, мальчишки швыряли всякий хлам, а изнемогшие путники во время отдыха на краю у нас допускали в нас падать своим мелким и крупным горестям. Но мы будем поступать так, как мы всегда поступали: мы поглощаем в своих пучинах все, что в нас бросают, – ибо мы не забываем о своей глубине, – и снова становимся светлыми…

Вставка глупца. – Однако не мизантроп писал эту книгу: человеконенавистничество стоит в настоящее время слишком дорого. Чтобы ненавидеть так, как ненавидели человека в старину, целиком, без всяких уступок, от всего сердца, из любви *к ненависти* — для этого придется отказаться от презрения, – а какими тонкими радостями, каким большим терпением, какими великими милостями мы обязаны прямо нашему презрению! Мы предназначены к этому самим божеством; тонкое презрение является у нас, современнейших людей из всех современников, излюбленным чувством, нашей привилегией, нашим искусством, быть может, нашей добродетелью!.. Ненависть, напротив, всех ставит на одну доску, приводит к очной ставке, в ненависти, наконец, чувствуется что-то почетное; в ненависти заключается *страх,* добрая доля страха. Мы же, бесстрашные, мы наиболее одухотворенные люди нашего века, достаточно хорошо знаем свои выгоды, чтобы в качестве наиболее разумных людей из уважения к своему времени жить без страха. Едва ли нас за это обезглавят, запрут в тюрьму, отправят в ссылку; даже книг наших не запретят и не сожгут. Наш век любит одухотворенных людей, он любит нас, он в нас нуждается даже в том случае, если бы мы ему дали понять, что мы артисты в деле презрительного отношения к людям, что всякая встреча с людьми вызывает в нас легкую дрожь; что мы всей своей кротостью, терпением, человеколюбием, вежливостью не можем приучить свой нос отворачиваться с предубеждением всякий раз, как он слышит близость человека; что мы тем больше любим природу, чем меньше в ней человеческого; что мы любим искусство, *когда* оно представляет собою бегство артиста от человека или насмешку художника над человеком, или насмешку художника над самим собой.

Пушник говорит. – Для того, чтобы рассмотреть нашу европейскую мораль издали, для того, чтобы сравнить ее с другими прежними или будущими системами морали, необходимо поступить так, как делает путник, когда он хочет узнать, насколько высоки башни какого-нибудь города: для этого *он покидает* город. «Мысли о моральных предрассудках», раз они не должны быть предрассудками о предрассудках, предполагают позицию *вне* морали, где-нибудь по ту сторону добра и зла, куда приходится подниматься, лезть, лететь – и в данном случае необходимо уйти по ту сторону *нашего* добра и зла, добиться свободы от всей Европы, понимая это последнее слово как сумму таких суждений о ценностях, которые властно вошли в нашу кровь и плоть. Тот факт, что люди *хотят* уйти вон отсюда, является, пожалуй, небольшим

безумием, странным, неразумным требованием: «ты должен», – ибо мы, познающие, также имеем свою идиосинкразию «несвободной воли»: вопрос заключается в том, *можно а* и в действительности уйти отсюда. Возможность эта зависит от многих условий, а прежде всего от того, насколько мы сами легки или тяжелы, следовательно, все сводится к вопросу о нашем «удельном весе». Необходимо быть *очень легким,* чтобы загнать свое стремление к познанию в такую даль и в то же время поднять его выше уровня своего времени, чтобы сделать свой глаз способным обозревать тысячелетия и чтобы к тому же в глазах этих светилось чистое небо! Следует освободиться от многого из того, что давит, щемит, принижает, отягчает современных нам европейцев. Такой житель по ту сторону добра и зла, который хочет узреть высшие мерки ценности своего времени, должен прежде всего «превозмочь» в самом себе это время, – это будет проба его сил, – и, следовательно, победить не только свое время, но также и то отвращение и противоречие, которые он испытывал по отношению к этому времени до сих пор, те страдания, которые оно ему доставляло, свою неприспособленность к этому времени, свой *романтизм.*

К вопросу о том, насколько писатель желает быть понятым. – Каждый писатель стремится не только к тому, чтобы его поняли, но также и к тому, чтобы остаться непонятым. Еще нельзя поставить книге в упрек то обстоятельство, что ее кто-нибудь не понял: быть может, писатель того и хотел, чтобы его не «всякий» понимал. Раз писатель обладает более благородным духом и вкусом, он выбирает себе слушателей, когда он хочет чем-нибудь поделиться, а от «других» отделяется загородкой. Все более тонкие законы стиля как раз и берут здесь свое начало: они держат вас на известном расстоянии, они запрещают вам «вход», понимание, как говорят, – и в то же время открывают уши тем, кто для автора является натурой родственной. Что же касается меня, то, говоря между нами, я не хотел бы, мои друзья, помешать вашему пониманию ни своим невежеством, ни игривостью своего темперамента: игривостью, потому что она заставляет меня быстро схватывать вещь для того, чтобы ее можно было вообще схватить. Ибо с глубокими проблемами я поступаю совершенно также, как с холодными ваннами: быстро нырнешь туда и сейчас же вон. То обстоятельство, что люди не идут в глубину, не опускаются *вниз* достаточно глубоко, объясняется суеверной водобоязнью, которую питают враги холодной воды; но они говорят об этом без всякого опыта со своей стороны. О! Сильный холод действует быстро! – А вместе с тем мы спросим, действительно ли остается вещь непонятой, неузнанной только благодаря тому, что вы мимоходом ощупали, осмотрели ее? Разве необходимо прямо на ней усесться? насиживать ее, как курица яйца?

Dru noctuque incuvanto, как говорил о себе Ньютон? По крайней мере, существуют и такие пугливые и щекотливые истины, которые захватить можно только внезапным натиском, – которые или надо застать врасплох, или оставить в покое… Наконец, краткость моя имеет еще и другое значение в области тех вопросов, которыми я занимаюсь, мне приходится выражаться в кратких формулах для того, чтобы люди могли их выслушать еще в более сжатой форме. Если вы относитесь отрицательно к нравственности, то вы должны предупреждать, что вы развращаете людей невинных, я имею в виду ослов и старых дев обоего пола, которые ничего не имеют от жизни, кроме своей невинности; более того, мои произведения должны воодушевлять, возвышать, возбуждать к добродетели. Я не знал ничего восхитительнее на земле воодушевленного старого осла или старой девы, которые возбуждены сладкими чувствами добродетели: и «я это видел», так говорил Заратустра. Так много можно сказать в пользу краткости моей речи; хуже дело обстоит с моим невежеством, которого я не скрываю и от самого себя. Бывают часы, когда я стыжусь его, но бывают часы, когда мне стыдно этого своего стыда. Быть может, мы, все философы, в настоящее время занимаем плохую позицию относительно познания: наука растет, ученейшие из нас близки к тому выводу, что они знают слишком мало. Но еще хуже было бы, если дело обстояло бы иначе, – если бы мы знали *слишком много;* задача наша прежде всего состоит в том, чтобы не смешивать одного из нас с другим. Мы не ученые люди, а нечто

иное: хотя неизбежно, чтобы мы, между прочим, были и учеными. У нас другие потребности, другой рост, другое пищеварение: нам нужно и больше, и меньше. У нас нет формулы, которая показывала бы, насколько наш дух нуждается в своей пище; но он вызывает свой вкус к независимости, к быстрым переходам, пожалуй, к приключениям, для которых доросли только самые проворные люди; таким образом он предпочитает жить свободным и пользоваться плохой пищей, чем наедаться досыта и оставаться несвободным. Не жира, а гибкости и силы – вот чего требует хороший танцор от своей пищи; и я не знаю, чем пожелал бы еще быть дух философа, если бы он не захотел быть хорошим танцором. Танец именно является его идеалом, его искусством, наконец, его единственным благочестием, его «богослужением»…

Великое здоровье. – Мы, люди новые, безымянные, плохо понятые, недоноски еще недоказанного будущего, – мы для новых целей нуждаемся и в новых средствах, а именно, в новом здоровье, более сильном, разумном, крепком, радостном, чем все те виды здоровья, которые существовали до настоящего времени. Если чья-нибудь душа жаждет пережить в полном объеме все те ценности и желания, которые до сих пор были у людей, и объехать все берега этого идеального «средиземного моря», кто хочет почерпнуть знания из приключений своего собственного опыта, как этого желают люди, завоевывающие и открывающие идеалы, а также художники и артисты, святые, законодатели, мудрецы, ученые, благочестивые, предсказатели, – тот прежде всего нуждается *в великом здоровье,* таком здоровье, которым не только обладают, но которое постоянно приобретают и должны приобретать вновь, ибо его постоянно все снова и снова подвергают и должны подвергать опасности… И теперь после того, как мы, аргонавты идеала, были в дороге, быть может, смелее, чем этого требовало благоразумие, и все-таки несмотря на довольно частые кораблекрушения и вред, который мы сами себе причиняем, обладали, как сказано, большим здоровьем, чем можно было допустить, опасным здоровьем, здоровьем, которое все снова и снова возвращалось к нам, – теперь нам хочется думать, что мы как бы в награду за все перенесенное имеем перед собой еще неоткрытую землю, границ которой еще никто не осмотрел, которая лежит за пределами всех стран и уголков идеала, известных нам до настоящего момента, мир столь богатый явлениями прекрасными, чуждыми нам, удивительными, страшными и божественными, что наше любопытство и жажда обладания выходит из своих рамок, – ах! что мы ничем теперь не можем насытиться! Как могли бы мы теперь после того, как мы видели все, как испытали такое алчное влечение к совести и знанию, – как мы могли бы удовольствоваться *современными* нам *людьми*? Довольно плохо: и мы неизбежно будем смотреть на важнейшие их цели и надежды без достаточного внимания, или даже совсем не будем присматриваться к ним. Перед нами другой идеал, удивительный, искушающий, полный всяких опасностей идеал, к которому мы никого не можем склонить, так как никому не представляем так легко *на него прав:* идеал духа, который наивно, иначе говоря, непроизвольно, под напором избытка сил, играет всем, что было до сих пор святого, доброго, неприкосновенного и божественного; для которого все, к чему народ справедливо прилагает высшую оценку, имеет значение опасности, упадка, унижения или, в крайнем случае, отдыха, ослепления, иногда самозабвения, идеал человечески сверхчеловеческого благополучия и благожелания, который довольно часто будет оказываться *бесчеловечным,* когда, напр., рядом со всей той энергией, которую до сих пор проявляли люди на земле со всей торжественностью в жестах, словах, звуках, взглядах, морали и задачах, он будет стоять, как воплощенная и непроизвольная пародия на них, и вместе с которым впервые появится, быть может, *великая энергия,* впервые будет поставлен собственный вопросительный знак, изменится судьба души, стрелка-указатель пойдет назад, *начнется* трагедия…

Эпилог. – Но пока я в заключение медленно, медленно разрисовываю этот мрачный вопросительный знак и хочу своим читателям напомнить о добродетелях настоящего читателя – о сколь забытые и неизвестные это добродетели! – вокруг меня раздается злой и веселый смех нечистых духов: это нападают на меня духи моей книги, они тянут меня за уши и призы-

вают к порядку. «Мы не можем больше выносить этого, – взывают они ко мне, – прочь, прочь с этой мрачной музыкой, похожей на воронье карканье. Разве вокруг нас не светлое утро? Разве не зеленая, мягкая почва и дерн, настоящее царство танцев? Разве когда-нибудь было лучшее время для веселья? Кто споет нам песню, утреннюю песню, такую яркую, такую легкую, такую летучую, чтобы она не разогнала даже кузнечиков, – чтобы она скорее увлекла кузнечиков в общий хор, в общий танец? А еще лучше дай нам простую деревенскую волынку, чем ту таинственную лютню, тот жабий крик, могильный голос, свист сурка, которыми ты потчевал нас в своей пустыне до сих пор, отшельник и музыкант будущего. Нет! Не надо таких звуков! Предоставьте нам запевать свои более приятные и дружеские песни!» – Довольны ли вы этим, мои нетерпеливые друзья? Кто не согласился бы охотно на вашу просьбу? Моя волынка ждет, мое горло тоже – оно может немного охрипнуть, ну что ж! Затем ведь мы и живем в горах. Но ведь то, что приходится вам слушать, отличается, по крайней мере, новизной; и если она вам не нравится, если вы неправильно понимаете *певца,* что за беда! Это еще раз «проклятие певца». Тем отчетливее вы можете услышать свою музыку, свои мотивы, тем лучше вы можете танцевать под свою дудку. Этого ли вы хотите?

Приложение

Свободные песни Птицы-Принца

(Перевод П. Фр.)

К ГЕТЕ

Твое имя – бессмертие,
Твой мир – недосягаемое…
Мировое колесо
Ставит цель за целью.
Бедствием называет его – злоба,
Игрою – глупость…
Мировая игра в своей гордыне
Смешивает в одно и бытие и иллюзию,
А вечно глупое и нас
Бросает туда же.

ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА

Раз в юности сидел я, утомленный,
Под тенью густою дерев…
Вдруг слышу звук: тик-так, тик-так!
Волнует он, манит и раздражает,
И в ярость приводит…
Но вскоре я пришел в себя
И, подобно поэту, излился сам
В таких же звуках…
И строфы одна за другою бегут
И в бешеной скачке несутся…
И сам я не знаю – откуда? и как?
И долго над ними смеялся…
Ты поэт?! Ты поэт?!
Что сталось с твоей головой?
– «Да точно, сударь, вы поэт»,
Стучит в ответ мне дятел.
Кого я жду здесь в кустах?
Кого подстерегаю, как хищник?
Не чудные ли образы нисходят ко мне?!..
Не словами ли в строфы сплетаются?!..
А в кустах гармония рифмы звучит!..
Все, что витает, кружит, и несется,
Поэт уловляет стихом…
– «Да, точно, сударь, вы поэт»,
Стучит в ответ мне дятел.
Рифмы, словно как стрелы,

Стремятся, дрожат и трепещут…
Так трепещет стрела, пронзив
Благородное сердце…
Бедняга, ты погибаешь в нем
Или неистовствуешь, как безумная!..
– «Да, точно, сударь, вы поэт»,
Стучит в ответ мне дятел.
Причудливые выражения, полные огня,
Опьяняющие слова вихрем несутся
И цель за целью сливаются в мирный тик-так!
И бывают безумцы, кого в упоенье звуки
приводят?!
Не глупцы ли поэты?!..
– «Да, точно, сударь вы поэт»,
Стучит в ответ мне дятел.
О птичка, не издеваешься ли надо мной?!..
Не шутишь ли ты?..
Гнев душит меня и мое сердце содрогается!
О бойся, бойся моей злобы!..
Когда гнев овладевает поэтом, —
Он сплетает тогда свои рифмы
И быстро, и стройно, и звучно!..
– «Да, точно, сударь, вы поэт»,
Стучит в ответ мне дятел.

НА ЮГЕ

На изогнутом суке сидел я
И качался, как в качелях отдыхая, —
Неведомая птичка пригласила меня в гости, —
Это было ее гнездышко, и покой в нем нашел я…
Но где же я, где?.. Ах! далеко, далеко!..
У ног моих море в сонном покое,
Вдали мелькает пурпурный парус.
Скалы, пальмы, башня и гавань…
Блеянье овец – идиллия вокруг, —
И невинность юга охватила меня!..
Ходить шаг за шагом – в этом нет жизни,
Передвигать ноги – тяжело и скучно —
Слишком по-немецки… И я приказал ветру
поднять меня,
И научился летать так, как птицы, —
Через море на юг полетел я…
Рассуждение – прескучное занятие,
Оно слишком скоро приводит нас к цели!
Летая же, научился я тому, к чему меня влекло, —
Я почувствовал мужество, охоту и вкус
К новой жизни и новой игре.
Думать в одиночку – зову я мудростью…

Но петь одному было бы глупо…
Прослушайте же песню в честь вашу,
Гадкие птички! Садитесь в кружок, и внимайте!..
Все вы, созданные для любви и наслажденья,
Все вы – изменчивы, лукавы и слишком молоды…
На севере, сознаться должен,
Люблю я – женщину, для страсти она устарела… —
«Истина» – ей имя!

БЛАГОЧЕСТИВАЯ БЕППА

Давно моя красотка
Благочестивой хочет быть.
Бог сам ведь любит женщин,
Тем более красивых…
И он простит монаху,
Ему простит охотно,
Как и другому тоже
За то, что любят оба
Сидеть со мной подолгу…
Мой не похож на старца,
Он молод и цветущ…
Ревнив, как серый котик —
И нужду знает он.
Старик мне не по сердцу, —
А он старух не любит:
Как мудро и чудесно
Все это Бог устроил!..
О! Церковь жить умеет —
Пытает сердце, совесть
И милует она…
Она простит, конечно,
И кто мне не простит?!..
Молитву шепчут губки,
Поклон – и прочь из церкви —
И новеньким грешком
Мой старенький покрыт.
Хвала земному Богу, —
Красоток любит он,
И им легко прощает
Сердечные грешки…
Давно моя красотка
Благочестивой хочет быть:
Так старая хрому ля
Не прочь и черта
Сосватать за себя!..

ТАИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛНОК

Ночь темна. Вокруг все спит.
Ветер лишь один, вздыхая,
По дороге пролетает…
Но покой не дал мне сна,
Ни забвенья, ни отравы,
Ни того, что усыпляет
Глубоко и навсегда —
«Совести покоя» не дал.
Век моих не смежил сон,
И на берег я помчался…
Кротко свет луны играет…
На песке у сонных волн
Вижу – человек и лодка,
Оба спят – пастух и паства,
Сонно бьет о берег челн.
Пробежал за часом час…
Час ли, день иль год – не знаю.
Разум мой и мысль и чувство
Слились в вечное ничто…
Бездна без границ разверзлась…
……
все прошло!..
День настал: под глубью вод
Челн *один* волна колышет…
Что случилось?., возглас слышен.
Было что? голосят сотни.
Злодеянье?! Нет, ничто!..
Спали мы так тихо, сладко,
Сладко тихо спали мы!..

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
(во время которого поэт упал в яму)

О, чудо! Он еще летит?!
Он ввысь несется крыльями сверкая!..
Какая сила движет им?
Где цель его, мечта, граница?..
Как вечность, как звезда, как дух —
Теперь парит он на высотах,
Далеких жизни… И зависть
Родит в нем только сожаленье: —
Уносит ввысь он даже тех,
Кто взором обнимал его полет…
О, альбатрос!..
К высотам рвусь я жаждой вечной,
И чувствую – я твой!.. И слезы
Туманят мой взор… – да, я тебя люблю!

ПЕСНЯ ПАСТУХА

У меня живот болел,
И клопы меня кусали,
И печалил свист и шум,
А они внизу плясали…
В этот самый час она
Прибежать ко мне хотела
Потихонечку – тайком…
Грудь моя вся изболела!..
Как могла она солгать?..
Как собака, жду ее я,
Обещала ведь сама!..
Жду ее от боли воя.
Не гоняется ль она
Точь-точь так, как мои козы,
То за тем, то за другим?!
А откуда у ней розы?!
Не уйдешь ты от меня!..
Допрошу мою голубку, —
Где у ней другой козел
И откуда шелк на юбку…
Ожиданья долгий час
Полон скорби, боли, яда…
Так в жару в глухую ночь
Мухомор глядит из сада.
Лук, чеснок теперь – прощай!..
На еду прошла охота, —
Словно вместе семь чертей,
Жжет любовь меня до пота…
Месяц в море потонул,
День настал игрив и светел,
Не видать на небе звезд…
Ах!.. Зачем его я встретил!!

* * *

Бессознательные души.
Эти бессознательные души
Меня в ярость приводят…
Их долг – одно страдание,
Их похвала – самораздражение и стыд.
Я не хожу по дорожкам,
Протоптанным ими, —
И за это они посылают мне взоры,
Полные язвительной, но безнадежной зависти.
С каким удовольствием они прокляли бы меня
И сбили бы с меня спесь!!.

Но их беспомощные старания
Навсегда останутся напрасными!..

ГЛУПЕЦ В ОТЧАЯНИИ

Ах!.. То, что писал я на столе и стене
От глупого сердца и глупой рукой,
То должно было украсить и стену и стол!..
А вы говорите, что руки глупца мажут лишь, —
И что стол и стену нужно чистить
До тех пор, пока ни черточки на них не останется!..
Позвольте!.. Я рукой владею, —
Мне известно употребление губки и метелки,
Как критику и водолею…
Но окончив свою работу,
Я охотно наблюдаю за тем, как вы,
Сверхмудрецы, пачкаете стену и стол
своей мудростью!..

RIMUS REMEDIUM
(Или: как больной поэт сам себя утешает)

Из уст твоих, слюноточивая ведьма времени,
Медленно, капля по капле, сочится час за часом.
Напрасно все во мне взывает:
«Проклятие, проклятие омуту
Бесконечности!»
Мир – смесь всего:
Разъяренный бык не слышит воззваний наших,
Скорбь и тоска летящим острием чертят во мне
Такие слова:
«Мир без души,
И было бы глупо сердиться на него!..
О дай мне сонного зелья!.. Дай яду!..
Ты слишком долго терзаешь мой мозг!
Что спрашиваешь ты? Что? «Какою ценою?»
– Ха! Проклятие девке и ее позору!..
Нет! Ступай назад!
На дворе холодно, и дождь идет, —
Тебя следовало бы встретить нежнее!.. —
Бери! Вот золото: как блестит монета! —
Тебя назвать «счастьем»?..
Тебя, болезнь, благословением?!. —
Вдруг дверь открывается с шумом!..
Капли дождя достигают до моей постели!..
Ветер тушит свечу, – невзгоды все разом!.. —
И если б у кого-нибудь в такую минуту
Тысячи рифм не звучали б, —
Пари держу, держу пари, —

Тот умер бы давно!..

«МОЕ СЧАСТЬЕ»

Голубей из Сан-Марко опять я вижу:
Тихое утро. На площади тихо.
Из прохладной тени в небесную синеву
Летят мои строфы, словно голубок стаи, —
А я маню их обратно.
Еще одну только строфу
Осталось сложить мне
– мое счастье! Мое счастье!..
Ты синий небесный свод, ты дышишь покоем,
И возносишься над пестрым разнообразным
миром,
А я – что делаю я? – люблю, боюсь, завидую!..
О, как охотно вдохнул бы я в себя твою душу!..
Отдал ли бы ее обратно?
Нет ответа от тебя!
– мое счастье! Мое счастье!..
И ты, суровая башня, ты возвышаешься
Здесь надо всем, ты стремительна, как лев,
И победоносна без всякого усилия…
Глубокий звук твоего колокола
Несется над площадью и летит
Выше и выше…
Остался ли бы я, подобно тебе,
В силу какой-то приятной неволи…
– мое счастье! Мое счастье!..
Прочь, прочь, музыка…
Пусть сначала спустятся тени, —
И наступит теплая, темная ночь!..
Звуки не любят света…
Золотые лучи сверкают еще
Неполным блеском, и вечер не скоро наступит…
Еще много дня впереди для поэзии и уединения —
– мое счастье! Мое счастье!..

К НОВОМУ МОРЮ

Своей вверяясь воле,
Туда я рвусь, туда!..
Шумит волною море,
Лазурь его синеет,
Корабль несется вдаль…
Все в новом блеске вижу… —
Туда я рвусь, туда!..
Покоем жарким дышит
И время и пространство,

И око лишь твое,
Как пасть чудовища,
Зияет надо мной,
О, бесконечность!..

SILS MARIA

Здесь сидел я в ожиданьи
По ту сторону добра и зла,
Но чего я ждал – не знаю…
То свет, то тьма
В упоенье меня приводили…
Медленно, бесцельно тянулось время…
Вдруг! Пробил час и два —
И мимо прошел Заратустра…

К МИСТРАЛЮ
(Плясовая песня)

О, мистраль, гонитель тучек,
Ты несешься, ты клубишься…
Небо чистишь, горе гонишь —
Как тебя люблю я!.. Ты и я – одна природа,
Общий жребий ждет нас!..
Здесь меж скал по скользким камням
Я бегу к тебе навстречу
И пляшу, – а ты мне вторишь
Своим свистом, своим ревом…
Как свободный брат свободы,
Ты несешься на просторе
Без весла, руля и лодки
Над пучиной моря дикой!..
Лишь проснусь, – призыв твой слышу:
Воешь в море и бушуешь
У скалы по желтым камням…
Здравствуй!.. Ты в ответ сверкаешь…
Жемчугами и брильянтом
И, победу торжествуя,
С гор стрелой несешься буйно…
На воздушной глади неба
Видел – кони мчались вихрем…
Колесницу твою видел,
Видел бич в руке взвивался,
Молнией сверкал он грозной,
По хребтам коней гуляя…
И, стремглав из колесницы
Ты спрыгнул и вниз помчался…
Видел я, как ты победно
Глубину пронзал стрелою…

Так огневый луч восхода
Своим светом проникает
И сияет розой алой
С края в край на небосклоне.
Скачешь, пляшешь, попираешь
Гребни волн и волн коварства…
Измышляешь «танец новый»,
Мы несемся в вихре пляски…
Слава тем, кто созидает, —
Их поэзия – свобода,
Их наука «радость жизни»…
Из цветов оба сплетаем
Мы венок для вечной славы
И крутимся в «пляске новой»…
Пляшем, словно трубадуры,
Меж пороком и святыней,
Между Богом и землею!..
Кто не пляшет вместе с вихрем,
Кто связал себя бинтами,
Словно старец изувечный,
И шагает, как калека,
Кто похож на лицемера
С добродетелью гусиной —
Прочь от нашего блаженства,
Прочь из рая, идол долга!..
Мы бросаем пылью улиц
Прямо в нос больным и слабым,
Вымирающих пугаем…
Очищаем все прибрежье
От дыханья чахлой груди
И от душ бессильных, дряблых!..
Мрак небес мы разгоняем,
Мира тьму и туч громады…
Светим мы в небесном царстве
И несемся в пляске дикой —
С нами дух свободных духов!..
Ураганом наше счастье
И бушует и резвится!..
И взвивайся выше, выше,
И возьми венок с собою,
И летя на крыльях вихря,
Брось его в высоты неба,
И, в залог такого счастья,
Ты звезду укрась венком!..

Философ

Очерки борьбы искусства и познания

(Весна 1873)
Перевод проем. А. Н.

1. Описание философа

1

Между великими явлениями – философ явление самое редкое, потому что познание досталось человеку лишь косвенно, а не как природный дар. Поэтому-то он является высшим типом великого.

2

Я хочу прочувствовать и изобразить чудовищное развитие чистого философа, который стремится к познанию, т. е. философа человечества. Многие находятся в такой зависимости от личных интересов, что не замечают того, что делается около них. Я расскажу об этом и заставлю заметить.

Чистый философ идентичен с самым стремлением к познанию, потому что все науки покоятся на едином общем фундаменте философии. А в доказательство огромного единства всех стремлений к знанию – посмотрите на разбитого ученого.

3

Деятельность продолжается в философии, но, так сказать, метафорически. В нем живет стремление к всецелому господству. Все в природе стремится к безграничному, и индивидуальный характер редко бывает прочен, а всегда полон порыва вперед. Быстр или медлителен этот порыв – вопрос чисто человеческий. По сравнению с бесконечно малым всякое развитие бесконечно быстро.

4

Борьба в душе философа

Универсальная страсть философа принуждает его плохо думать; грандиозный пафос правды, воспитанный широтою его взглядов, заставляет его высказываться, а это приводит его к логике.

И вот, с одной стороны, зарождается оптимистическая метафизика логики, которая постепенно наполняет все ядом и ложью. Логика, как самодержавная повелительница, приводит к лжи, потому что она отнюдь не самодержавная повелительница.

А с другой – чувство правды, происходящее из любви, а доказательством ему служит сила. Высказывание вдохновенных истин любви вытекает из мира познания чисто личного, раскрывать которого он не должен, но обильный восторг которого его к тому принуждает.

5

Философ или является плодом своей культуры, или врагом ее. Он созерцатель, как художник, он сострадателен, как человек веры, он исследователь, как человек науки: все тоны мира хочет он заставить звучать в душе своей и возвратить этот всемирный звук в понятиях.

Удивительно это сосуществование концепции и абстракции. Полет к макрокосму, соединенный с рассудочной осторожностью, как у актера или драматурга, который превращается

и все же сохраняет самообладание, чтобы уметь проецировать себя во вне. Диалектическое мышление, обливающее все словно душ. Не изумителен ли Платон: энтузиаст диалектики, т. е. как раз этой самой рассудительности.

6

Странное зрелище: борьба и взаимопожирание философских систем. Это неслыханно ни в области искусства, ни в области науки! Но то же происходит между религиями: это замечательно и знаменательно.

7

Философия есть искусство, как по своим целям, так и по своим методам. Но средства у нее все те же, что и у науки: представление в понятиях. Это форма поэзии. Философ познает – творя и творит, познавая. Его нельзя подвести ни под какой вид, для него надо выдумать особый и дать ему новую характеристику.

Философия не растет; т. е. я хочу сказать, что она не развивается подобно другим отраслям знания, хотя иные отделы ее постепенно переходят в введение точной науки. Гераклит не может устареть никогда. Это творчество вне границ опыта, продолжение стремления к созданию мифов, притом до значительной степени в образах же. Математическое изложение вовсе не существенно для философии. Косная математическая формула (как например у Спинозы), так успокоительно действовавшая на Гете, может быть оправдана только как способ эстетической манеры выражаться. Превозмочь знание силой творчества, создающего мифы, – вот в чем глубочайшее родство философа с основателем языческой религии.

Создание такой религии заключается в том, что творец ее возбуждает веру в свое мифическое построение, воздвигнутое в пустом пространстве, т. е. в том, что он умеет удовлетворить какую-то необычайную потребность.

С появлением «Критики чистого разума» вряд ли можно ожидать повторения чего-либо подобного. Зато я вполне ясно могу представить себе новый род философов-художников, которые с превеликим эстетическим успехом заполнят образовавшееся пустое место произведениями искусства.

8

В каком отношении стоит к искусству философский гений? Из прямых соотношений между ними мало можно вывести. Спросим себя, что является в философии элементом искусства? Что именно делает ее произведением искусства? Что пребывает в ней, после того, как она теряет значение научной системы? Именно это пребывающее и есть то, что обуздывает стремление к знанию, именно оно и есть – художественное в системе. Но для чего необходимо такое обуздывающее начало? Рассматриваемое с научной точки зрения оно является иллюзией, неправдой, которые обманывают стремление к познанию и дают лишь временное удовлетворение. Ценность, которую приобретает философия от этого обуздания, относится не к сфере познания, а к сфере жизни; воля к существованию проявляется здесь философией для создания высших форм бытия.

Совершенно невозможно, чтобы философия и искусство обратились против этой воли: впрочем, на ее службе находится и мораль. Самодержавная власть воли. Относительная нирвана есть лишь одна из нежнейших форм существования.

9

Особой философии, отделенной от науки, не бывает: и там и здесь человек мыслит. Часто бездоказательное философствование имеет большую цену, чем многие научные положения, это объясняется эстетическими достоинствами такого миропостроения (alias философии), т. е.

ее красотой и возвышенностью. Она все еще остается произведением искусства, хотя бы и не могла доказать своего достоинства научной теории. Впрочем, не то же ли самое бывает и в науке? – Одним словом: решающим голосом обладает не стремление к познанию, а эстетическое чувство: малодоказательная философия Гераклита имеет гораздо большее значение, чем все научные положения Аристотеля. Таким образом фантазия укрощает стремление к познанию и указывает ему место в культуре данного народа. При всем том философ преисполнен пафоса истины: значительность его системы служит для него ручательством ее истинности. В этих предварительных взглядах можно найти объяснение плодотворности философского мышления и его внутренних пружин.

10

Философское мышление специфически однородно с научным мышлением, но охватывает более великие вещи и обстоятельства. Понятие же о великом переменчиво и относится частично к эстетике, частично к морали.

Для науки нет ни великого, ни малого, это различие существует однако для философии! Человек науки может измерить себя этим положением. Но когда метафизика будет устранена, многое другое покажется человечеству великим. Я хочу сказать, что философы будут предпочитать другие области: и, надо надеяться, те именно, с помощью которых они могут целительно действовать на культуру.

11

Дело идет не о том, чтобы уничтожить науку, но чтобы овладеть ею.

Наука как в своих целях, так и в своих методах зависит от философских умозрений, но часто забывает это. И господствующая философия должна решить проблему о границах, до которых допустим рост науки: она определяет ценность науки.

12

Философ трагического познания. Он обуздывает разнузданную жажду знания не при посредстве новой метафизики. Он не устанавливает никаких новых верований. Он трагически ощущает отсутствие метафизической почвы, вырванной из-под его ног и никак не может удовлетвориться пестрым круговоротом науки. Он воздвигает основы новой жизни: он возвращает права искусству.

Философ отчаянного познания весь уйдет в слепую науку: знать во чтобы то ни стало.

Для трагического философа картину бытия завершает то, что все метафизическое кажется антропоморфизмом. Он никогда не бывает скептиком. Здесь нужно создать новое понятие: скепсис не может быть целью. Стремление к познанию, достигнув своих пределов, обращается против себя, чтобы приступить к критике самого познания. Познание служит возможно прекраснейшей жизни. Надо даже желать иллюзий – в этом сущность трагического.

13

Философ будущего? Он должен быть верховным судьею художественной культуры и вместе с тем охранителем ее от всякого рода излишеств.

2. Варваризирующее влияние науки

1

На примере современной Германии мы видим, что расцвет науки возможен даже в варварской культуре; польза точно так же не имеет к науке ни малейшего отношения (хотя можно

порою усомниться в этом, видя то преимущество, которым пользуется химия и вообще естествознание, и тот практический интерес, который возбуждают чистые химики).

Наука обладает особым жизненным дыханием. Приходящая в упадок культура (например александрийская) или отсутствие культуры (как в наше время) не делают науку невозможной. Познание есть даже как бы замена культуры.

2

Все в науке, что имеет всеобщий интерес, либо случайно, либо вовсе отсутствует.

Изучение языка без упражнений в стиле и риторики.

Изучение Индии без ее философии.

Классическое образование без практических выводов из него.

Естественные науки без того исцеления и покоя, которые находил в них Гете.

История без энтузиазма.

Словом, все науки вне их практического значения: т. е. в совершенно ином виде, чем они могут быть интересны для человека культуры. Наука, как заработок!

3

Все естественные науки являются в сущности попыткой понять человека, понять антропологическое, или, еще правильнее, вернуться к человеку, сделав необъятный обход. Порыв к макрокосму, чтобы сказать себе в конце концов: «ты то, что ты есть».

4

Говоря об ужасной возможности познания, ведущего к гибели, я отнюдь не хочу сделать комплимент ныне живущему поколению: в нем совершенно нет подобной тенденции к познанию. Но если проследить ход развития науки, начиная с пятнадцатого столетия, то подобная сила и возможность кажется вполне вероятной.

5

Наши естественные науки направлены к гибели в целях знания, наше историческое образование приводит к смерти всякой культуры. Оно борется против и попутно уничтожает культуры. Это противоестественная реакция против ужасного религиозного гнета, который теперь ищет спасения в крайностях… И без меры.

3. Против портретной истории

Историческое познание развилось так широко, в качестве силы противодействующей религиозному мифу, а равным образом и философии. Здесь, как и в мышлении математическом, точное знание празднует свои сатурналии, самое ничтожное, что здесь достигается, ценится выше великих метафизических идей. Ценность определяется здесь степенью достоверности, а не степенью необходимости для человечества. Это старый спор веры и знания.

Целью исторического познания служит полное уяснение человека в процессе его становления, устранение чуда и из этой области. Это стремление лишает главной силы стремление к культуре: познание – чистая роскошь, культура не повышается от него ни на волос. Философия может утверждать теперь только одно: что всякое познание относительно и антропоморфно, что всюду царит иллюзия. Она не может обуздать этим расходившееся стремление к знанию с его оценкою по степени достоверности и поисками за самыми малыми объектами. В то время как каждый человек радуется, что день прошел, историк начинает копать, рыться и комбинировать над этим днем, чтобы вырвать его из объятий забвения: пусть и ничтожное будет вечно, потому что его легко понять.

Но для нас значителен только масштаб эстетический. Лишь великое имеет право на историю и притом не на портретную, а на продуктивную, возбуждающую, широкую историческую живопись. Мы оставляем могилы в покое, но овладеваем тем, что навеки бессмертно.

Любимая тема нашего времени – великие результаты, происходящие от малых причин. Историческое кишение, как целое, все же производит впечатление грандиозное, это словно та скудная растительность, которая постепенно мельчает Альпы. Мы видим великое стремление с ничтожными орудиями, но с бесконечно большим количеством их.

Почитание великих результатов малого сводится к удивлению перед несоответствием между результатом и причиной. Настоящее впечатление величия получается только тогда, когда мы сложим все мелкие причины вместе: мы создаем впечатление величия, придавая им единство. Но человечество растет только путем восторга перед редким и великим. Даже то, что величественно выдумано, как редкое, например чудо, может способствовать его воспитанию. Благоговейный ужас – лучшее в человеке.

4. Конец метафизики

Бесконечность есть самый первоначальный факт: надо объяснить лишь возникновение конечного. Но точка зрения конечного – чувственна, иными словами обманчива.

Как можно решаться говорить о назначении земного шара!

В бесконечном времени и пространстве нет целей: все сущее в них вечно под разными формами. Невозможно усмотреть в них никакого особого метафизического мира.

Чудовищная задача художника научить человечество стоять без всякой подобной подпорки.

Это ужасающий вывод из дарвинизма, но вывод этот я тем не менее считаю верным. Наше благоговение направлено на качества, которые мы считаем вечными: на моральное, религиозное, художественное и т. д.

Инстинкт ни на шаг не подвигает нас к объяснению целесообразного. Все инстинкты явились лишь в результате бесконечно продолжительного процесса.

Шопенгауэр говорит, что воля объективирует себя не адекватно: так кажется, если исходить от самых совершенных форм.

Но и самая воля есть лишь в высшей степени сложный продукт природы. Предпосылкой для нее служит нервная система. Даже сила тяжести не есть простой феномен, но следствие движения солнечных систем, эфира и так далее. Даже и механический толчок есть нечто сложное.

Нельзя доказать, чтобы бытие имело смысл метафизический, эстетический или моральный.

Рассматривать дух, продукт мозга, как нечто сверхъестественное! Даже обожать его! какая глупость!

Между миллионами гибнущих миров один возможный. Да и тот погибнет и обратится в первобытное ничто. Говорить о бессознательной цели, преследуемой человечеством, я считаю неправильным. Человечество не есть что-то цельное, как муравейник. Быть может, можно еще говорить о бессознательной цели отдельного государства или народа: но можно ли говорить о бессознательной цели всех муравьиных куч вместе?

Вы не должны искать убежища в метафизике, а пожертвовать собою ради нарождающейся культуры. Вот почему я так суров к идеализму грез.

Мы слишком легко смешиваем «вещь в себе» Канта и истинную сущность вещей буддистов, т. е. является ли действительность целиком представлением, или лишь видимостью, адекватной истинному бытию. Мы смешиваем мираж, как небытие и как видимое проявление бытия. Всевозможные предрассудки умножаются в пустоте.

5. К теории морали

1

Отрицательная мораль была бы чем-то величественным, потому что она давно – невозможна. Она была бы налицо, если бы человек в полном сознании сказал «нет!» в то время, как все чувства и нервы его говорят ему «да!», каждое волокно, каждая клетка его тела протестует против этого «нет».

2

Насколько велика была этическая сила стоиков, видно из того, что они нарушали свой основной принцип ради свободы воли.

3

В политике государственный человек часто предугадывает действие противника и совершает его раньше сам: «если я не сделаю этого, то он сделает»! Своего рода необходимость, как основа политики. Точка зрения войны.

4

Мораль не имеет никакого другого источника, кроме интеллекта, но связующая цель образов действует здесь иначе, чем у мыслителя и художника: она побуждает к делу. Очевидно, что необходимой предпосылкой является ощущение сходства, идентифицирование. Потом воспоминание об испытанной боли. Быть добрым значит идентифицировать очень легко и быстро. Это приблизительно такое же умение превращаться, как у актера.

Всякая справедливость и всякое право имеют своим источником равновесие эгоизмов: взаимный договор с целью не вредить друг другу. Стало быть благоразумие. Если справедливость и чувство права приняли форму прочных принципов, то они имеют уже другой вид: это твердость характера. Любовь и право антиподы: кульминационный пункт – самопожертвование ради мира.

Предугадывание возможных неприятных ощущений определяет собою поведение людей справедливых. Они эмпирически знают результат оскорбления ближнего, а также и результат оскорбления собственной их личности. Христианская этика вполне противоположена этому: она покоится на отождествлении себя самого с ближним; делать добро другому то же, что делать добро себе, сострадать другому то же, что страдать самому. Любовь соединена со стремлением к слиянию воедино.

5

Шопенгауэр отрицает влияние моральной философии на нравственность: ведь и художник никогда не творит, следуя за понятиями.

Удивительно! Конечно, каждый человек есть уже интеллигибельное существо (обусловленное бесчисленным количеством поколений). Но подчеркивание некоторых мотивов путем понятий не может не усиливать значения этих моральных сил. Ничего нового здесь не образуется, но творческая энергия концентрируется в одну сторону.

Нет сомнения, что, напр, категорический императив значительно усилил чувство бескорыстной добродетели. И здесь мы видим, как выдающийся моральный индивидуум распространяет вокруг себя очарование подражания. Философ должен воздействовать именно путем такого очарования. То, что является законом для самых выдающихся индивидуумов, должно постепенно становиться законом для всех: по крайней мере, как рамки для других.

6

Доброта и сострадательность, как душевные качества, не связаны, к счастью, с преуспеянием или гибелью той или другой религии: но добрые дела в значительной мере обусловливаются религиозным императивом. Огромное большинство добрых и согласных с долгом поступков не обладают ровно никакой этической ценностью, а являются вынужденными. При всяком крушении религии практическая мораль терпит урон. По-видимому, метафизика награды и наказания необходима.

Когда можно создать обычай, могучий обычай – то этим создается и нравственность. Но обычаи образуются благодаря изобретательности отдельных могучих индивидуумов. Я не рассчитываю на пробуждение добродетели в господствующих классах, но, быть может, можно было бы привить им как обычай, как долг – борьбу с пошлыми обыкновениями.

6. Кант и Шопенгауэр

1

Надо доказать, что все миропостроения антропоморфичны, мало того, что таковы даже все науки, если верить Канту. Правда, тут есть логический круг: если наука права – то неправ Кант, а если Кант прав, то науки лгут. Можно выдвинуть против Канта те соображения, что даже соглашаясь со всеми его положениями, нельзя не признать полной возможности того, что мир все же таков, каким он нам является. К тому же его система для жизни не годится: жить в сфере подобного скептицизма невозможно. Мы должны выйти из него. Мы должны забыть его. Чего-чего только не должны мы забыть в этом мире!

Наше спасение не в знании, а в деятельности. В возвышенных делах, в благородных волнениях лежит наше величие. Если вселенная к нам равнодушна, то мы хотим иметь право презирать ее.

2

Во втором предисловии к «Критике чистого разума» Кант говорит: «чтобы найти место для религии, я должен был ослабить престиж знания. Метафизический догматизм, т. е. предрассудок, будто можно прийти к ней помимо критики чистого разума, является истинным источником безнравственного неверия, которое теперь само стало догматизмом». Это очень важно! Им руководила культурная необходимость.

Странное противоположность «знать и верить». Что подумали бы об этом греки? Кант не знал других противоположностей, но мы!

Кантом руководит культурная потребность: он хочет спасти одну область от знания: и в нее-то Шопенгауэр закладывает корни всего высшего и глубочайшего, искусства и этики.

3

К Шопенгауэру. Смешно представить себе Шопенгауэра в современном университете! Его эвдаймонологическое учение, как и учение Горация, годится только для людей опытных; другое его учение, пессимистическое, вовсе не годится для современных людей: в лучшем случае они запрячут в него свое личное недовольство и, когда вытащат его оттуда назад, будут думать, что покончили с Шопенгауэром. Вся культура кажется такой невыразимо детской, словно какое-то ликование по случаю объявления войны. – Шопенгауэр прост и честен: он не ищет фраз и фиговых листьев, он говорит миру, погрязшему в нечестности: «смотрите: вот снова человек!» И как сильны все его концепции: воли (которая соединяет нас с Августином, Паскалем и индусами), отрицания, учения о гении вида. В его изложении нет тревоги, но прозрачность морской глубины, которая неподвижна или чуть плещет волнами под ярким солнцем. Иногда он груб, как Лютер. До сих пор он самый строгий образец стиля, каким обла-

дают немцы: никто не относился так серьезно к языку и к обязанностям, которые он налагает. Сколько в нем величия и достоинства можно видеть в contrario: сравнив его с его подражателем (а в сущности противником), Гартманном. Его необычайная заслуга заключается в том, что он снова заглянул в самое сердце бытия без научных отвлеченностей; без остановок и промедлений в области всякой схоластики. Стоит, пожалуй, изучать тех мелких философов, которые последовали за ним, чтобы констатировать, как они сейчас же попали на такое место, где можно высказывать ученые pro et contra, где можно копаться, противоречить, но только никак не жить.

Он разбивает как вульгаризацию науки, так и ее варваризирующую силу, он возбуждает чудовищную потребность, такую же, какую когда-то пробудил Сократ-будитель. Но тот звал к знанию, а этот к религии и искусству. Было забыто, что такое религия, а также и то, какое значение для жизни может иметь искусство. То и другое было понято благодаря пессимизму.

Как глубока должна быть теперь религия – это видно из следующего:

Шопенгауэр стоит в противоречии со всем, что называется теперь культурой, как Платон к культуре своего времени. Шопенгауэр далеко опередил нас: мы только начинаем предчувствовать его миссию. Он уничтожил антикультурные силы и снова раскрывает глубокие основы бытия. Благодаря ему становится опять возможным радостное искусство.

7. Апология искусства

1

В природе нет формы, так как нет ни внутреннего, ни внешнего. Всякое искусство покоится на восприятиях глаза.

2

Чувственное восприятие человеком мира несомненно ведет к красоте, она проясняет мир. Зачем же мы стремимся к другому? Зачем нам хочется проникнуть еще глубже? Неугомонное стремление к познанию ведет к пустоте, по направлению к безобразию. – Надо уметь довольствоваться художественным воззрением на мир.

3

В нас есть сила, которая заставляет нас интенсивнее замечать главные линии рисунка и помогает ощущать ритм помимо тех или иных его неточностей. Эта сила должна быть художественной, потому что творит. Главные ее средства: пропускать, просматривать и прослушивать ненужное. Она, следовательно, антинаучна: потому что она относится далеко не с равным интересом ко всему, что воспринимает.

Слово содержит лишь образ, из которого возникает понятие. Таким образом мысли приходится считаться с художественными силами. Всякое деление на рубрики есть стремление создать картину. Мы поверхностно относимся ко всякому настоящему бытию и выражаемся символами, образами, причем постоянно пускаем в ход нашу художественную силу, усиливая важное и сглаживая маловажное.

4

Произведение искусства находится в таком же отношении к природе, в каком математический круг к кругу естественному.

5

«Художник не видит идей», он испытывает наслаждение от соразмерности частей. Наслаждение при правильных пропорциях, неудовольствие при диспропорциях. Это понятия, построенные по закону чисел. Воззрения, представляющие из себя красивые числовые отношения – прекрасны. Человек науки вычисляет числа законов природы, художник их созерцает: там закономерность, здесь красота. Созерцает художник совершенно поверхностно: идей здесь нет, а только самый легкий покров, красивые члены.

6

Чувство прекрасного тесно связано с размножением.

7

Музыка, как дополнение языка: Музыка передает многие впечатления и целые душевные состояния невыразимые словом.

8

Каким образом возможно искусство, как ложь?

Мой закрытый глаз видит перед собою бесчисленные картины, это продукты фантазии, я знаю, что в действительности им ничего не соответствует. Итак, я верю им только как картинам, а вовсе не как реальностям. В искусстве заключается радостная возможность внушать веру поверхностностью: но оно при этом не обманывает! Иначе был бы конец всякому искусству. Итак, искусство рассчитывает на обманчивое, но мы не обмануты при этом? Откуда же удовольствие, которое мы испытываем при взгляде на давно разгаданный мираж, вполне признаваемый за таковой? Но искусство обрабатывает видимость только как видимость, следовательно, оно не хочет обманывать, оно правдиво.

Бескорыстное созерцание возможно только по отношению к видимости, которая признается таковой, не хочет возбуждать к себе доверия и влиять таким образом на нашу волю.

Смотреть на мир без желаний и порывов может только тот, кто научился относиться к нему, как к миражу: художник и философ. Здесь страсти прекращают свое действие. Пока ищут на свете правды – все еще находятся под давлением страсти, хотят не правды, а удовольствия, хотят верить, что что-нибудь истинно, т. е. стремиться к наслаждению, доставляемому только уверенностью. *Мир, как видимость* – святой, художник, философ.

9

Быть вполне правдивым – это чудное, героическое наслаждение человека посреди лживой природы. Но это возможно лишь относительно. В этом-то и заключается трагизм. Это трагическая проблема Канта. Искусство получает таким образом совершенно новое достоинство. Напротив, науки деградируют на одну ступень. Честно теперь одно: правдивость искусства. Таким образом мы после огромного обхода возвращаемся назад к естественному отношению (как у греков). Невозможность построить культуру на фундаменте науки сделалась очевидной.

10

Исторические и естественные науки были необходимы против средневекового духа: знание против веры. Но мы воздвигаем теперь против науки искусство: возвращение к жизни. Обуздание стремления к знанию. Усиление моральных и эстетических инстинктов. Это кажется нам спасением для германского духа, который после этого сам сможет быть спасителем.

Сущность этого духа открылась нам в музыке. Мы понимаем, почему греки ставили свою культуру в зависимость от музыки. Удивительное единство существует между Шопенгауэром и Вагнером. Они продукты того же стремления. В них готовятся к бою глубочайшие свойства германского духа, совершенно как у греков.

11

Обуздание науки может произойти теперь только посредством искусства. Дело идет об окончательной установке ценности знания и многознания. Огромная задача, и в этой задаче заключается достоинство искусства.

Оно должно пересоздать все сызнова и в этом новом породить жизнь. Греки показывают нам, что под силу искусству: если бы не они, наши надежды были бы химерами.

Сможет ли восполнить эту пустоту новая мистика – это будет зависеть от ее силы. Мы возвращаемся к культуре: немецкое, как спасающая сила!

Во всяком случае, мистика, которая оказалась бы достаточно сильной – должна бы была обладать колоссальным богатством любви: знание разбивается об нее, как оно разбивается о язык силою искусства. Но, быть может, искусство само создаст себе мистику и породит свой миф? Так было у греков.

12

Самое истинное в этом мире: любовь, религия, искусство. Первая видит сквозь все притворства и мысли самую сущность – страдающий индивид, и страдает вместе с ним, а искусство возвышает, как практическая любовь и нас над страданиями, рассказывая об иных мирах и заставляя презирать этот. Это три нелогичные силы, которые и признают себя за таковые.

13

О, страшное одиночество последнего философа! Природа леденит его, коршуны парят над ним. И он восклицает природе: «дай мне забвения! забвения!». Нет! он переносит страдание как титан, пока не найдет искупления в высочайшем трагическом искусстве.

Эдип

Разговор последнего философа с самим собою.
Отрывок истории будущих времен (Весна 1873)

Я называю себя последним философом, потому что я – последний человек. Никто не говорит со мною, кроме меня самого, и голос мой раздается, как голос умирающего. О, дорогой голос, дай мне еще немного побыть с тобою, как с последним веянием воспоминания о всем человеческом счастье. Тобою я обманываюсь, отгоняю от себя уединение и мечтаю, что я среди многих любящих. Ведь мое сердце не хочет верить, что любовь умерла, оно не выносит ужасающего одиночества и принуждает меня говорить, как будто нас двое.

Слышу ли тебя, мой голос? Шепотом произносишь ты проклятия. А между тем твое проклятие должно бы разорвать недра этого мира. Но мир жив еще и все блестящее, все холоднее смотрит на меня своими равнодушными звездами, он жив, такой же глупый и слепой, как прежде: умирает только человек.

И все же! Я еще слышу тебя, дорогой голос! Во вселенной умирает кроме меня еще кто-то: то умирает последний твой вздох! последний вздох, которым, увы, увы! ты оплакиваешь меня, последнего из страдальцев людей, меня – Эдипа.

Философия в затруднении

(Осень 1873 года)
Мысли и наброски

Часть первая

Требования, представляемые философу нашим временем

1

Перикл говорит, что зрелище афинских празднеств и драгоценных построек, разгоняет мрачное настроение. Мы, немцы, сильно страдаем от такого мрачного настроения. Шиллер надеялся, что поток простого и возвышенного вызовет нравственный подъем путем подъема эстетического. Вагнер надеется, наоборот, что моральная сила немцев обратится наконец к искусству и потребует от него достоинства и серьезности. Он относится к искусству так строго и серьезно, как только это возможно: только таким путем надеется он возродить его облегчающее радостное влияние. Все это у нас совершенно извращено и ненатурально: мы ставим всякие препятствия на пути людей, которые должны радовать нас искусством, мы требуем от них таким образом огромной гениальности и нравственной силы. Именно потому, что образование так тяжело дается нашим художникам и они должны затрачивать на борьбу все свои силы, мы, нехудожники, так слабы в наших моральных требованиях к себе самим: в принципах и воззрениях на жизнь царит дух любви к удобству. Легко относясь к жизни, мы теряем истинную потребность в искусстве. Когда жизнь наподобие афинской требует постоянного исполнения долга, самопожертвования, предприимчивости, трудов, тогда люди научаются почитать искусства, празднества и жаждать всех вообще плодов культуры. Отсутствие у немцев культуры зависит главным образом от их моральной слабости.

2

Всюду видны симптомы вымирания истинного образования, его полного истребления.

Торопливость, отлив волны религии, национальная борьба, мельчающая и вскрывающая наука, презренное стремление высших классов к деньгам и животным наслаждениям, отсутствие в них любви и великодушия.

Все яснее становится для меня, что люди образованные дальше всех ушли в этом направлении, с каждым днем они становятся все скуднее мыслями и любовью. Куда бы мы не заглянули, все служит наступающему варварству, искусство так же, как и наука! Великий поток варварства у порога! Что же нам делать, когда нам нечем защититься и мы стоим рядом с остальными?

Попробуй охранять те силы, которые еще остались, соединиться с ними и обуздать вовремя угрожающую опасность варварства. Надо отказаться от мысли о союзе с «образованными». Это худшие враги: они мешают врачу и лгут, будто болезни не существует.

Мудрость независима от знаний знающих.

Надежды можно питать только относительно низших необразованных классов. От классов ученых и образованных надо решительно отречься. А следовательно, отречься и от греков, которые понимали лишь эти классы и сами к ним принадлежали. Люди, которые ясно сознают, что такое нужда, наверное легко поймут, чем может быть для них мудрость. Больше всего надо опасаться, как бы современное образование не заразило необразованные классы.

Если бы явился теперь новый Лютер, он стал бы громить отвратительный образ мыслей имущих классов, их глупость и бессмыслие, благодаря которым они даже не предчувствуют грозы.

Где ищем мы народа!

Как только рабочее сословие поймет, что оно может легко обогнать нас в деле образованности и добродетели – с нами будет покончено. Но если этого не будет, тогда для нас настанет уже совсем конец.

3.

……..

4

Кто знает античную мораль, не может не удивляться тому, что многие явления рассматривались тогда с точки зрения моральной, которые нынче отнесены к области медицины; что многие расстройства души и ума передавались тогда заботам философа, теперь врача, а что теперь успокаивают нервы почти исключительно при помощи разного рода наркотиков. Древние были воздержаннее в жизни, и притом сознательно воздержаннее; они умели сдерживаться и отказывать себе во многом, чтобы не терять власти над собою. Поучения их морали всегда проистекают из живого примера людей, живших согласно известным правилам, которые они и преподавали. Я не знаю, о каких отдаленных и превыспренных вещах учат нынешние этики: но знаю, что они считают человека за какое-то диковинно-духовное существо и находят неприличным брать его антично-нагим и говорить о его необходимых и его «низменных» потребностях. Стыдливость заходит так далеко, что можно думать, будто современный человек обладает лишь кажущимся телом. Мне думается, что вегетарианцы с их советом есть меньше и проще принесли гораздо больше пользы, чем все наши моральные системы вместе. Нет сомнения, что прежние воспитатели человечества были бы вынуждены снова предписать более строгую диету.

Думают сделать здоровым современного человека воздухом и солнцем, жилищем и путешествиями, наконец лекарствами и ядами медицины.

А все то, что тяжело человеку, считается неподходящим: за правило принято болеть и выздоравливать приятным и удобным образом. Но такая продолжительная ничтожная жизнь и отсутствие самовоспитания как раз и производят всеобщую нервность и бессилие.

5

Наше время питает склонность к сильным односторонностям, потому что в них сказывается по крайней мере жизненная сила, а сила необходима, что-нибудь должно быть создано. Если налицо одна слабость, то все силы направляются на сохранение существующего во что бы то ни стало. Во всяком случае, тогда нет никаких новообразований, которым можно бы было порадоваться. Сравните это с человеком чахоточным, которому страстно хочется жить, но который постоянно должен думать о здоровье, т. е. о самосохранении. Когда эпоха выдвигает значительное количество подобных характеров, она начинает чтить силу даже грубую, даже враждебную: например желтую, но здоровую фигуру Наполеона у Марвица.

6

Остальные науки (естествознание, история) могут лишь объяснять, но отнюдь не повелевать. Если они и повелевают, то лишь доказывая пользу того или другого поступка. Но каждая мистика, каждая философия скрывает в себе какую-нибудь возвышенную противоестественность, какую-нибудь очевидную бесполезность. Что же, надо ли поставить над ними крест, как и над поэзией, которая есть своего рода бессмыслица?

Счастье человека покоится на том, что где-нибудь существует для него неоспоримая истина, будь то более грубая (благо его семьи, как высший его двигатель), или более тонкая, например вера и т. п. Когда опровергают это, он перестает слушать.

При современной огромной подвижности философ должен служить тормозом: но в силах ли он быть им?

Часть вторая

Нападки на философию

1

Самое строгое направление философской мысли того и гляди обратится в теорию релятивизма: «человек есть мера вещей». Это ее конец: может ли быть что-нибудь надоедливее этих параличных сторожей, которые то и дело возглашают: «ни шагу дальше!» – «сюда вход воспрещается!» – «такой-то зарвался», – «мы ничего не знаем с абсолютной достоверностью» и т. д. Это почва совершенно бесплодная. Итак, с этим направлением мы покончили! Император Август, будучи мальчиком, приказал замолчать лягушкам, кричавшим вокруг его виллы и надоевшим ему. Светоний утверждает, что они с тех пор замолчали.

2

Надо помнить, что масса философии нами унаследована, что человечество почти насыщено ею. Сколько практической философии содержит в себе всякий разговор, всякая книга, всякая наука! В какой массе случаев становится ясным, как много унаследованной философии заключает в себе всякий человек! Даже у людей Гомера проявляется эта философия. Я хочу сказать, что человечество не перестанет философствовать, если даже кафедры останутся пустыми. Чего-чего только не поглотила и не усвоила себе теология, например всю этику. Такое миросозерцание, как христианское, должно считаться со всеми остальными теориями, бороться с ними, притягивать их к себе, или ставить границы между ними и собою – даже уничтожать их, если они сильны и самостоятельны.

3

Если бы философы захотели теперь мечтать о собственном государстве, то оно называлось бы не Платонополь, а Апрагополь, т. е. город праздных.

Третья часть

Картина современной философии

А) бессилие современной философии

1

Некоторые вещи приобретают прочность, только когда они становятся слабыми. До тех пор им грозит опасность внезапной и неожиданной гибели. Здоровье крепнет в старческом возрасте. Так и философия насчитывает как раз теперь самое большое количество ценителей и сторонников: она уж не мучит больше людей, многих она даже поддерживает, и они благодаря ей вправе открывать рот и болтать себе сколько угодно. Вещи крепкие и сильные находятся в опасности погибнуть, неожиданно сломаться, привлечь удар молнии. Со всеми полнокровными может случиться удар: но нынешняя уж философия, наверное, не умрет от удара. Особенно безвредной, а, следовательно, бессмертной стала философия с тех пор, как обратилась в историческую дисциплину.

2

Поразительный недостаток любви в современных философах, которые заботятся лишь об избранных; к их мудрости не примешано ни капли веры. Мудрость должна светить всем, как солнце: даже в самую низкую душу должен проникнуть хоть бледный луч ее.

3

Отказывать людям в надежде на обладание! Философия и религия – это тоска по особого рода обладанию.

4

Науки похожи на деревья: можно держаться только за стволы и нижние ветви, а не за верхушки и крайние веточки: иначе и сам упадешь, и ветви обломятся. Так обстоит дело с философией: горе юности, которая хочет уцепиться за вершину.

5

Я ненавижу презрительное отношение к этому миру и осуждение его огулом: из них возникает искусство и мистика. Ах, я понимаю это бегство так: это стремление ввысь и выше мира.

Б) Ученость современной философии

1

Каждая философия должна уметь удовлетворить моему требованию: концентрировать человека, – в настоящее время этого не в состоянии сделать ни одна.

2

Переделать философию в науку, как это делает Тренделенбург, значит окончательно сложить оружие.

3

Слово «философия» протестует против меня, когда я применяю его к немецким ученым и писателям: оно кажется мне неподходящим. Я бы желал, чтобы его избегали и называли ее впредь по-немецки сильно: мыслительное хозяйство.

Я буду так нескромен, что стану говорить народу мыслителей о немецком мыслительном хозяйстве. Где живет этот народ, спросит иностранец. Там, где живут пять мудрецов, на которых недавно обратили внимание в одном в высшей степени публичном месте, как на самую сущность немецкой философии: это Ульрици, Фршхаммер, Губер, Каррьер и Фихте-младший: что касается последнего, то о нем нетрудно сказать кое-что хорошее. Даже злой силач Бюхнер говорит о нем: «с рождением г. Фихте-младшего каждый человек, кроме самого г. Фихте, имеет сопутствующего ему гения. Но даже и этот фанатический приверженец материи согласится со мною, что в остальных четырех фосфоресцирует что-то, чего нет в Фихте. Итак, у одного нет никакого гения, четверо других фосфоресцируют, все вместе философствуют, или, по-немецки, занимаются мыслительным хозяйством. Но на них обращают внимание иностранцев в доказательство того, что мы, немцы, все еще народ мыслителей. Гартманна не называют, имея на то хорошие основания, у него действительно есть то, чего бы так хотелось иметь Фихте: благодаря этому чему-то он весьма невежливо водил за нос даже всю коллегию пяти мудрецов: из этого следует, что он сам вряд ли верует в народ мыслителей и, что еще хуже, в пятерых мыслительных хозяев. Но блажен, кто в них верует: вот почему имя Гартманна не блистает

среди знаменитых имен нашего царства. Он силен духом, а царство принадлежит теперь только нищим духом.

Мудр ли г. Ульрици? Пребывает ли он в свете мудрости по крайней мере в качестве влюбленного в нее? Нет, к глубокому моему огорчению – нет! не виноват же я, если он не мудр. Куда как хорошо бы сознавать, что есть мудрец из Галля, мудрец из Мюнхена и т. д. Особенно жалко нам упускать Каррьера, изобретателя реалидеализма и деревянного железа: будь он чуточку мудрее, мы бы охотно объявили его совершенным мудрецом. Это ведь стыд и срам, что мы, великая нация, не имеем мудреца, а всего пять мыслительных хозяев и что Эдуард Гартманн дает понять то, что ему хорошо известно: именно, что в настоящее время чувствуется недостаток в философах.

4

Признания Штрауса: – летучая паутина стариковского лета.
Симпатия к стародревним временам

Симпатия к условиям первобытной жизни – это страсть нашего времени. Не глупо ли, будто даже теорию происхождения видов можно преподавать не вразрез с мистикой! Отрадно хоть то, что ничто не прочно, ничто не вечно, что все постепенно исчезает.

Недостаток в великих моральных примерах

Незнакомство с Плутархом. Монтеня ставят выше его. Писатель наиболее сильно действующий (по Смайльсу). Есть ли хоть малейшая возможность появления нового Плутарха? Мы все живем в натуралистической приличнонравственной среде: лишенной стиля, античные характеры легко кажутся нам напыщенными.

У Грациана столько мудрости и ума в его суждениях о жизни, что в настоящее время никто с ним не может сравниться. Мы хорошие микроскописты жизни, наши романисты умеют наблюдать (Бальзак, Диккенс), но требовать и объяснять они не умеют.

По сравнению с древними и Монтескьё уже натуралист в этике, но безгранично богатый и глубокомысленный. А мы, натуралисты, бедны мыслью при всех наших познаниях. Какая вдумчивость, какое доверие к собственной этике видим мы в эпоху Дидро и Фридриха Великого!

Даже Минна фон Барнгельм, вся построенная на светском французском разговоре, для нашего времени слишком тонка.

Желал бы я, чтобы кто-нибудь показал нам, как мы с нашим возвеличением этического натурализма превратились окончательно в иезуитов. Естественное мы любим как эстетики, а не как моралисты: но моралистов вовсе нет! Подумайте напр, о Шлеймрахере.

Какой след философии найдете вы в воспитанниках философов, т. е. в «образованных людях?» Нам недостает лучшей темы для разговоров: утонченной этики. «Племянник Рамо». У нас нет этических знаменитостей: очевидно нет чутья, чтобы угадать их. А вместо того мы чтим теорию силы. Например: кто-нибудь скажет: Гегель плохой стилист, а другой: да, но у него так много оригинальных и чисто народных оборотов. Но ведь это относится к материалу, художник ценится не за то, что у него прекрасный мрамор, а за то, как он его отделывает. То же относительно области этики.

Конфликт между мышлением и жизнью

1

Самое важное в мудрости то, что она не дает мгновению овладеть человеком. Но она не должна быть вследствие этого злобой дня: ее цель охранять человека от всех возможных ударов судьбы, вооружить его на все времена. Она очень мало национальна.

2

Я думаю о первой ночи Диогена. Вся античная философия направлена была к простоте жизни и учила об известного рода отсутствии потребностей; это лучшее средство против всех мыслей о социальной революции. В этом смысле философские вегетарианцы сделали больше для человечества, чем вся новейшая философия: пока философы не станут достаточно мужественны, чтобы отыскивать новый образ жизни и показывать в этом отношении пример, до тех пор они ни к чему не нужны.

Жизнь философа и ее генезис

1

Какое влияние имеет теперь философия на философа? – Они живут так же, как и все другие ученые и даже политики. Шопенгауэр является уже исключением. Они не отличаются никакими особенными нравами. Они учат ради денег. Вглядитесь в жизнь их высших образцов, Канта и Шопенгауэра, – разве это жизнь мудрецов? Остается наука: к своему делу они относятся, как артисты, отсюда у Шопенгауэра жажда успеха. Философом быть удобно: к ним не предъявляют никаких требований, они все время занимаются вершинами: Сократ пожелал бы снова, чтобы философию свели вниз к человечеству: популярной философии нет вовсе, а если есть, то никуда негодная.

У философов найдешь все пороки нашего времени, и прежде всего его лихорадочную торопливость, а между тем они пишут о пороках. Еще очень молодыми они начинают уже стыдиться учиться.

Философы прежних времен стремились к душевному покою, нынешние к необузданному душевному беспокойству: так что человек весь уходит в свою должность, свое дело. Ни один философ не станет терпеть ругательства прессы, позволяя выходить в свет только еженедельным журналам.

2

Существует искусство отдалять от себя вещи путем слов и имен, которыми их обозначают: иностранное слово делает для нас часто чуждым то, что мы очень близко знали. Когда я говорю: «мудрость, любовь к мудрости», то, конечно, я ощущаю нечто более близко действительное: но, как я уже сказал, не давать вещам чересчур приближаться к себе есть своего рода искусство. Ведь в словах родного языка лежит часто столько пристыжающего. Ну, кому же не было бы стыдно называть себя мудрецом, или говорить, что он становится им. Философ – это другое дело, это не так легко сходит с языка, как титул доктора, который носят, совершенно не думая, что он налагает соответственную обязанность быть учителем. Согласимся же, что иностранное слово освобождает нас от стыда и конфузливости; или, может быть, и в самом деле тут нет никакой любви к мудрости и иностранное обозначение должно, так же, как и звание доктора, обозначать лишь отсутствие содержания и пустоту понятия?

Иногда бывает страшно трудно доказать наличие чего-нибудь, до такой степени оно подавлено, затуманено, скрыто, разбавлено и ослаблено, а имена между тем могут быть красивы и к тому же соблазнительны.

Действительно ли то, что мы называем теперь философией, есть любовь к мудрости? Подставим без всякого смущения вместо слова «философия» выражение «любовь к мудрости», насколько эти понятия покрывают друг друга?

3

Философом люди бывают прежде всего для себя, а потом для других. Быть им только для себя невозможно. Как человек, он имеет слишком много отношений к другим людям: а раз он философ, то он должен быть им и в этих отношениях. Я хочу сказать: если он даже строго отделит себя от людей, станет отшельником, то и этим он поучает и является философом для других. Как бы он ни вел себя, его философская натура имеет сторону, обращенную к людям.

Продукт философии прежде всего его жизнь (это раньше, чем «дела»). Это его творчество. Каждый продукт творчества обращен одной стороной к художнику, а другой к людям.

Каково воздействие философа на других философов и нефилософов. Государство, общество, религия могут спросить: «что дала философия? Что может она нам дать теперь?» С таким же вопросом может обратиться к ней и культура. Результат для нашего времени: из нее ничего не получится! Отчего же? Оттого, что они не философы для себя.

«Врач, исцелися сам!» должны мы крикнуть им.

Может ли философия быть фундаментом культуры

1

Надо серьезно взвесить, существуют ли вообще какие-либо фундаменты для зарождающейся культуры? Можно ли воспользоваться философией в качестве такого фундамента? – Но она никогда не была им!

Философия для этой цели чересчур тонка и остра. Фактически философия увлечена потоком современного образования: она вовсе не господствует над ним. Разве только сделавшись наукой (Трэнделенбург). Возьмите, например, Шопенгауэра; на практике он эвдаймонолог (это мировая мудрость перезрелой старости, как у испанцев), в теории – учитель глубокого пессимизма.

Он осуждает современность с двух сторон. Иногда мне кажется, что другого выхода нет, как пользоваться здравым смыслом Шопенгауэра на практике, оставляя его мудрость для более глубоких потребностей. Кто не хочет примириться с этим, должен бороться за более высокие формы культуры.

Описание культуры – как соединения и гармонизации первоначально враждебных друг другу сил, которые отныне составят одну мелодию.

2

Счастье отдельного индивидуума в современном государстве подчиняется общей пользе. Что это значит? Это значит, что меньшинство приносится в жертву большинству: это значит только, что низшие индивидуумы приносятся в жертву благу высшим. Высшие индивидуумы – это люди, обладающие творческими способностями, будь то моралисты или вообще полезные люди в широком смысле слова. Словом, самые чистые типы и исправители человечества.

Целью общества служит не существование государства во чтобы то ни стало, а такого государства, в котором есть возможность для высших экземпляров существовать и творить. Это же лежит и в основе происхождения государства: нужно заметить только, что часто ложное понималось, что такое высшие экземпляры: и за них часто принимались завоеватели, основатели династий и т. д. Когда нельзя больше поддержать существование государства, так что великие индивидуумы не могут больше жить в нем, то возникает страшное государство нужды и разбоя, где на месте лучших господствуют сильнейшие. Задача государства заключается не в том, чтобы возможно большее число людей жило в нем хорошо и нравственно: дело не в количестве, а в том, чтобы вообще в нем жилось хорошо и красиво, чтобы оно служило фундаментом культуре. Словом: цель государства – более благородное человечество, она, эта цель, вне его, а оно только служит средством.

Теперь отсутствует связь между всеми отдельными силами: и мы видим, как все враждует между собою, и благороднейшие силы стремятся уничтожить одна другую. Это можно доказать

и на примере философии: она разрушает, потому что ничто не сдерживает ее в должных границах. Философ стал существом, представляющим собою общественную опасность. Он отрицает счастье, добродетель, культуру, наконец себя самого. Между тем в союзе со связующими силами он может быть врачом культуры.

3

В области воспитания существуют два правила. Первое: надо как можно скорее определить в чем сила данного индивидуума и потом стремиться развить эту силу за счет менее значительных. Во-вторых: нужно вызвать все имеющиеся налицо силы и соединить их в гармоничное целое, т. е. усилить слабые, требующие особенного руководства, и ослабить чересчур сильные. Но что же будет служить при этом масштабом? Счастье индивидуума? Польза, которую он может принести обществу? Специалисты полезнее, гармонически развитые счастливее. И вопрос возникает снова: общество, государство, народ – должны ли они развить одну практическую силу или множество разных сил? В первом случае государство будет допускать специальное развитие индивидуума только в том случае, если данные частные качества соответствуют его целям, т. е. оно будет воспитывать лишь немногие индивидуумы соответственно их силе, во втором оно не будет обращать внимания ни на силу, ни на слабость, и как бы ни было слабо данное качество, оно должно быть развито. Если государство пожелает гармонии, то гармония эта может быть двух родов: или гармоническое развитие каждого индивидуума, или гармония между многими, из которых каждый развит специально. В последнем случае оно создает смесь многих, мощных и взаимнопротиворечивых сил: оно должно будет удерживать все крайние специальности от взаимной борьбы и взаимного уничтожения, оно должно связать их все единством цели (благом церкви, государства и т. п.).

Афины были именно государством первого рода, а Спарта второго. Государственный строй, подобный спартанскому, гораздо труднее и искусственнее, он подвержен вырождению и нуждается во враче, который постоянно наблюдал бы за ним. В наше время все запутано и темно. Современное государство становится все более спартанским. Возможно, что лучшие и благороднейшие силы атрофируются, благодаря невнимательному отношению к ним, или насильственному отводу в другое русло. Я замечаю, что это подготовляется не только наукой, но и философией. Они не могут уже служить защитой, потому что не имеют собственной цели, т. е. нет такого общества, которое включило бы в свои цели и их цель. Мы имеем нужду в основании, в противовесе ложным государствам – истинно культурного государства, как некоторого рода убежища культуры.